

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1927 год
НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Н О В Ы Й М И Р

Под редакцией А. В. Луначарского, Вяч. Полонского, И. И. Степанова-Скворцова.

С января 1927 года
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ в УВЕЛИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ

(книгами от 13 до 16 печ. листов)

В 1927 г. подписчики получают 12 кн. журнала об'емом 2.688 стр.
(в 1926 году было дано 2.304 стр.)

В 1927 г. БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ: Федор ГЛАДКОВ «Старая секретная» (повесть). Анна КАРАВАЕВА «Юность на Грязной» (повесть). Вл. ЛИДИН «Звезда Кирилла Безсонова» (роман). С. МСТИСЛАВСКИЙ «На крови» (отрывки из романа о 1905 годе). Н. НИКАНДРОВ «Знакомые и незнакомые» (повесть). А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ «Ухабы» (повесть). Мих. ПРИШВИН «Любовь» (роман). Пант. РОМАНОВ «Брак» (роман), «Право на жизнь» (повесть). А. СЕРАФИМОВИЧ «Борьба» (повесть). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ «В грозу» (повесть). И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ «Елень» (повесть). Ал. ТОЛСТОЙ «Хождение по мукам» (роман, 2-я самостоятельная часть трилогии). Вяч. ШИШКОВ «Пурга» (повесть). Ал. ЯКОВЛЕВ «Победитель» (роман).

РАССКАЗЫ: А. Аросева, И. Бабеля, С. Буданцева, М. Барсукова, В. Вересаева, Артема Веселого, Б. Губера, Ив. Евдокимова, Л. Завадовского, Вс. Иванова, И. Касаткина, В. Катаева, С. Клычкова, Б. Лавреньева, Л. Леонова, Вл. Лидина, Н. Ляшко, А. Макарова, С. Малашкина, П. Низового, Г. Никифорова, Пант. Романова. Л. Сейфуллиной, С. Сергеева-Ценского, И. Соколова-Микитова, Д. Стонова, А. Сытина, Ал. Н. Толстого, К. Тренева, А. Чапыгина, П. Ширяева и др.

СТИХИ и ПОЭМЫ: Н. Асеева, Д. Бедного, А. Безыменского, М. Герасимова, М. Голодного, И. Доронина, А. Жарова, Н. Зарудина, В. Казина, С. Кирсанова, В. Маяковского, Б. Пастернака, П. Орешина, И. Сельвинского, Д. Семеновского, И. Уткина и др.

ВОСПОМИНАНИЯ: А. А. ИОФФЕ. «Из воспоминаний». Карл РАДЕК. «Из воспоминаний о 1918 г.» (Брест-Литовск, убийство гр. Мирбаха, Ярославское восстание). Софья ФЕДОРЧЕНКО. «Народ на войне». ХУ-ХАН-МИН. «Первая китайская революция и Сун-Ят-Сен».

СТАТЬИ о СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: Л. Войтоловского, В. Гольцева, В. Дыннин, И. Евдокимова, Н. Замошнина, П. Когана, Р. Куллз, А. Лежнева, Г. Лелевича, К. Локса, А. Луначарского, В. Переверзева, Вяч. Полонского, Ник. Смирнова, В. Фриче, Г. Янубовского и др.

ПИСАТЕЛИ о КРИТИКЕ: статьи С. Городецкого, И. Оксенова, Пант. Романова, К. Федина.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ: неопубликованные материалы, письма, художественные произведения XIX века.

К 10-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: статьи М. И. Калинина, А. Киселева, И. И. Степанова-Скворцова.

БЫТ, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ: статьи и очерки: М. Альского, А. Библика, М. Бронского, Вяч. Виленского-Сибирякова, А. Дивильковского, М. И. Калинина, Мих. Пришвина, И. И. Степанова-Скворцова, Д. Фибиха, П. Шубина, Ал. Яновлева и др.

СТАТЬИ об ИСКУССТВАХ: Е. Браудо, С. Бугославского, В. Волькенштейна, А. Луначарского, П. Маркова, П. Новицкого, Л. Сабанеева, Б. Терновца, Я. Тугендхольда, Федорова-Давыдова, Х. Херсонского и др.

НАУКА и ТЕХНИКА: статьи проф. С. Блажко, проф. М. Завадовского, проф. Н. Кольцова, проф. В. Костицына, проф. П. Лазарева, инж. М. Липирова-Снобло, проф. А. Тимирязева и др.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: при участии Е. Адамова, Н. Асеева, М. Брагинского, Л. Войтоловского, Б. Гоффеншефера, Л. Гроссмана, Б. Губера, Ю. Данилина, Н. Замошнина, А. Лежнева, Г. Лелевича, К. Локса, П. Маркова, А. Палея, В. Переверзева, Н. Пиксанова, И. Сергиевского, Н. Смирнова, Я. Фрида, Л. Яacobсона, Г. Янубовского и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на 12 мес.	на 9 мес.	на 6 мес.	на 3 мес.	на 2 мес.	на 1 мес.
8 р. 50 к.	6 р. 75 к.	4 р. 50 к.	2 р. 50 к.	1 р. 70 к.	— 90 к.

ЦЕНА КНИГИ в ОТДЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ—1 р. 20 к.

ПРИЕМ ПОДПИСКИ:

В Москве: 1) Главной Конторой „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Тверская, 48; 2) Городскими отделениями „Известий ЦИК“; 3) Почтамтом; 4) Городскими почтовыми отделениями; 5) Письмоносцами; 6) Акц. Общ. „Московская Печать“; 7) справочными Бюро МХХ.

В Ленинграде: 1) Отделением Гл. К-ры „Известий ЦИК“, Пр. 25 Окт., д. № 68; 2) Почтамтом; 3) Городскими почтовыми отделениями; 4) Письмоносцами.

В провинции: 1) Отделениями Главной Конторы „Известий ЦИК“; 2) Почтово-телеграфными Конторами СССР; 3) Контрагентами по распространению периодической печати.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 7

Москва. Главлит № 77.786.

6.500. 220.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Федор ГЛАДКОВ.—Старая секретная, повесть	7
2. Иосиф УТКИН.—Три стихотворения	45
3. Ал. ТОЛСТОЙ.—Василий Сучков, рассказ	48
4. С. МАЛАШКИН.—Ямбы, стихотворение	71
5. И. СЕЛЬВИНСКИЙ.—„Улялаевщина“, отрывок из поэмы .	72
6. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ.—Ухабы, повесть	76
7. Мих. ЗАРУДИН.—Два стихотворения	119
8. С. КЛЫЧКОВ.—Стихотворение	121
9. Ник. ДАНИЛОВ.—Шинель, стихотворение	122
10. Вл. ЛИДИН.—Белые ночи, рассказ	123
11. Ник. АСЕЕВ.—Песня, стихотворение	130
12. Мих. ПРИШВИН.—Любовь, роман	131
13. Ал. ЖАРОВ.—О садовнике и о плодах, стихотворение .	164
—	
14. Л. ТРОЦКИЙ.—Культура и социализм	166
15. В. ВЕРЕСАЕВ.—Заметки о Пушкине	185
16. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Критические заметки. О Бабеле .	197

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ:

17. Л. САБАНЕЕВ.—Письма из Франции. Музыкальный закат Европы	217
18. Ник. СМИРНОВ.—Заметки о крестьянских писателях . .	223
19. С. ГРЮНБЕРГ.—Экспрессионизм и после экспрессионизма	225
20. П. МАРКОВ.—Театральная жизнь Москвы	229
21. П. КОЗЛОВ.—Мертвый город Хара-Хото	236
22. А. БИБИК.—С крыльца сельсовета	240

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

	<i>Стр.</i>
Ник. СМЕРНОВ.—А. Демидов „Вихрь“	249
Н. ЗАМОШКИН.—А. Новиков-Прибой „Женщина в море“ .	250
Б. АНИБАЛ.—„Сегодня“. Альманах	251
В. ДЫННИК.—Д. Крутиков „Старый хмель“	252
М. ЗЕНКЕВИЧ.—Н. Берендгоф „Стихи о городе“	253
Арк. ГЛАГОЛЕВ.—К. Чуковский „Некрасов“	254
И. МАКАРОВ.—Н. Чужак „Правда о Пугачеве“	255
Письмо в редакцию	256

Старая секретная

Повесть о былом

ФЕДОР ГЛАДКОВ

Трое в одиночке

Это была та самая камера, в которой сидел Чернышевский перед отправкой в Вилуйск. Камера—одиночка. А одиночка, это—каменная узкая щель в исцарапанных стенах, с сумеречным далеким потолком, и узкая щель—окно, закованное толстыми железными прутьями. И стена от решеток сползает до грязного столика крутым скользким желобом. Сколько лет стоит под окном этот изгрызанный столик? Может быть, от дней Чернышевского. А, может быть, исцарапали его руки обреченных на казнь.

Тускло зеркалится забронированная дверь с волчком посредине. Сколько человеческих рук толкались в холодный металл, пахнущий ржой? Кажется, что воздуха в камере нет, а вместо воздуха—распыленный камень. Нет, это нудная, застарелая вонь отхожего места. У двери, в простенке,—параша, обляпанная испражнениями. А наша одежда и штукатурка смердят баландой—кислой, протухлой капустой.

Наш корпус—столетнее длинное здание, вросшее в землю, похожее на конюшню,—старая секретная. Есть—новая секретная в другой части тюремной территории. Мы спрятаны за пятью концентрическими стенами, в центре внутреннего круга, из которого есть два выхода: один—по коридорам целого ряда корпусов, присосших друг к другу, другой—из дворика в дворик, через калитки внутренних стен. По коридору нашей секретной—тринадцать камер-одиночек, и шорохи жизни, заключенной в этих подвалах, едва долетают до моего слуха.

Я не могу ходить по камере, потому что я—не один: нас—трое на трех койках. В тюрьме уже нет одиночек: она—переполнена. У нас нет тишины. Когда мы молчим, за нас говорят мои кандалы. Они не молчат даже в часы нашего сна: как бы ни был крепок мой сон, я слышу смеющиеся переливы железа—слышу не слухом, а всем нутром, собою, точно эти железные ручейки играют по всем моим

жилам, и в жилах моих—не шарики крови, а струятся растворенные цепи.

Однажды я проснулся глухой ночью. Кандалы хрустально пересыпались на моих ногах, а за волчком, в узком полуночном коридоре секретной, курлыкали призрачным отзвуком замурованные кандалы в других камерах. Я проснулся потому, что вспомнил: такие крики я слышал в детстве. Это были не цепи, а—змеи. Они курлыкали так же, когда проглатывали лягушек. В детстве мне было только любопытно, а теперь—страшно. Сердце замирало от ужаса, и я корчился в судорогах на койке, потрясенный кошмаром, и плакал в младенческих всхлипах.

Прахов поднялся на локте и посмотрел на меня угарными от сна, налитыми кровью глазами. Его рыжие вихры и буйная молодая борода пылились янтарными искрами.

— Ну, ну... очухайся!.. Что тебя гнет?.. Разыгрываешь бабу от безделья?..

А Митря рыхло встал с койки, неуклюжий, неустойчивый на ногах от юности, и пошагал к параше. Он чвыкнул слюну через зубы, и шмыгнул носом. Не оглядываясь, стал внимательно смотреть вниз, в нутро зловонного ушата. И не Прахов возвратил мне сознание своим окриком, а Митря. Он нашел более целесообразным подойти в этот миг моего душевного смятения к параше и сосредоточенно выполнить свои естественные обязанности. Я лег опять на койку и больше не мог закрыть глаз. Прахов еще качался на локте, и в сонных его глазах еще не угасла угрюмая усмешка и смутное ожидание.

Митря сел с ногами на койку, зевнул, помолчал, почесался. Потом крикнул и уткнул подбородок в коленки. Лоб зрело наморщился, а в глазах тлела тоскливая мысль.

— Одно у меня горе: табачком обездолили, осина-борона. Без табачку в черепке—будто кислое молоко, а в нем завелись черви.

Прахов таращился через изголовье в его сторону и презрительно гримасничал.

— У тебя, балбеса, только и есть, что дрыхнуть на тюремной койке. А еще бунтарь, арясина! О чем ты думаешь, кроме параши?

— Нам, осина-борона, не о чем думать. Наше дело какое? Есть земля—паши, есть конишка—тряси гузном круг дворишка. На землю все падки. Кабы не наша сила, давно бы вы нас, пролетары, слопали.

— На кой ты чорт нужен здесь? Воняешь только, да брюхо растишь.

Митря, занятый своими мыслями, чвыкал через зубы и был глух к обидным словам Прахова.

— И чего меня держат тут, в этом гайне? Ну, погнали бы, чай, на землю, что ли... Женился бы, завел бы хозяйство... В Сибири много дурной, беструдной земли... Чего в сам-деле?

Он раздражал меня своим слепым равнодушием к своему заточению и покорностью перед запертой железной дверью. Не скрывая своего презрения, я сказал ему брезгливо:

— Ты, кажется, и без того доволен своим положением: сыт, спокоен, в тепле. Чего ты жалуешься? У меня хоть кандалы, и на плечах—годы каторги, а ты—как на постоялом дворе.

Прахов ехидно покрутил головой, и глаза его налились пристальной злой насмешкой...

— Ты хвалишься, как монах в веригах: погляди, мол, господи, как я за народ страдаю.

— Да, я страдаю. А ты в том же положении, как и Митря. Нечего издеваться.

А Митря нудно мямлил с мужичьей назидательностью:

— Вам—привычно. Вы, городские, земли не чуете, к земле не привязаны. Вы и свободы не знаете. Свобода из земли растет, как хлеб. А какая свобода в городе? Тюрьма. Вот она, сволочь, какая... Стены—крепости, окошки—в железе, двери—в железе. И за нуждой человек ходит в кубышку. Дым, копоть, ералаш: или бьют, или жрут друг друга—не поймешь.

Прахов засмеялся и подмигнул в его сторону.

— Ну, ты дурачком не прикидывайся, паря. Подумаешь, какой навозный простофиля... А кто громил помещичьи усадьбы—не ты ли?

— Я против города шел. У барина-то у нашего какой заводичье был в экономии—чистый дьявол. Он—в городе, барин-то, а из города, как паук, тенета плел, на нашу землю лапу накладывал. Мы—за освобождение земли, за земной дух. Это—дело правое.

Он, Митря, не чувствовал стен тюрьмы: он говорил о них лениво и безмятежно. Этот плесенный воздух, отравленный человеческой гущей, не дурманил ему голову, и сон его был здоров, крепок, без кошмаров, а кровь его ровно и густо лилась по жилам. Для него тюрьма не была тюрьмой, а только привалом-сараем, где он скучает от безделья на перепутьи.

Он лег на койку и мечтательно забормотал, борясь с дремотой:

— Сейчас у нас навоз возят на поле. Святки. На кулачки дерутся. Хорошо бы теперь картошки горячей поесть—душа моя, осина-борона! да вот табачку бы, эх!.. Скоро меня на место, должно, препроводят, надел дадут. Женюсь. Абы земля—езде жить можно. Оно сейчас хорошо, что держат. Куда пойдешь? Зима. Жаловаться не на что—и корм, и угол. Заботятся.

— Да, ведь, чорт ты этакий! Сам же тюрьму ругал.

— Ну, так что ж? Я о том ведь, как вы весь свет хотите под тюремный манер. Ну, это вам не удастся, осина-борона: мужик не допустит. Его вон сколь—миллионы. Все на мужике держится, а вас—малая шайка. Ты не гляди, что мужик молчит да в землю смотрит: он, брат, шерстобит хороший.

Прахов лежал на койке и мычал, точно у него болели зубы.

— Молчи, чорт, пока я тебе салазки не загнул.

— Загнул. Было дело... видали таких.

— Ну?

Прахов опять поднялся на локте и посмотрел через изголовье свирепыми влажными белками.

— Мужика — так и этак: и в хвост и в гриву. Мужик — дурак, а вы больно умные.

— Ну-ка, еще — слово. Замолчал?

— Замолчал... до поры, до время...

— Ну, то-то.

Я смотрел на них с любопытством: они казались мне забавными младенцами. Меня разбирал смех, но я старался изо всех сил сдержать потрясающую судорогу в легких. Мне хотелось спокойно, холодно изучить их — войти в их нутро, впитать в себя. Я это делал раньше, как обособленный наблюдатель, но потом они только раздражали меня до острого презрения и ненависти к ним. Они мешали мне жить, распорядиться собой и думать. Но в этот миг Прахов кувыркаялся и строил рожи в моих слезах, а Митря уморительно шмыгал носом. В изнеможении от борьбы с собою я взорвался кложочущим хохотом. Сквозь слезные струи я увидел, как Прахов огромной машиной плыл ко мне и дышал злобой и тревогой.

— Что тебя гнет, чортова морда? Перестань!

Он только был непереносно смешон и жалок, и его злоба терзала меня, как щекотка.

— Молчи же, дьявол! Блябну вот по башке... Замолчи...

На одно короткое мгновение его лицо четко отразилось в моих глазах. Он тоже хохотал около меня и задыхался от усилий раздавить свои легкие. Хохотал и Митря, визгливо, как поросенок, и катался по койке в диком восторге.

По ночам в коридоре, за нашей дверью, струится тишина. Она поет дремотными вскриками, летающими шорохами шагов и невнятным говором надзирателей. О чем могут говорить надзиратели, сами проглоченные камнями? Эти тупые служаки, с тяжелыми связками отполированных ключей, будто сами звенят кандалами и сами обречены на вечное заключение. Безмолвия нет в тишине, и ночи полны незримого света, истекающего от человеческого мозга. В сумеречном свете ночника стены сжимаются плотнее, и мой ночной полусон не ласкает меня призраками милых сновидений, а невыносимо давит каменными глыбами стен.

Коридор не умирает никогда: из камер в дырки волчков непрерывно вылетают шорохи, возня и глухие голоса товарищей. В этих длинных пустотах всегда плавает и колыхается жизнь. Стоит приложить ухо к волчку — и слышишь далекий неумолкаемый пчелиный звон. Раздается иногда замураванный смех или вырывается взволнованный крик. Перезванивают кандалы, будто нечаянно рассыпают стекло. И потом — опять тишина и — шорохи, шопоты, шаги надзирателей. Эти шорохи насыщают стены, и они, как живые, дрожат и связывают

меня с дыханием жизни неизвестных мне людей, спрятанных от меня за толстыми дверями.

Над моей головой высоко, у потолка, вытекает по срезу стены, через ржавые переплеты решетки, окно, а из окна, мохнатого от инея, голубым руном сползает морозный холод. Я вспоминаю, что за окном — лунный декабрь, и воздух между луною и тюрьмой искрится кристаллами, а в черной бездне небес, тлеющих фосфором, разбрызганы другие кристаллы — звезды. В сахарных сугробах полей хрустят и улетают в блеске и свисте накатанные дороги в запахах лошадиного помета и упавшего сена с мужичьих саней.

В квадратах решетки окно цветет лучистыми хлопьями инея. Оно — мертво, в льдистых отеках, как бельмо, и пучится в железных гнездах мокрой разбухшей затычкой. Иногда по вечерам мы ставим на столик табуретку, карабкаемся по очереди к окну и, вцепившись в железные прутья, дыханьем своим плавим иней и лед на стекле. Мы видим небо, обрызганное звездами, и облачно-спокойный круг луны, тающий с краю. А внизу — тьма: зубрятся пилами черные пали, а за ними — грузно осевшие крыши тюремных корпусов.

Дни, цветущие снегом и мутно голубеющие в небесах, я вдыхал через каждые двадцать четыре часа на прогулках, и эти дни я осязал в солнечных сугробах, потому что солнце зимою — ближе и проще, чем летом: оно живет в снегах и волнуется, как море. Но лунные ночи — далеки, как детство, и, когда я ловлю на стекле зеленый огонь мне грустно и до боли хочется жить прошлым. А это постоянное стрекотание в стенах, как осенняя капель, — мучительно надоедливо. Так скрытыми в стенах телеграфными разрядами, связываются между собою от'единенные люди, которых я не видел никогда, и которые в дробных перестуках передают биение своего сердца. Мы, трое, — здесь, а там, близко и далеко, — они, но мы связаны этим пульсирующим трепетом, и толстые стены становятся прозрачными.

Прахов часто прикладывает ухо к стене и слушает. Он слушает долго, не видя нас, забывая себя, и в глазах его поблескивают холодные капли.

Митря — деревенский парень, аграрник. Прахов — рабочий-металлист. Митря прошел несколько пересыльных тюрем, но от него еще пахло солодом озимей, теплотой лошадиного пота и густым запахом мужицкой избы. Этот избыной дух — аромат кулаги — несли в себе и другие мужики во всех тюрьмах, и по этому духу они узнавали друг друга без слов, и этот дух сбивал их в свои, мужицкие, артели.

Здоровый и терпкий от избытка крови, Митря был чужой среди нас, — первобытный, живущий, покорный. По ночам он всегда спал мертвым деревенским сном, и мне было странно, как он может спать без бреда и тоски, когда стены леденят душу, а впереди — бесконечное месиво дней на грязной плесени стен, и рядом, за стеной, в которую он дышит во сне, доживают последние минуты люди, приговоренные к смерти.

Там их всегда — два-три человека, и они так же, как мы, кричат, спорят, смеются. Их голоса я всегда слышу не через стену, а из коридора, через волчок — через маленькую дырку, зияющую в мир.

Обычно их уводили в неизвестный час, когда камеры умирали в тягостном сне. И никто не мог сказать по утрам, были ли последние вскрики уводимых на казнь, хрустели ли шаги солдат и тюремной стражи. Но, когда камеры не открывались в обычный час поверки, и в коридоре, за волчками, была пустота и безмолвие, и тревога шептала где-то в недостижимой глубине каменных сводов, — мы знали, что смерть опять была у нас этой ночью, и шелест ее шагов еще не остыл в сумеречных погребках. Мы все просыпались одновременно в привычный утренний миг, лежали с открытыми глазами и, встречаясь взглядами, говорили друг другу без слов:

— Их уже повесили. Уберут последний столб, заметут следы на соседнем дворике и — откроют камеры.

И мы знали, что вечером, после поверки, приведут новых, и мы услышим сигнальное стрекотанье в стене:

— Товарищи, мы с галстуками!

Прахов первый присасывался ухом к стене и взмахом кулака обрывал наши движения и голоса. Он жадно ловил этот дробный перестук, шевелил челюстями, и глаза его пьянели угарной слезой. А потом он стучал мослоком указательного пальца:

— На чем вас сцапали?

Мы привыкли к человеческим словам, преобразенным в телеграфный лепет, и они через барабанную перепонку капали в мозг и трепетали потрясающим весельем:

— Побили бляху городовому...

— Споткнулись на маленьком эксе...

— Отшибли хвост лягавому...

— Вооруженное сопротивление...

Прахов злобно брякал кулаком по стене и грузно валился на койку.

— Сволочи!.. Мерзавцы!.. Сукины дети!..

И было непонятно, кто — сволочи и мерзавцы: те ли, кто сидел за этой стеной, или те, кто бросил их сюда, в камеру смертников.

Потом — опять стрекотанье, торопливое, настойчивое:

— Товарищи, — яду. Помогите. Нет яду — нож.

И мы, бессильные в помощи, виновато переглядывались и безнадежно махали рукой. Прахов стучал:

— Не можем. Все связи с волей порваны.

А в нас точно вбивали гвозди:

— Паразиты! Высунем вам языки из-за галстуков.

И потом там глухо рокотал хохот. Он кувырчался по коридору, залетал к нам в камеру, и от этого предсмертного смеха у меня замирало сердце. Эта камера не умолкала до поздней ночи, — до тех минут, пока не убивал ее сон. Может быть, эти неведомые нам люди

уже не знали сна, а засыпали мы, и только, может быть, в нашем сне глохли их крики и смех. Я слышал, как надзиратель лязгал ключами у их двери, и его окрик сейчас же немел в реве и лае смертников. Они орали исступленно, до одурения, и я знал, что у них оскаленные зубы и вырванные из век глаза.

— Пошел вон, мерзавец, грязная жаба! Ты не достоин даже глядеть на нашу дверь... Что ты понимаешь в наших минутах тупым своим мозгом, паршивый раб?.. Вон!.. Долой, негодяй, собака, палач!..

И сразу же ярость их переходила в пьяное бешенство, и их веселье захлебывалось песнями и пляской.

И каждую ночь где-то в одной из тринадцати камер вдруг с визгливой болью, раненой птицей вылетала в коридор хрипая истерика.

В коридоре

Я смотрел в двери запертых камер, в волчки, живые от глаз. Это были не лица, а только горящие глаза в пустых квадратах, и эти глаза жили сами, жили отдельной жизнью от лиц.

Я подходил к каждой двери и кричал с неудержимым смехом:

— Доброе утро, товарищи!

Глаз кружился в каждом волчке, расцветал искрами и в одно мгновение через него проходило множество волн.

Надзиратель командовал сзади:

— Ну-ка, ну-ка... не разговаривать зря! Не на свиданьи. Шагай, шагай поворнее!

Но я не обращал внимания на его окрики и волновался от встречи с невидимыми товарищами, воплощенными в одних цветущих глазах. И всегда в эти минуты в душе у меня трепетала тревога и смутное ожидание: что-то должно совершиться в этих стенах. Оно совершится скоро и неизбежно, оно взорвется страшным бунтом и вырвет двери, изломает запоры и обрызгает стены кровью и мозгами. И в эти погребя ворвется солнце, ядреный поднебесный воздух, и грудь вздохнет глубоко и свободно.

Вместе с нашей камерой отпирали еще две соседние (смертников выпускали особо, с особой стражей), и коридор гремел музыкою кандалов, радостными криками и хохотом. Все были безалаберны и юрки, точно собаки, спущенные с цепи. Все толкались, мяли друг друга, обнимались и шалили, как ребята.

Замятин, учитель фабричной школы, размахивал длинными руками как крыльями, и, брякая кандалами, ревел одну и ту же песню:

...Пролетарии всех стран,
Соединяйтесь в дружный стан!
Вперед, вперед—на смертный бой,
Вперед, народ-титан.

Потрясая белобрысой шевелюрой и раздувая ноздри от скрытого смеха, он размашисто вскидывал руку, как оратор, и выл на весь коридор:

— Товарищи и братья! хороший желудок и крепкие мускулы — залог действительной победы рабочего класса. Только побольше песен и железной дисциплины. А потому да здравствуют ветераны революции, почившие на лаврах в этом великом пантеоне! Свет и свобода — прежде всего. Гордитесь своими подвигами, гоплиты!

Дребезжали двери. Из волчков кричали „ура“. Жизнь бурлила в камерах и плескалась из дырок и криками, и глазами, и смехом.

Шли другие арестанты в бушлатах — все серые, одноликие, с трупными лицами. Но застоявшаяся кровь уже бурлила в жилах, напрягала мускулы, и все, будто пьяные, возлились, боролись, пели вразброд, и глаза их блестели смехом от маленького обрывка свободы.

Мускулы Замятина требовали тяжелой работы, они давили его хуже цепей. Он бросался на кого-нибудь из товарищей, хватал его в охапку и подбрасывал выше головы. Хохотал от наслаждения, обнимал другого, опять бросал и бежал в догонку Прахову. Прахов становился в позу борца, и они с рычаньем сплетались руками и, наливая лица кровью, ломали друг друга, как быки.

Иногда Замятин подхватывал на бегу надзирателя Мизинчика и тащил его вплоть до двери. Мизинчик — деревенского вида детина, который тоже просил воловьего труда, а судьба забросила его в казематы, и он сам был похож на арестанта. Он заражался силой Замятина и неудержимо смеялся плоским, скуластым лицом. Он забывал о себе, как о страже, который должен быть глухим и слепым идиолом, и сам бессознательно рвался из своих черных доспехов к борьбе и крикам. Но сразу же приходил в себя, в ужасе бился в лапах Замятина и задыхался от страха.

— Застрелю мерзавца, арестантскую харю... Брось, говорю! Убью и отвечать не буду...

А Замятин радостно кричал на весь коридор:

— погоди, погоди, Мизинчик. Вынесу вот на двор, тогда меня и бахнешь из своего пистолета.

Все трепали бушлатами около них, прыгали, махали руками, и заливались хохотом.

— Ура, Мизинчик!.. Браво!.. Загибай салазки Мизинчику!..

У последней камеры, в тупике, перед дверью во двор, меня останавливал грустный женский глаз Немиловича. Он блистал лихорадочной влагой чахоточного возбуждения и неудержимо манил меня своим уединенным восторгом. Может быть, это была одержимость узника, который уже пережил кошмары тюремного одиночества и постиг особую, скрытую жизнь казематов, где осели на стенах годы его заключения.

— Доброе утро, Немилович. Как себя чувствуете?

— Прекрасно! чудесно!

— Поздравляю, Немилович. Кроме вас, этого никто не говорит.

Вы — счастливый человек.

— А разве вы не чувствуете жизни, Угрюмов? Несчастья вообще нет. Это—самообман. Разве для человеческого мозга есть клетки и стены? Геометрические формы представлений, это—иллюзорная относительность. Единственное несчастье для человека, это—мертвая формула, в которую пытаются заключить человеческую мысль.

— Вы неправы, Немилович: мысль сама воплощается в формулу. Без формулы нет и мысли.

Глаза его трепетали от внутреннего огня и не могли сдержать напора невысказанной радости.

— О, нет. Вы потому в цепях, что фетишизируете формулу. Вы рветесь из гроба, но накладываете на него лишние обручи. Геометрия, вещи в себе, абсолюты... Но есть только один необычайный мир безграничной свободы, это—мир большого разума, мир озарений. Он не подчиняется никаким формулам и измерениям. Это—мое я, которое полно невыразимых чудес.

— Ну, а простые факты, Немилович? Вон там сидят смертники. Может быть, их сегодня повесят. Это не тревожит ваших озарений?

Его глаз немножко вздрагивал, но улыбка радости не угасала.

— Да, это—больно. Но эта боль только помогает мне переступать пороги и бездны. А это—прекрасно. Чем смерть хуже рождения? Только иное перемещение комплексов элементов энергии.

Мне хотелось сделать ему больно, и я смеялся, чтобы унижить его.

— Ну, я не думал, что вы, Немилович, такой—жестокий и бессердечный человек. Жаль, что вы сейчас не в их шкуре.

Рука Мизинчика властно и мягко толкала меня к выходной двери. Он сурово хмурил брови, но глаза его были добродушны и пристальны, как у лохматой дворняги.

— И какой вас чорт затолкал сюда? Люди—хорошие, ума—палата. А какой здесь от вас толк?

— Ну, не лайся, Мизинчик. Ты благодари судьбу, что даем тебе кусок хлеба.

Он угрюмо замыкался и мычал в сторону:

— Подавишься от этого куска, ядренцы.

Прогулка

Двор—квадратный, с высокими бурями палями. От времени они покоробились, прогнили в разных местах, и сквозь щели и дыры видны снежные просветы в соседний дворик женской секретной. Я ослеплялся солнечной белизной и пьянел от морозного воздуха, звонкого, как молодой лед. Вверху—только небо, а солнце—близко и осязаемо. Оно растворено в воздухе: его нет, обособленного и недостижимого. Я чувствовал свою горячую кровь, и мне было хорошо, бодро, хотелось кричать и смеяться. Хотелось потрогать и погладить снег—ощутить его обжигающий блеск.

Товарищи отмеривали шагами дорожку, ползущую около палей квадратным периметром, а черная фигура надзирателя (не Мизинчика) неподвижно стояла посредине двора, в ямке, вытопанной в снегу. Что думал этот надзиратель, неизвестный по имени, бородатый, с незрячими глазами, голос которого я слышал только в окрике?

В этот день Прахов ходил, замкнутый и сутулый,—о чем-то сосредоточенно и сурово думал. Здесь, среди снега и неба, он казался чужим и далеким, и думы его были мне неведомы. Он только раз скользнул по мне ресницами, белыми от инея, и глаза его издали показались слепыми, в бельмах.

Замятин форсисто брякал кандалами, задрав голову на спину. Так же, как в коридоре, он размахивал руками и пел, сплетая одну песню с другой, меняя слова и мотивы. Пел и лукаво посматривал на надзирателя: он дразнил его. Надзиратель время от времени выходил из оцепенения и зыркал на него белками:

— Ма-альчать!..

Замятин никогда не надевал бушлата: он „закалялся“ для предстоящей борьбы с природой. потому что будущее для него сопрягалось с бурными возможностями, полными невзгод, скитаний и подвигов. Он, очевидно, и в камере не чувствовал каменных стен: кровь его не застаивалась—стены не мешали ему двигаться—шагать, размахивать руками и напрягать легкие: кричать, петь, смеяться.

Его трубный голос был непослушно весел, как всегда:

— Ах, мороз-морозец, молодец ты знатный!.. Ходишь ты в сосульках, как чучело гороховое... Хочется мне скувырнуть этого гнусного стража... Вот идолище поганое!.. Я не хочу, о, други, умирать—хочу любить... но не молиться и не страдать, чорт возьми, а ломать ребра... Всех буржуазных поэтов—к кобыле под хвост. Теперь должны родиться поэты победоносного пролетариата... Дорогу революционному искусству!..

Я шел около палей и смотрел в прорези, во дворик женской половины. Там—тоже снег и воздух в морозной пыли. Мимо серыми тенями мелькали обрывки женских фигур, и снежный огонь то вспыхивал, то погасал.

Я остановился и торопливо позвал в полуголос:

— Товарищ, задержитесь на секунду!..

На меня смотрело бледное лицо с морозным румянцем на щеках и на кончике носа. Глаза, открытые во весь размах, были холодны, пристальны и озабочены. И все лицо, с одной вертикальной морщинкой над переносьем, у левой брови, немного помятое тюремной ночью, точно спрашивало: зачем вы мешаете мне, когда я выполняю неотложную работу? Э и приглаженные до глянца волосы на висках оглушили меня неожиданным изумлением.

— Ольга! Ты—зд-сь? Давно ли?

Она не изменилась в лице, встреча со мной будто совсем не обрадовала ее: будто она рассталась со мною только вчера.

— Ах, здравствуй!.. Я уже знаю, что ты здесь. Пройди еще круг, и мы опять встретимся. Хочь сказать тебе очень важное...

И исчезла, и глаза мои опять ослепили солнечные искры, летающие в воздухе.

Певучим переключением зазвенели, засмеялись девичьи голоса по ту сторону палей.

— Товарищ, товарищ!.. Ну, подойдите же, товарищ!.. Мужчины!.. Дайте вас понюхать немножко, мужчины...

Горласто, по-мужски, кричала надзирательница. Этот голос спугнул их, как воробьев.

— Это—анархистки, чортовы куклы. Ах, вы, блудницы, стервочки!..

Замятин жадно и пьяно заглядывал в щели и тяжело дышал от возбуждения.

— Это—так называемый песок в революции, идущий на посыпку арены. Ошибаетесь, голуби, называя их пеной, сором, накипью. Это—необходимый элемент в армии бойцов, как знаменитые марки-тантки в войсках Наполеона или сестрички в нашей японской трагикомедии.

Он шел позади меня твердо, легко, и отзванивал кандалами бра-вый марш.

— Чорт подери, я скоро буду ломать двери камеры: я так не привык жить. В воздухе носится беспокойство. Ты хорошо владеешь носом, Угрюмов? Если ты не страдаешь насморком, и мозги у тебя—не простокваша, то должен чувствовать, что камеры лопнут от взрыва. Мы задыхаемся и превращаемся в мумии. Мы должны открыть камеры. Этот черный мерзавец похож на паука, а снег—на паутину, и мы, как мухи, путляемся в тенетах. Это нужно немедленно уничтожить. Нам нужно объявить голодовку.

Накануне мы, как обычно, говорили с Праховым о голодовке. И опять мы долго не спали и волновались от неизбежности борьбы. Как староста, Прахов обходил камеры каждый день и, когда возвращался, ругал матом анархистов. Они не отказывались от борьбы, но требовали для себя свободы действий: никакой диктатуры, никакой дисциплины, они будут поступать так, как им заблагорассудится.

— Объяви голодовку, и эти прохвосты будут провоцировать самым нахальным образом. Подожди ж, я их скручу арканом.

И мы только говорили о будущей борьбе и волновались от собственных слов.

А сейчас я только думал об Ольге. Почему она не дала знать о себе? Она осталась на свободе, когда я был уже закован в кандалы, а теперь она—здесь. Значит, организация разгромлена. Если уж она—изумительный конспиратор—в стенах этого сибирского централа, то что же с другими, которые учились у ней быть неуловимыми? Кто же был предателем среди них?

За мной шел Замятин и дышал, как лошадь, и пар от его дыхания клубился у моего плеча.

— Вы видите, Угрюмов, как Прахов ворочает мозгами? Не гуляет, а пашет. Его тревожат анархисты. Чорт с ними. Их — малая горсточка, и за дезорганизацию их можно раздавить, как мокриц. Тюрма делает людей кастратами: некоторые превращаются в юродивых, как преподобный Немилевич, а другие по-бабьи бьются в истерике. Мерзость. Бурная гибель дороже безмятежного покоя. За предсмертные муки даже в лапах палача я отдам полвека мещанского счастья, а тем более тюремного упокоения. Итак, решено и подписано.

Митря ковылял у палей и жалобно мычал:

— Господин надзиратель, как бы насчет лопатки? Я бы снежок здесь побросал — дорожку расчистил. У мужика без работы брюхо болит, а руки — как коровьи хвосты.

Надзиратель не смотрел на него и урчал в бороду, учительно и строго:

— Ма-альчать! Шагай круговоротом и мальчи. Что есть арестант? Арестант есть человек, лишенный природного места. Ты есть не дерево, а пень и сей корчуетя в испальнение закона.

Прахов вскинул на него свои бельма и угрюмо гавкнул:

— Страж! Заткни бородой глотку. Ежели ты на положении цепного пса, так не забудь: мы — матерые волки. Молчи и держи в памяти.

Надзиратель был невозмутим и неподвижен, как чучело.

— Я и так мальчу. Пес не пес, а мое дело мальчать и охранять закон. Это — правильно.

Ольга опять смотрела на меня глазами, далекими от собственных чувств. Я никогда не видел ее лица в минуты скорби. Я запомнил ее в день провала нашей подпольной типографии, когда я, затравленный, спасался от преследования полиции. Я увидел ее случайно на улице. Мы прошли мимо и не узнались. Глаза ее, как всегда, были чисты и ясны, и лицо озабочено мыслью о текущих делах. Она успела только шепнуть мне:

— Скройся пока на кирпичном заводе. Пустая печь. Ночью приду.

А ночью я был там арестован.

И вот теперь ее глаза такие же неподвижные и льдистые. Они смотрели на меня, но я в них не отражался.

— Наша организация разбита. Все — по тюрьмам. Каторга и ссылка. Несомненная работа провокатора. Супруги Гельгеры остались на свободе. Были в тюрьме, но выпущены. А один из них ведь член комитета. Это — загадка.

— А ты, Ольга? Может быть, вместе, на каторгу?

Она улыбнулась ярко, как девочка, — улыбнулась впервые. Эта улыбка у ней всегда была неожиданной и проникновенной, и улыбку эту я всегда ждал, но она меня заставляла врасплох. Смешная Ольга. Она совсем не изменилась: по конспиративной привычке она не ответит мне и в следующий раз. А если настоять — ответит невразумительно, сквозь зубы.

И—опять девичий смех и переклик у забора.

Замятин ласково ворковал со спазмами в горле:

— Милые девочки! Ваш анархизм такой простой и трогательный. Дайте дотронуться до ваших целомудренных пальчиков. Милые мои блудницы!..

— Товарищ, товарищ!.. ну, сделай так, чтобы в одном этапе. Ну, сделай!.. Ну, миленький! ну, родненький!..

Снег горел изнутри огненно-сахарным блеском, и небо было близкое и прозрачное, как молодой лед на реке. Это—наш мир, доступный нам ежедневно на полчаса. Этот отрезок вселенной раздвигал грани нашего зрения, и сердца наши ныли от тоски по свободе. Она, свобода, неощутима, как стихия,—она безгласна и буднична, когда плаваешь в ней и дышишь ею, но она—мучительный, медленный яд, когда она только тлеет образами воспоминаний. И противоядие—только сама свобода или—ее подстановка—иллюзия, созданная безумием.

Ольга была недостижима для меня. Она—тут, рядом, за деревянными палями, но она казалась мне призраком сновидения. Я ощущал ее дыхание, но не мог дотронуться до ее руки, не мог обнять ее и сказать ей полнокровного слова.

Серые бушлаты гуськом шагали около палей и дышали паром. Шагали, путаясь в длинных полах. Одни в кандалах, другие—без кандалов. А кандалы курлыкали и играли на ногах, весело и надоедливо. И в груди, где-то около сердца, ворочались змеи. Около палей, где щебетали женские голоса, все тормозилось, сталкиваясь и путаясь в толчее, рваными голосами перекликивались, как голодные самцы, и, слепые, улыбались, как дурачки, и натужно отходили прочь, оглядываясь и раздувая ноздри.

Ж м у р к и

В распахе двери стоял новый помощник в тулупе и мохнатой папахе. Усы и растрепанная бородка стекали сосульками. Он в близорукой прищурке всматривался издали в камеру и похож был на случайного гостя, испуганного нутром наших казематов. Мы переглянулись с Праховым и оба подумали: четвертый сожитель? Черная борода старшего лошадиным хвостом в сизых волнах лежала на шмели. Стоял он браво, и грудь его была широка и могуча, как у генерала. За их плечами мотылялась баранья шапка Мизинчика.

— Староста Прахов—в контору. Начальник ничего не понимает, что нацарапано на вашей бумаге. Он думает, что это—бред сумасшедшего.

Прахов встал с койки и, засунув руки в карманы, сказал строго и назидательно:

— Скажите вашему начальнику, что он—дубина. Прикатите сюда эту жирную бочку: пусть понюхает, чем мы пахнем.

Тулуп дрыгнул папашой и махнул длинным рукавом.

— Старшой, проводи поверку. Я сам выясню, что надо.

Старшой взметнул бородой и шлепнул варежкой по волосатой папахе. Повернулся кругом-марш и скрылся за дверь.

Человек ввалился в камеру пухлым ворохом овчины и остановился вплотную перед Праховым. Лицо у него было маленькое, в нездоровой опухоли, но тощее и бледное, сточенное на-нет в бороде. В длинных черных ресницах глаза казались грустными и отравно-пьяными. Он пристально вглядывался в Прахова, улыбался через алкогольный жарок, выдирали из усов и бороды сосульки и гримасничал.

Прахов сложил руки на груди и смотрел на него насмешливо и вызывающе. И по их глазам видно было, что они знали друг друга, но играли комедию, как враги.

— Так вот... уважаемый Прахов... Что? Не ожидал? Думал, что исчез, как таракан в щелке?.. Прошу любить и жаловать Дынникова... в той же шкуре...

Прахов был спокоен и непроницаем. Он быковато, в прищурку смотрел на помощника и усмехался с любопытством человека, отвыкшего от забавных зрелищ.

— В чем дело? Вы тычете не в бровь, а в пустое место. Обознались, приятель.

— Та-та-та, шкура дрожит, как на кошке... Как? Революционер!.. как оно... да, да, Прахов... Ну, что ж, значит, судьба... Шкуры старые—и у тебя, и у меня... должно быть, на всю жизнь... Не в этом дело... Дело—в другом: уж один мой вид может сказать тебе больше моих слов...

В этом человеке была какая-то червоточина, которая не давала ему покоя. Роль тюремщика совсем не шла к нему: он носил эту нелепую маску, как я—кандалы. Здесь была непонятная мне игра, и они оба ловили друг друга с завязанными глазами.

Вдали, по коридору, громыхали замки. Флейтами пели двери и глухо вздыхали, выдавливая воздух из камер.

Прахов вскинул на меня вздрагивающие веки: глаза его кружились осовелой слепотой. Они лгали, притворялись и прятались внутри за судорожную усмешку, и от рыжих бровей, вздрагивающих у переносья, и огнистой молодой бороды, сбитой войлоком, пахло жаром волнения. И я не мог понять, почему они обманывают друг друга, почему они, пойманные и тем и другим, фальшиво водят друг друга за нос? Впрочем, фальшивил только один Прахов. Может быть, у него была тайна, которую знал помощник Дынников, и он боялся, чтобы я не узнал ее из его болтовни?

— Скажи-ка, Угрюмов: ты что-нибудь понимаешь в этой антимионии? Я замкнуто и отчужденно промолчал.

Дынников близоруко посмотрел в мою сторону, точно впервые заметил мое присутствие, и засмеялся. Это был не смех, а что-то вроде недоуменного клохтанья:

— Хлык-хлык...

Но глаза были переутомлены неугасимым возбуждением и жили своей, отдельной жизнью.

— Так-с... это не изменяет сути дела... Ты хочешь быть страу-сом?.. Великолпно. Ведь я умею дорожить тем, чем нужно дорожить, и играть в жмурки не хуже тебя.

Прахов крикнул всем нутром, и тело его дрогнуло мускулами.

— Ну, и нечего болтать языком. В чем дело?

Они пристально и близко касались друг друга, и в их переглядке было больше скрытого смысла, чем в их необычных словах. В этой их немой борьбе глаз струною натягивалась непостижимая для меня ненависть.

Дынников уже не говорил, а шептал, и этот шопот был похож на бред сумасшедшего:

— Наталья Ивановна, твоя супруга, просит свиданья. Но ей скорее нужен доктор, чем ты. Ты и ее не знаешь? хлык-хлык... Имей в виду, что твоя жизнь—в безопасности. Имей в виду...

Прахов выпрямился с треском в костях, и в лице его кровью напрыжился зверь. Он отошел от Дынникова и скрипнул зубами. Лицо Дынникова коверкалось улыбкой.

— Хлык-хлык...

С огромным напряжением воли Прахов встряхнулся и твердо поставил себя на ноги.

— Ну, довольно... позабавились... Здесь сидит только Прахов, арестованный в порядке охраны. Тем, кто интересуется моей судьбой, скажите, что я здоров, как стоялая лошадь.

Дынников закашлялся смехом, и лицо его стало мокрым и студенистым. А глаза отдельно от лица пьянели злобой и ненавистью.

Он взмахнул лапами и вышел в коридор, и камера после него вдруг стала пустой. Дверь метнулась из коридора и с визгом захлопнулась. Прахов подошел к волчку, постоял немного, подумал и прислушался.

Если в бездонные часы нашего сидения в камере Прахов рассказывал о баррикадах, об уличных боях, о том, как он два дня держался с горсточкой людей против регулярных солдатских частей, о своем бегстве из тюрьмы и скитаниях по России,—то почему он ни разу не упоминал о Дынникове, о женщине, которая стояла между ним и этим тюремщиком? Какие нити связывали его с этим человеком? Я не мог взглянуть ему в лицо и знал, что он тоже не смотрит на меня. Внезапно и незаметно между нами выросла мутная тень. На одно короткое мгновение мы встретились глазами, и в его глазах вздрагивала пытливая и знающая насмешка.

Он опять отвернулся и быстро наклонился над волчком. Выдыхая каждое слово отдельно, он выгибал колесом спину и напирал на дверь, точно хотел ее выдавить.

— Товарищи! Требуем начальника тюрьмы. Мы не допустим, чтобы с нами обращались, как с собаками. Мы не можем терпеть

этого варварского режима. Мы объявляем борьбу не на живот, а на смерть. Не надо поддаваться провокации: все—как один. Начальника тюрьмы, товарищи!

Вперерез ему кричал, захлебываясь, чей-то юношеский голос:

— Товарищи, долой провокаторов!.. Тут не может быть никаких разговоров... Товарищи, вспомните, как мы боролись... Нам нечего терять, кроме цепей, товарищи...

Где-то колотили в дверь несколько ног, и издали коридорные пустоты грохотали огромным барабаном. Кто-то свистнул пронзительным разбойничьим свистом. Задрожали стены, и по коридору завывали порывы ветра. Несколько голосов, заглушая друг друга, надрывались, как в истерике:

— Долой!.. Подавай сюда, мерзавца!.. Голодовка! Голодовка!.. Долой палачей!..

Взорвались и ожили в бурном смятении могилы, и двери в железной броне заскрежетали замками. Страдания, кровь, тоска многих тысяч узников, проглоченных за долгие годы камнями, заклокотали из стен, разбуженные ревом живых. Я слышал только вой стен, лязг и гром железа: так не могли потрясать столетних сооружений простые человеческие крики, а ярость людей, которые сейчас копошились в этих кубических ямах, была ничтожна, чтобы вызвать трепет сырых казематов.

Митря кувырнулся с койки и с разбегу грохнулся в железную обшивку. Забухала дверь и задрезжала на петлях. Прахов стоял в углу, около двери, и прислушивался в оцепенении к буре, которую он вызвал сам. Он будто не хотел принимать участия в этом бешенстве и стоял, спокойный и равнодушный, теребил волосы из бороды и усов, тянул их в рот и откусывал кончики.

Взрывно бухали двери, и рев толп, запертый, глухой, и звон кандалов потрясали стены, бушевали в рыжем сумраке пустынного коридора, срывая грязь и пыль со штукатурки. Ветер ворвался и в нашу камеру. Сердце разбухало и распирало грудь. Неудержимо хотелось броситься к двери и закричать изо всех сил и забарабанить в железо и руками и ногами. Нестерпимое наслаждение и восторг разрывали легкие. Задыхаясь и теряя сознание, я встал на свою койку, потом прыгнул на табуретку и упал на пол. С лихорадочной торопливостью вскочил на ноги, но запутался кандалами в ножках опрокинутой табуретки. Надрываясь от рева, я схватил ее одной рукой и со всего размаху бросил на пол. Она была уже старая и от удара разлетелась в щепки. Слепой и пьяный, я начал топтать ее в-остервенении и ярости. Толкаясь о койки и падая на них, я прыжками добрался до двери и начал стучать в нее кулаками, ногами и головою. Что я кричал— не знаю, но кричал до хрипа, до изнеможения. Около моего лица брякнула связка ключей, и черная борода метнулась в волчке конским хвостом. Там, за дверью, бегали по коридору надзиратели и бешено выли вместе с заключенными.

Это были не камеры, а клетки зверинца. Это был рев, визг и стоны животных, закованных в железо, обезумевших в неволе. Где-то — не то близко, не то далеко — взрывались бомбы.

У моих ног лежал Митря и топтал ногами в дверь. Вероятно, он тоже кричал в безумном припадке, но я не слышал его, потому что не слышал себя.

Сильные руки рванули меня за плечи и отбросили назад. Прахов смотрел на меня злыми, вспыхивающими глазами. Он подошел к Митре и ударил его ногою по заду. Митря внимательно и испуганно взглянул на него, послушно отполз к параше и сел, крепко связав руками колени.

Прахов сгорбатился над волчком, и лопатки его прыгнули над рубахой. Жилы разбухли под ушами от натуги. И в то же мгновение оглушительно брякнула связка ключей по волчку. Этот удар отбросил Прахова назад. Он прикрыл ладонью рот и пристально посмотрел на меня с младенческим изумлением. Потом медленно отнял руку ото рта и так же пристально и изумленно посмотрел на ладонь. Пальцы были в крови, а по бороде прыгали черные и огненные капельки.

Грохот и рев затихали. Только в дальних камерах еще вопили и лаяли псы. Волны бешенства и бунта откатывались в тишину. Камеры опять всасывали жизнь в свои утробы: двери были слишком тяжелы и надежно закованы, чтобы выдержать напор человеческих тел.

Старший надзиратель бегал от двери к двери и хрипел, размахивая ключами:

— Ах, вы, дармоеды!.. Ошметки поганые!.. Я покажу вам, где раки зимуют, мерзавцы...

В нем было все — и борода, и непомерно маленький носик, как клюв, и лошадиное тело — все было налито тяжелой силой верного сторожа зверинца. Точно впервые я увидел ремни, которые опутывали его крест-на-крест: в этих ремнях был весь ужас этой грозной фигуры. Он мог делать все: и быть палачом, и пороть каждого из нас, и проламывать ключами черепа. Это он приходил в глухие ночи беззвучной поступью в камеру смертников и бородой своей и ремнями убивал людей еще до виселицы.

Затихала последняя волна потухающих голосов. В квадрате волчка уже тускло мерцала пустота, и попрежнему призрачно рокотало эхо далеких успокоенных движений и ручейкового перелива кандалов.

Я лежал на койке и тяжело дышал от пережитого восторженного потрясения. Митря сидел, подложив под себя босые ноги по-турецки, и ржал жеребенком. Он смотрел на разбитую табуретку и качался вперед и назад.

— Как он бякнул ее... Вот достукался, сапатка... На чем же сейчас сидеть-то будем?.. Как это я раньше не догадался? Я бы всю ее измочалил, осина-борона...

Прахов шлепнул его по спине и затрясся от смеха.

— Ну, что, деревня? Здорово я тебя саданул по заднице? Ничего, брат: казаки больше драли.

Митря забычился, но качаться не перестал.

— Что ж, что казаки? Казаки—за дело. А ты что ногам волю даешь?

— Да дуботол ты этакий! Чего ты прешь, как бык? Тут с умом надо, а ты под ногами треплешься. Детина!

Это внезапное добродушие и веселая болтовня Прахова, когда у него еще атели капли крови на бороде и рубашке, казались мне не кстати: в них не было искренности—голос был фальшив и беспокоен. Оттого ли, что я был свидетелем их странной игры с Дынниковым и почувствовал какую-то тайну в переплетении их жизней, или оттого, что его оглушило имя женщины, которая была рядом за стенами тюрьмы,—он волновался и никак не мог поставить на место своего сердца. В этот миг что-то чужое и враждебное было в его движениях, в платье, во всем его облике.

Он вплотную подошел ко мне и засунул руки в карманы. В прищурке его была насмешка и вызов.

— Ну? В чем дело? В какую ноздрю попала заноза?

Б у н т

Впереди шел Дынников и парусил лохматыми полами тулупа. Длинные космы папахи трепались по лицу, и глаз его не было видно. Издали лицо казалось непомерно маленьким и стекало вниз жидкими мокрыми усами и острой бородкой. Нос был нервный и твердый, будто роговой.

За ним огромной бурдючной глыбой, шоркая уродливыми сапогами, переваливаясь с боку на бок, колыхался начальник тюрьмы Мамырин, иначе—Мыря. Под белой косматой папачой лицо его лежало на вздутой шинели красным куском мяса. На дряблых складках и отеках кожи скудно мохрилась серебристая шерсть в клочках и плешах. Глаза были бесцветные, маленькие, утомленные ожирением. И весь он был не человек, а монгольский бурхан, с влажной улыбкой алчного благодущия.

Позади, конвоирами, — старший надзиратель с угрожающей бородой и просто надзиратель с длинными жандармскими усами вразлет.

Мы с Праховым стояли рядом около двери своей камеры, а у волчков по всей линии коридора дежурили глаза, готовые лопнуть от жажды бунта.

Мизинчик бренькнул ключами, отмахал три шага вперед и сделал налево-кругом.

— Смирно!

Прахов добродушно ухмыльнулся.

— Полегче, Мизинчик, а то штаны порвешь от усердия. Пугало!

Не видя нас, раздавленный собственной тяжестью, Мыря боролся с одышкой и никак не мог устойчиво стать на одном месте. Дынников

был замкнут и почтительно напряжен, и только по вздрагивающим усам видно было, что он не прочь принять участие в наплывающей буче. Он прятал глаза под папаху, но мне чудилось, что они светятся под черной шерстью кошачьими огоньками. Это он приказал открыть нашу камеру, это он притащил сюда Мыррю и изломал обычный распорядок тюрьмы. И в голосе его, и в словах, и в жестах было что-то тревожное, неустойчивое, совсем несвойственное застывшему каменному покою старой секретной.

Мырря в ответ на команду Мизинчика, как глухое эхо, промычал устало и рыхло:

— Здорово, господа!

Заложив руки в карманы, мы молчали. У нас было так положено — не отвечать на приветствие тюремщиков. И когда, во время поверки, отворялась дверь камеры и надзиратель кричал обычное —

— Смирно! —

мы старались усердно и любовно смотреть друг на друга, болтать всякий вздор и делать вид, что решаем вопросы глубокого философского значения.

Прахов вышел вперед, на середину коридора, и, выщипывая волосы из бороды, быком уставился в пол.

— Мы потребовали вас сюда...

Точно внезапный удар потряс Мыррю: дрогнула папаха, губы запрыгали, и лицо стало сизым и влажным.

— Эт-то что такое?.. Я не допущу, чтобы государственные преступники нарушали правила моей тюрьмы. У них не может быть никаких требований. Я подавлю это раз навсегда... Тюрьма должна быть и будет тюрьмой: здесь человека нет, а только его препарат.

Он свирепо посмотрел на Мизинчика и с усилием поднял раздутую руку.

— Почему не на месте арестанты? Эт-то что такое? В камеру!

Из камер выпирались двери, и из волчков рвались оскаленные голоса:

— Долой эту скотину, мерзкую квашню!..

— Бычья туша! Ты сам свиной препарат... К чорту!..

— Харкните ему в толстую морду, вонючей лярве... Бери на абордаж, Прахов... Чего вы лимоните, сволочи?..

Прахов пощипывал бородку и, ухмыляясь, посматривал на Мыррю из-под бровей.

Я шагнул вперед, и звон кандалов раскололся стеклом в груди.

— Этот ваш хамский язык — долой! Мы не позволим издеваться... Довольно!..

Прахов тоже шагнул вперед и стал со мною бок-о-бок.

— Наши требования вам известны. Я могу повторить их еще раз. Ни на какие уступки мы не пойдем и объявим голодовку.

Мырря выворачивал белки и дергал головой, точно его схватили за горло. Губы его покрылись белой накипью. Он перевалился в сторону Мизинчика и заревел придушенным хрипом:

— Как ты смел открыть камеру, мерзавец? Я тебя под суд отдам, каналья...

Мизинчик безмолвно вытянулся, неуклюже вскинул руку с ключами к шапке, и глаза его стали пустыми и мутными, как у слепого.

Дынников в полуоборот стал перед Мыррей и с наглой почти-тельностью изогнулся перед ним.

— Камера открыта по моему распоряжению. Староста во всякое время имеет право требовать открытия дверей по делам секретной.

— Не забывайте, помощник. Только с моего разрешения.

— Никак нет. С разрешения дежурного помощника.

С секунду они неподвижно и пристально смотрели друг на друга, и Мырря, укрощенный, сразу обрюзг, и лицо его тестом потекло в щеках на шинель.

Прахов как будто не прерывал своей реплики и с прежней усмешкой упрямо смотрел в пол.

— Я еще раз повторяю наши требования: камеры должны быть открыты на целый день между поверками, свободный доступ газет и книг, свидания с политическими женщинами, хозяйственная коммуна и непосредственное наблюдение над кухней, еженедельно — баня.

Прахов не успел закончить последних слов: камеры бурной волной ринулись в коридор. Стены опять задрожали ревом и бешенством.

— Долой палачей!.. Долой варварский режим!.. Никаких уступок!.. Голодовка!.. Голодовка!..

Этот бешеный гам и грохот запертых ржавым железом дверей оглушительным шквалом опрокинул чинную строгость черных фигур. Они сбились плотно, плечом к плечу, и в их лицах заколыхалось волнение. Глаза озирались, беспокойно блуждая по пустоте коридора. Дынников оставался попрежнему неподвижным и нервно замкнутым. Мырря тарачил белки на Прахова и чавкал от удущья. Старший надзиратель, с пьяным переливом в глазах, трепанул бородою и угодливо склонился к белой папахе Мырри.

И опять в груди у меня начали биться крылья. Сердце стало большим, больше грудной клетки. Оно рвалось и кричало бурей голосов. И будто не камеры орали и бесились за волчками, а буйствовало и взрывалось сердце. Кровь горячим напором обливала лицо, и мне неудержимо хотелось броситься на этих людей — топтать их, бить, уродовать, вырывать им бороды и плевать в лицо.

Дрожа всем телом, задыхаясь, я нелепо замахал руками и крикнул, срываясь на визг:

— Мы будем бороться до последних сил. Это имейте в виду. Мы вызовем бунт во всей тюрьме. Мы не боимся ваших угроз. Мы все перевернем здесь вверх дном. Мы объявляем голодовку.

И странно: Мырря растерянно посмотрел на меня и облизнул вывороченные губы сухим языком. Потом поглядел на Прахова и на Дынникова, вздохнул и беспомощно забарахтался в своем непосильном ожирении.

— Господа! Разве это от меня зависит? Я — исполнитель законов. Бесплезно, господа. Законы ненарушимы. Ах, господа, господа! Что вы затеяли, что затеяли!.. У меня — очень тяжелые обязанности, а вы вносите большие осложнения. У меня — образцовая тюрьма, и никогда не было таких беспорядков. Для вас же хуже будет, господа: навлечете на себя репрессии и преследования.

Волна ревушего и грохочущего бешенства отхлынула из камер в далекую воронку коридора, но отдельные голоса и визги еще вырывались из волчков. Двери трещали и скрежетали жестью. Я слышал усталое и хриплое дыхание толп по всему размаху пустот и чувствовал, что все напряженно ждут очень близкого конца, чтобы опять взорваться сумасшедшим бунтом.

И вдруг Мымря опять рассвирепел. Сизый и багровый от крови, он только хрипел и обильно брызгал густой слюною:

— Я вас в бараний рог согну, паршивая крамола!.. Я сгною вас, раздавлю, как тараканов... Я вас пороть буду, как сидоровых коз... Взять этих псов и запереть их без права прогулок на неделю!..

Прахов был спокоен и соялт твердо, уверенно, пощипывая бороду и ухмыляясь.

— Не орите, пожалуйста; мы — не быки.

Коридор точно обрушился стенами — щебнем летели кирпичи, штукатурка и глина. Двери грохотали и бухали от ударов ног, кулаков, табуреток. Ветер полыхал по коридору и крутил пыль. Уже ничего не было, кроме звериного рева, визга, хрипа, лязга зубов. Где-то ломались и кричали доски, и в двери оглушительно нажаривали палками. Это было нечеловеческое безумие, которое нельзя было остановить. Этих людей можно было только истребить огнем, чтобы восстановить тишину.

Прахов повернулся и шагнул к открытой камере. Но сразу же споткнулся и остановился, точно этот бушующий вихрь отбросил его назад. В груди у меня было только одно сердце. Оно билось широкими взмахами и разрывалось от крови, и кровь плескалась в горло и голову. И опять, не владея легкими, кувыркаясь в воздухе, я кричал бессмысленно, до надрыва:

— Стой!.. Не ходи, Прахов!.. Не смей уходить!.. Я не пущу тебя!..

А нутром я чувствовал, что кричал я только одно:

— А-ай!.. а-ай!..

Потом я прыгнул в сторону Мымри и, замирая от восторга и свободы, потрясал перед его лицом кулаками, и в моих глазах лицо его бултыхалось, как огромный пузырь.

— Я не войду в камеру... Выбросьте отсюда эту бородатую собаку... Убейте меня, но я не пойду... Мы не позволим этому негодю выбивать зубы ключами... Мы не допустим, чтобы вооруженные барбосы обращались с нами, как со скотиной... Вы можете переломать мне кости, но вы будете иметь дело не со мной, а со всей тюрьмой... Вы будете

плавать в нашей крови, но вы захлебнетесь и погибнете, чорт бы вас побрал, палачей...

Я помню, что я вырывался из рук Прахова, помню, что разорвал ему ворот рубахи и дутался в своих кандалах. Несколько раз глаза его отразились в моих и обжигали злобой.

— Иди, чорт!. Взбесился ты, что ли? Пошел вон в камеру!

А меня подбрасывали волны грохочущего прибоя. Выла и потрясалась земля, и все в страшном вихре крутилось и визжало с неиспытанной стремительностью.

Потом все это провалилось в преисподнюю, и на меня обрушилась большая толпа. Рычали, кряхтели мне в лицо и больно ломали руки. Сквозь грохот разрушения я смутно слышал утробное рвяканье Мымри:

— Волоки его, мерзавца, в карцер! Волоки, каналью, негодяя!..

Я бился в руках надзирателей и в последних порывах сил с отчаянием чувствовал, что в этих нечеловеческих мускулах я — жалок и ничтожен, что им ничего не стоит раздавить меня, как червяка.

В карцере

Я полетел в черную дыру и с размаху ударился головой о камень. Брызнули искры и раскололись стеклом. И звон стекла занял мучительной болью под черепом. Лежал я в полусознании, без ощущения времени, и только страдал от бессилия: я не мог разжать челюстей — зубы точно срослись и нудно хрустели в деснах.

И, когда боль и огненный звон растаяли в голове, я почувствовал, что дрожу неудержимой, потрясающей судорогой: будто ледяная тина всасывала меня в свое болотное нутро и замораживала медленно и неотвратимо.

Я лежал на полу, в непроницаемой тьме и безмолвии, и эта крошечная тишина нескончаемо пела тоненькой металлической нитью. И холод был тяжелый, удушливый, с запахом отхожего места. Дрожь струилась откуда-то изнутри, из области сердца, и я никак не мог совладать с собою, чтобы натянуть мускулы — сделать их свободными и гибкими.

Я встал, но устойчивости не было в ногах: они дрожали, сгибались в коленях, и кандалы плескались бубенчиками. Пальцы скользнули по ослизлой стене, и я не мог понять — иней ли это пушился на камне, или студнем нарастала плесень, замороженная мраком. Два шага — другая стена. Потом — провал: железная дверь; должно быть, такая же, как в камерах. Шаг — и опять стена в два взмаха ногами. Параша нет, Под ногами — мерзлые комки и выпучины — должно быть, человеческие испражнения.

Одиночество в камере — одно, одиночество в карцере — другое. Когда есть свет, который стекает из мерзлого решетчатого окна и туманно пылится по камере, — мир, вспыхивает в душе образами неугасимых воспоминаний: события, которые никогда уже не повторятся,

ярко и осязаемо трепещут перед глазами, насыщенные жизнью. Одинокость карцера — одиночество мрака и бездны. Невидимые стены, это — тьма, сгущенная в камень.

Я ползал около стен, тыкался руками и плечами в мерзлую слизь, скользил по обледенелому полу, и мне чудилось, что на стенах нарастают новые слои льда, и тьма твердеет, кристаллизуется, замораживает руки и ноги, и они тоже превращаются в куски льда, а неудержимая дрожь тает в них, сливаясь с мраком. И не мозгом, а всем существом я мучительно ждал неизбежности: пройдет еще час, и я окоченею и угасну навсегда. Иногда я со страхом чувствовал, что мрак пустоты и мрак стен вдруг колыхались волнами и невесомо плыли, как мыльный пузырь. И стены и пол вдруг исчезали в своей твердости и беззвучно кружились вокруг меня спокойным воздушным потоком. Я терял опору и, замирая, летел в пропасть. Вероятно, это было только на несколько секунд, потому что я сейчас же ощущал омерзительный холод на лице. Я садился и старчески горбился: весь был непереносно тяжелым и дряблым. Тошнота клубилась около сердца и обливала его густой рвотой, застрявшей в желудке. Неощутимый полет стен и пола все еще вихрился головокружительным незримым смерчем.

Я много раз садился на пол, опираясь спиной о стену, и застывал, потрясаемый еще не остывшим бешенством.

Мерзавцы, они бросили меня в эту мерзкую яму, чтобы убить во мне силу сопротивления. Тупые ослы: они не знают, что я — сильнее их, и меня нельзя победить. Если бы они могли заглянуть под крышку моего черепа и исследовать мою кровь, они пришли бы в смятение. Они хотят взять меня холодной пыткой — превратить меня в замороженный труп. Они знают, что делают: они знают, что безмолвием и холодной тьмой можно убить человека. Они знают, что застывшее время ужаснее вневременья.

Но ведь это — для слабых духом, а я смеюсь над ними. В моей душе играет только музыка. Вот они придут к моей могиле и злобно будут скалить зубы. Они думают, что я буду ползать по зловонному полу и просить пощады. Этого не будет. Я встречу их на ногах и посмотрю на них с презрением, и они будут бессильны в своей ярости. Мне — хорошо, потому что там, за стенами, светит солнце, и снег искрится звездами. Я вижу небо в полете и пью его, как вино. Я обнимаю землю, такую родную, неотделимую, беспокойную, горящую пожарными зорями в горизонтах по вечерам и в предутренней мгле,

Я изнемогал от дрожи: она рвала внутренности, а руки и ноги отрывались от тела и были чужие. Я не владел уже ни одной клеточкой моего тела. Из стен тягучей патокой стекала морозная сырость, вливаясь в позвонки, и холодной кровью расплзлась по жилам. И эти ледяные струи вливались в сердце, и сердце сжималось и тоже дрожало, перебивая свой ритм. На ногах уже не было кандалов, и когда я делал усилие пошевелить пальцами — не было пальцев. Я вставал, чтобы немного согреться, но падал, спотыкаясь о горбатые

потоки мерзлой мочи и комки испражнений. Опять вставал и бился плечами о стены. Прыжок вперед — стена и удар плечом о камни; прыжок назад — стена, удар другим плечом. Я сгибался, скручивался, как еж. Горбуном елозил по карцеру и не мог остановиться. Бился о стены и не ощущал боли от ударов. Но эта боль была повсюду: она волновалась ударами сердца и скрипела внутри — в мозгу, в зубах, в мускулах, в животе...

Поскользнулся и опять упал грудью на пол. Хотел встать и — не мог. Пусть. Все равно. Так — лучше и теплее.

Может быть, это было полусознание, оцепенение, может быть, я медленно замерзал. Мне было невыносимо больно и приятно, потому что я таял, растворялся, исчезал в себе.

... Тепло и уютно, и койка такая мягкая, как колыбель. Прахов смотрит на меня немного выпуклыми глазами, и они дрожат знающей усмешкой. Он наваливается на меня и сжимает лошадиными мускулами. Я задыхаюсь, и кости мои трещат и сдвигаются в кучу.

— Не смей кричать, чорт! Ты знаешь, что такое — борьба? Кто тебе сказал, что борьба, это — бунт ради теплого безмятежного гнезда? Плюй ему в рожу. Борьба, это — не бунт, а тяжелая работа по прокладке дороги в бесконечное будущее. Мы — мятежники против всякого устойчивого благополучия. Мы — вечные мятежники...

А я беспомощно барахтаюсь под ним и кричу, как беспомощный ребенок:

— Ты взгляни, Прахов... Вот он... Это Митря треплется под ногами... Это он топчет все, как скот...

— Его надо жучить... жучить, сукина сына...

А Митря хохочет где-то рядом слюняво, как кретин, и портит воздух холодной застарелой вонью.

Это ломает мне кости старший надзиратель и плюет мне в лицо омерзительной слюзью. И жирный клокочущий хрип Мымри проходит через меня невыносимой ломотой:

— Я вас в бараний рог согну, мерзавцы!.. В карцер его, подлеца!..

... Взрывы пожарного зарева. Топот огромной толпы. Ночь. Выстрелы. Я с винтовкой лежу на камнях, на обломках дерева и стреляю во тьму. Около меня шевелятся и ползают черные тени. Кто-то корчится рядом и мычит одним нутром: мм... мм... Ко мне подползает кто-то сбоку и тормозит за плечо. Я оглядываюсь и четко различаю зубы, клочкастые усы и глаза, как мыльные пузыри.

— Что ты, очумел, что ли? Беги к чорту!.. Все погибло... Беги!..

Тень прыгнула во тьму, раскаленную заревом, и я срываюсь с места и бегу за нею, слепой, оглохший от страха, и не знаю, куда бегу. А всюду — выстрелы, хриплые крики, звон разбитого стекла и топот толпы. И воздух и земля воют от боли.

Я становлюсь легким и крылатым. Меня подбрасывает плавно волна мертвой зыби, и Немилевич улыбается лицо в лицо, с восторженной влагой в глазах:

— Только солнце, только весна... Небо такое родное и близкое... Оно волнуется и брызжет, как море... Ведь только в себе несем мы весь мир... Только радость ощущений есть подлинная радость...

Так тепло и легко. Земля в фиолетовых волнах предгорий. И небо — в вечернем ущербе. По усталым полям льется хрустальным звоном музыка. Плещутся кандалы на изнуренных ногах. Толпа серых бушлатов колышется по комкастой пепельной дороге, в бесчисленных колеях. Дрлынь, дрлынь... Идет-идет длинной, серой, безликой грядой... Далеко, по бесконечному столбовому пути. И поют стонущие голоса, разрываются, вздыхают в похоронной скорби:

Россия, Россия,
Россия моя...

А в стену царапаются пальцы, и стена кричит, и в стене — обнаженные десны:

— О-о... я не могу... товарищи... спасите меня...

И опять — потухающее небо, покрытое бурой окалиной, и поля — в смятых, спутанных жнивьях. Музыка... она тает, рождается, опять тает: дрлынь, дрлынь...

Голодные дни

Очнулся я в камере. Около меня, на койке, сидел Прахов с усмешкой смущенного участия. И золото его волос было необычно ярко, необычно прозрачно. Окно, зеленое и тусклое от хлопьев инея, отчеканивалось перед глазами черными переплетами железной решетки. Стена, где было раньше мое изголовье, темна и далека, как в тумане. Митря был тоже далеко — его голос вздыхал слабо, глухо, будто из подполья: слов нельзя было разобрать — они были меньше его голоса и растягивались в ниточку.

Прахов подмигивал мне ласково и дружески-интимно.

— Ну, как, брат? Тонка же у тебя кишка: не выдержал в камере и суток. Еще бы немного — совсем бы закоченел. Все-таки немножко прихватило: обморозил пальцы и уши. Слышишь, какая благодать? Тишь, строгость... Умереть успеем, а в болезни человек бывает сильнее в подходящий момент, чем в добром здравии.

Он рассуждал с удовольствием, со вкусом. Лицо его было необычно молодо, празднично. Глаза — с хмельцой, сухие, с искрой. И в движениях — нервная напряженность, озабоченность, тревога, точно он хотел сказать мне на ухо какое-то важное слово, но не решался.

— Дело идет дружно и замечательно. Из-за тебя бузовали почти всю ночь и это утро. Ввели солдат. Тюрьма — на военном положении. Имей в виду, что могут провалить. С анархистами приходится все время лимонить. А тут — видишь? Уж мужичье брюхо захрюкало. Таким надо беспощадно загигать салазки.

Глаза его вдруг осовели и стали злыми и маленькими.

— Бить буду. Сдеру штаны и кляпом забью в глотку.

Ревущий кашель рвал мне грудь, и я задыхался. Во рту — сухо, и все тело — сухое, обсыпанное горячим песком.

— Прахов, дай мне, голубчик, воды.

Он взял со стола кружку, и у него дрогнули брови от ехидной усмешки.

— А может быть, хочешь покушать?

Оглохший от обиды, я сел на койке.

— Не смей издеваться надо мной, Прахов! И, пожалуйста, не строй дурака. Ты знаешь, что за это можно бить по физиономии.

Он засмеялся весело, по-ребячьи.

— Ну-ну, не егози. Чем бить будешь — пальцы-то не согнешь: нет их. И кулака не выйдет. Молчи, набирайся сил — на водичке и святые с чертями дрались.

Я поднес кружку ко рту, и она задребезжала у меня на зубах. Вода показалась мне вонючей и густой, как масло.

Он тихо и раздумчиво говорил через угрюмую гримасу:

— Надо быть на-чеку и глядеть в оба. Теперь кровь стала провокаторская, и воздух загажен предательством. Нужно ко всему быть готовым. Когда человек получает хорошую затрещину, он прячется за чужую спину и подло тычет в рожу соседа: это — он! Мерзота! Признайся, какой бес прыгал в тебе... в этой истории с Дынниковым? Ну-ну, ничего: я и так знаю. Что поделаешь — такое время... зыбкое, чорт бы его подрал. А о Дынникове я тебе расскажу как-нибудь. Это анекдот самый простой. Что такое — Дынников? Кувыркается он над обрывом — зацепился штанами за сучок — и никакой спорыньи. Так, одна бестолочь, а вот — душу мутит.

Прахов был полнокровный, широкий костью, крепко посаженный на ноги, и череп у него — большой, в шишках, топорной работы, основательный и надежный. Мне было хорошо от его близости, и мое недоверие к нему тяготило меня: оно было нелепо, глупо, омерзительно.

— Прахов, ты прости меня от души. Все, что было между нами, это — дичь и дурман.

Он отодвинулся и посмотрел на меня сбоку, по-птичьи.

— Да ты что? Чудак ты. Обижаться я не привык, а вернее — отвык. Это — плевое дело. Надо одно: или бить, или в обнимку итти. Другое для нас не писано.

И он погладил меня по одеялке.

...Это глубокое, нутряное безмолвие полно зловещего смысла и суровой торжественности. Оно — в неуловимом полете и поет очень далекой капелью. Это чувствуют надзиратели, которых мы не видим, которые уже не гремят ключами. Чтобы не пугать тишину и не тревожить успокоенных стен, они надели валенки и ходят неслышно, как тени. Но я чувствую, как живут камеры. Я вижу сквозь стены всех этих людей, которые связаны со мною общей судьбой. Стрекочут стены и движутся. Лица — множество отёчных бледных лиц — смотрят

на меня пристально, и в этих лицах я вижу себя. Они колышутся передо мною, дышат, наваливаются на меня, тускнеют и опять появляются, четко и выпукло. И стрекот, шорохи, кандалный всхлип.. Потом — опять тишина погребя. А потом — опять стрекот, спутанный в россыпи, беспокойный в биении сердца.

В груди тлеет маленький уголек. Он не обжигает, а тихо ноет, и этот сосущий ожег обливается волнами крови. А в голове — ясно и свежо, и во всем теле — легкость и покой. Образы реют, как облака в лазури. Это — отдельные миги, обрывки событий, клочки картин, не люди, а их лица, улыбки, глаза и жесты. Волчки и глаза.

А потом — забытьё.

...Зеленая полянка в лесу. Она — в солнце и искрится золотом. Ромашки горят звездным засеком, и лиловая кашка клевера вкусно кудрявится в опаловых злаках, а метелки злаков колышутся огоньками свечей. И серебром трепещут в небесной синеве, живые в полете, мотыльковые листья осин. А вверху — небо в весеннем опылении и облака — плавающие сугробы.

...Это Ольга в глянце волос на висках. Глаза у ней отодвинуты к скулам и от этого они кажутся огромными. Две морщинки: одна ямочкой в середине переносья, другая — стрелой у левой брови. Почему, она, Ольга, смотрит на меня так загадочно и отчужденно?

...Опять жирный студенистый шар. Он мучительно ненужен и неустраим. Он растет, медленно наматывает мои внутренности и увлекает меня неудержимым ослизлым вращением. Потом останавливается и смотрит на меня апоплексическим лицом Мымри.

— Господа, моя тюрьма — самая образцовая в мире... Я вас в бараний рог согну, мерзавцы!.. В карцер его, подлеца!..

Прахов обнимает меня железными руками и бросает на койку. Я открываю глаза и встречаю его взгляд, насмешливый и пристальный.

— Ты опять бредишь, друг? Это не годится. При голодовке нельзя много лежать, а то можно скапуться. Ты не сердись, ежели я буду тревожить тебя. При твоей слабости дело может получить худой оборот.

Однажды вечером призрачный телеграфный стук запрыгал по стене. Капелью струились в мозг отдельные частицы слов и оживали нервным трепетаньем. Это — смертники. Прахов чутко прислушался, сел на свою койку и приложился ухом к стене.

Мы не пьем воды.
Нас должны скоро повесить.
Едва ли успеем умереть раньше.
Думаем вскрыть жилы.

Прахов смотрел на меня изумленно и растерянно.

— Ты слышишь? Что им ответить?

И, не ожидая ответа, схватил кружку со стола и стал выстукивать:

Не давайте живыми.
Все средства хороши.
Мужайтесь.

И—опять тишина.

Вечерняя поверка шла обычным порядком. Открылась дверь и с порога черные тени надзирателей и Дынникова, молча, посмотрели на нас своими лохматыми шапками. В последний момент Дынников шевельнул спутанными усами в затаенной намекающей усмешке и сказал брезгливо и нервно:

— Ну-ка, идите, староста Прахов. Прокурор вызывает в контору. Проводи, надзиратель. Дверь камеры оставить открытой.

Прахов накинул бушлат, улыбнулся мне прищуркой и вышел в коридор.

Как вору, почти беззвучно, надзиратели отпирали замки, украдкой двигали засовами, плавно распахивали двери и замирали в молчании. Потом опять с боязливой осторожностью запирали двери и шли дальше, как по сухому песку. Там, в ночной глубине коридора, шаги совсем таяли, растворяясь в пустоте, и только далекое поющее эхо тихо шелестело осенним дождем.

Дверь призывно распахнута в коридор, и камера вытекает стенами в необитаемую пустоту. Неудержимо хочется выйти и вздохнуть полной грудью. Нет, что-то другое. Надо что-то сделать неотложное, большое,—сделать сейчас, немедленно, иначе будет поздно.

Борясь с невыносимой болью в ногах и руках, я раскорякой, на пятках, заковылял из камеры. Во внутренностях была пустота и горячие угольки. Не голод, а нудная боль: будто все, от горла до живота, рассасывается и сохнет. Плавно, со звоном и подземным гулом, огромной машиной кружатся стены, пол и дыра в коридор,—кружатся около неуловимого центра и не могут сделать полного круга.

Дыры в стенах и вправо, и влево. Там только шорох и глухие голоса. Но я чувствовал дыхание этих дверей и призывную возню за волчками. Если бы успеть. И не знал, зачем я вышел и что мне нужно сделать в коридоре. Я стоял, прислонившись к косяку, вспоминал и мучился. Вдали звякали замки и вздыхали двери, и черные тени толкались друг о друга.

Да, вспомнил. Нужно подойти к двери смертников и посмотреть в волчок. Только посмотреть и больше ничего. Дверь — рядом, в трех шагах. Для того, чтобы дойти до нее, мне нужно было побороть мои кандалы: они давили ноги до стона (нижняя часть голени наливалась опухолью). Сдерживая крик, я с трудом переставлял ноги и со страхом чувствовал, что я не успею пройти это маленькое расстояние: или упаду, или на меня обрушатся надзиратели. Я задышался от волнения, хватался за стену, но руки падали вниз: они не выдерживали тяжести тела. Пальцы, обмотанные тряпками, раздирались огненной болью от

прикосновения к камню. Еще один миг, и я спрячусь в квадратной впадине.

Позади, очень далеко, обрушилась какая-то тяжесть и загремела цепями. Может быть, это брякали мои кандалы, а может быть, звенел ключами бегущий ко мне надзиратель.

Я стукнулся плечом о дверь и схватился за волчок. Стены камеры—только на взмах обеих рук. В копотном пузырьке ночника—сердечко пламени. Мутный огнистый туман. У стены, и ближе и дальше, чернеют глазными провалами черепа. Я не видел человеческих фигур в складках одеял. Койки были плоски, без очертаний, а на серых подушках—только черепа.

Я звал их, а у меня не было голоса: я кричал беззвучными спазмами в горле и уже ничего не слышал, кроме этого крика внутри.

— Товарищи!.. слышите?.. товарищи!.. Вы живы, товарищи?..

И сразу, точно по команде, черепа поднялись вместе с одеялками и в ужасе смотрели на меня пустыми глазницами. Они так и застыли в этом положении, как мертвецы. Один из черепов подпрыгнул над одеялкой. Маленький, худенький человек сполз с койки, потом упал на колени, вцепился в одеялку, не удержался и кувырнулся на пол. Заползал между стеною и койкой и задохнулся от крика:

— О-ой!.. о-ой!.. Я не могу... о-ой!..

Вздрагивающая рука цепко держала меня за ворот блузы и всю тяжестью лежала на спине. В ухо и шею со свистом дышала лошадиная голова.

— Опять в карцер захотел, сволочь поганая?.. Я тебе, дармоед, всю рожу изувечу...

И со страшной силой бросил меня куда-то в глубину коридора. Я полетел в пропасть, и оглох.

Потом на койке я лежал, беспомощный, несчастный, и плакал неудержимо, навзрыд:

— Дорогие товарищи!.. дорогие товарищи!..

Сквозь слезы, заливающие глаза, я видел Дынникова. У него вздрагивали усы, маленькие глаза смеялись в пьяной горячке, и голова дергалась в сторону, точно он подавал мне какие-то условные знаки.

— Не ревите. Что вы нюни разводите без толку? Бойцы вспоминали минувшие дни... Эх, вы... бунтари и герон!..

Потом забормотал невнятно, про себя, как в бреду:

— Чорт его знает... Никак и ни в какую... Требуха... Понимаешь, она уже убита... Чорт его знает... понимаешь... а он и в ус не дует... Хлык-хлык...

Сразу повернулся по-военному и подошел к койке Митри.

— Ну, каково, агрария? Брюхо—не барабан: пустоты не любит. Так, что ли?

Митря весь измятый, вихрастый, с потухшими глазами, еел, и у него затряслась нижняя губа.

Дынников засмеялся и шлепнул его по спине.

— Ну, что? Хлебца хочется? Заяви—тебя переведут к уголовным. А там тебе расколют черепок.

Митря в страхе вытаращил глаза, порывался защититься от слов Дынникова и затравленно хватался руками за койку.

В дверях камеры появилась черная фигура старшего надзирателя, и издали над конскими волосами бороды хищными искорками вспыхивали его глаза.

Лицо Дынникова стало замкнутым и мертвым.

Прахов вошел бодрый, умытый морозом, и на ходу брском швырнул на свою койку бушлат. Крякнул, шлепнул ладонями, засмеялся в прищурку и опять крякнул.

— Ну-с, значит, укрепляем позиции для длительной осады. Милое дело. Будем, как говорится, питаться собственным мясом.

Дынников метнул на него вздрагивающей улыбкой и вышел из камеры. Дверь плавно замкнулась и грохнула замком.

Когда устоялась тишина, Прахов подошел к волчку.

— Товарищи!..

И его крик завыл по коридору, переплетаясь с собственным эхо. Заплескались отраженным переливом кандалы и глухие, мутные голоса. И опять не было обособленных стен: они дышали, как живые, и смотрели на меня множеством бледных лиц.

— Товарищи! сейчас я был на свидании с прокурором. Он мне и так и эдак пускал пыль в глаза. Однако я твердо стоял на ногах и старался не моргать. Я заявил ему, что наш боевой дух — крепок, и мы не уступим ни на шаг. Если бы даже нам пришлось голодать сорок дней и сорок ночей, если бы мы даже околели от истощения,— все-таки и мертвые мы упирались бы всеми четырьмя копытами.

И впервые за эти первые дни настороженной тишины камеры вырвались в коридор гулом и криками радости:

— Bravo, Прахов!.. Молодец!.. Никаких компромиссов!.. Берем на шарап, Прахов!.. Загибать салазки боевому старосте!.. Они капитулируют, сволочи... Они сами придут к нам, мерзавцы...

Замятин завыл песню в волчок:

Греми, барабан, и не бойся...

Но сразу же оборвался и провалился в глубину.

— Заткни глотку этому ослу!.. Что здесь — балаган, что ли?..

А из далекого колодца голос Замятина кадычил, захлебываясь от щекотки: га-га-га...

В эти дни я переживал необычайную легкость и полную отрешенность от потребности в пище. Каждый образ в мозгу, каждый миг в моем зрительном восприятии, каждая вещь—окно в решетке, грязное пятно на стене, звон кандалов, шорох шагов в коридоре, голова

Прахова, поднятая рука,—все приобретало непривычно глубокий смысл, который нельзя оформить словами. События прошлого становились живыми и осязаемыми: они звучали, воскресая в миги настоящего, а настоящее, это — я, лежащий на койке, короткий разговор с Праховым, поверка, далекие голоса товарищей в камерах,—все это пролетало мгновенно и таяло призраками давно минувшего, оставляя странный перегар во рту.

Зеленые хлопья инея на стеклах. Это—невиданные картины новой, открытой мною, планеты: горы, долины, деревья необычных форм, сказочные цветы... Нет стен, нет цепей и замков, —безграничная свобода и полет в лунном огне.

До бредовой пытки колыхался перед глазами ноздристый ломоть ржаного хлеба, медово-влажный, телесно-теплый, и удушливо солодельный запах наплывал на меня, как патока. И кислая вонь параши мешалась с вонью квашеной капусты, разваренной в баланде. Я изнемогал от отвращения и боролся со спазмами в горле, чтобы предотвратить застрявшую рвоту.

Приводил меня к сознанию обычно голос Прахова:

— Ты опять бредишь, приятель. Ты бы посидел, друг, и выпил воды.

Я смеялся. Прахов тоже вздрагивал от смеха.

— Ты — что?

— А ты — что?

— Я — ничего... так... хорошо...

И опять смеялись от беспричинной нежности друг к другу.

Однажды я не удержался и стал ласково гладить его руку.

— Прахов, дорогой... Чорт тебя знает, почему я люблю тебя.. даже выразить не могу...

Он встал с койки и улыбнулся, пьяно, изнутри.

— Это потому, что у нас были полные желудки. Должно быть, этакая есть отравка в пище — превращать человека в скота. Тогда желудок — тяжелее головы.

— Ну, скажи же, что у тебя с Дынниковым... Ты и Дынников.. Какая-то нелепость... И эта женщина... Я ничего не понимаю...

Он хитро уколол меня одним глазом.

— Балдафон ты!.. Ведь ты, чорт знает что обо мне думал... И сейчас не веришь... Ну, да ведь я не сержусь, друг. Такое теперь проклятое время. Были дни, когда я был, как помешанный: кто — я? провокатор или революционер? А все из-за этого прохвоста. У тебя этого не было?

— Нет, у меня было так: я всех считал провокаторами, кроме себя и Ольги.

— Это кто такая Ольга?

— Она же здесь. Если бы ты знал ее, Прахов. Изумительная партия. Гениальный конспиратор. Пережила провалы, разгром организации. И все-таки — прежняя: такая же озабоченность и выдержанность

— Женщины тоже голодают и держатся крепко. Молодцы!

— Это — она, Прахов. Это — благодаря ей.

Он угрюмо и пытливо взглянул на меня и, молча, прошелся к двери и обратно.

— Я видел ее, эту твою Ольгу. В конторе. Ольга Гнедич — так?

— Да, именно: Ольга Гнедич.

Он молчал и улыбался в усы, и эта улыбка заняла в груди обидой и тревогой.

— Вот что, друг. Я — человек простой и прямой. Врать тебе не хочу. Не понравилась мне твоя Ольга.

— Почему?

От слов Прахова было больно, а то, что он мог сказать сейчас, — это был занесенный удар.

— По-моему, она никого не любит. А ежели ты ее любишь, так она не любит и тебя.

— Ну, бей же скорее, чорт возьми!

Он растопырил пальцы и прикрыл ими лицо.

— У ней, брат, глаза не такие... пустые глаза, и лицо пустое.

Хохот скручивал веревкой и горло, и грудь, и живот до обжигающей боли во внутренностях. Я ждал удара, а вместо удара — простая щекотка.

Прахов застыл в изумлении и не знал, что делать: сердиться или тоже смеяться.

— Да ты что? За дурака, что ли, меня считаешь? По-твоему, я не могу судить о бабе? Чорта лысого!

Он вдруг затих, и глаза у него стали сухие, как у лихорадочного.

— Я люблю бабу. Знаю, какая дорогая цена бабе в жизни. Без бабы, может быть, и революции были бы иными. Революция, брат, не только кровь, но и плодородие.

— Ну-ну, ваяя! Только не смей больше. Без предисловий.

Он подошел к двери и уткнулся в волчок.

— Товарищи, держись веселей и крепче завинчивай гайки! При пустом брюхе и на ногах стоять легче. Так, что ли?

И опять в глубине заплескались волны. Переклик, пересмех, перезвон.

Рядом, почти около нашего волчка, скалился голос Замятина:

— Эй, вы... черти подпольные!... Зашкваривай песню...

И завыл:

На земле-э весь род людской...

Его заглушили истошные голоса:

— Да забейте вы глотку этому чорту!..

— Раком его, подлеца, и — замазать втулку...

А Замятин выл и ржал жеребенком.

Прахов опять подошел ко мне, усмехаясь обидной прищуркой.

— Так вот... Я говорю прямо. Можешь злиться или плевать мне в рожу. Это делу не поможет. Ты ее, свою Ольгу, любишь. Это — дело не мое: любовь — дело капризное и несурзное. Но я ни одному слову ее не поверил бы и на версту не подпустил к партийной работе.

— Перестань, Прахов. Я не хочу, чтобы ты говорил об Ольге в таком оскорбительном тоне. Я ее люблю и не позволю, чтоб коснулась ее эта мерзость...

— Ага! Ну, вот видишь? Как же ты можешь верить мне, если паршивая судьба связала меня с Дынниковым? Я же вижу тебя насквозь.

Я не смотрел на него: боялся, что глаза мои будут лгать, и эту ложь он увидит.

— Мне только одно странно, Прахов: при чем тут ты и Дынников? Ведь, согласись, тут — загадка, которую трудно разрешить.

Он беспомощно отмахнулся и крутнул головой.

— Как ты не понимаешь простых вещей?

Затеребил бороду, откусывая кончики волос, и заволновался.

— При чем тут — я, голова садовая? Меня прикрутило тут, как грязь к колесу, и по мне переехало. Все дело — только в бабе. Это — клей для ловли мух. В этом все ее несчастье. В интеллигенточках, хоть и революционерках, есть такая жилочка, — этакое горение — огонек, который прожигает душу. Все в них дрожит, извивается и присасывается, как пьявка. И вера в них доходит до кликушества. Глаза — великомученицы, а улыбка — колдуньи.

— Ну, не ври, Прахов: не все же такие. Ты говоришь о каких-то уродах.

— Ничего не уроды. Сам на своей шкуре испытал. Наташа была не хуже других: рабочие в кружке на руках ее носили. А я уж тогда сам считал себя политически зрелым. И вот привязался, хоть тресни. Присосалась она и прямо в кровь мою вошла. Не редкость в нашей жизни. Все они такие: питаются они и живут чужой силой. Прицепятся к здоровому парню, начинают перерождаться и на все смотреть его глазами. А оторвутся — погибают, раскалываются, как рюмочки. Есть в них дурманная отравка, и я сам было отравился и потерял голову. А потом, уже в тюрьме, немножко пришел в себя. В тюрьме же почувствовал, что это у ней — навсегда. Особенно эти ее заботы обо мне до полного забвения общего дела. Ее тень я чувствовал даже в камере. Вот — до чего. Ну, в это время Дынникова-то и прихватило. Он с самого начала показался мне каким-то малахольным, — будто на уме у него было одно — застрелиться. С политическими, надо сказать, держался он за панибрата, а внутри у него была какая-то неразбериха: смесь черносотенства с анархизмом. Повадился ко мне в камеру. Играли с ним в шахматы, а за шахматами я его терзал, и неразбериха эта дошла у него до бессмыслицы. Только и повторял: капут мне — тупик... взорвать все и зарезаться. Вот тут-то он и начал ползать за Наташей. Буквально ползать. На свиданьи — он. Она — домой, а за ней —

он. Переоденется и — за ней собакой. Приходит она и сама малахольная. Трагедия. За что, говорит, это проклятие? А оттолкнуть, говорит, — застрелится или повесится. А потом, чтобы оправдаться — передо мной или перед совестью — устроила с его помощью мне побег. Хорошо, очень ловко устроила, а то мне грозила смертная казнь. Я по свету рышу, а она — там, а около нее этот пес. Отравился он окончательно и мог сдохнуть по ее приказанию. Он ее мучил, она — его и себя. А силы оборвать эту канитель не было. И ты думаешь, помог он мне бежать от любви к революции или ко мне? Держи карман. Он меня готов удавить собственными руками. Было даже так: Наташа скрылась от него в другой конец России — нашел. Даже непостижимо, как — а нашел. Пришел к ней — ползает по полу. Ну, она и руки опустила. Все, мол, равно. Да и сама стала качаться: усталость, разочарование и все такое. А теперь вот сюда приехала. Рыскала месяца три и — нашла. {Не успела приехать, и он здесь. Поневоле с ума сойдешь. Записочку мне на-днях через него прислала: устала жить, а в жизни — ничего нет, кроме мучительства и пустоты. Все оборвалось: крах и ренегатство. И этот, мол, испакостил жизнь. Поддержи, говорит. А чем я могу поддержать? Раз человек крахнул — бесполезно поддерживать. Виделся с ней. Совсем мертвец. Чужая. Чертовщина какая-то. Хлопаю себя по башке и — ничего не понимаю. Не то мозги у меня бараньи, не то — здоровая кровь. Чувствует, что отрывается от меня, и — гибнет. А он погибнет вслед за ней. Я же как-никак все-таки... больше люблю революцию. Он ползает перед ней, как глиста, а она не может дать ему пинка. Потому что, видишь ли, он украл для нее мою жизнь.. ну, пусть для революции — это для нее не важно... украл мою жизнь из рук палачей. Как это расценить? Для меня это было бы просто, а для нее — это безвыходное положение, запутанный узел... жертва. Раньше она меня понимала, а теперь — никак, ни в чох и ни в сон.

Он опять шлепнул себя по коленке и лег на койку. Говорил он спокойно, неторопливо, почти равнодушно, и непонятно было, счастлив ли он от этой любви, больно ли ему, или уже все у него перерело и не оставило следа.

— А ты знаешь, Угрюмов: наша голодовка уже волнует весь город.

— Я все-таки не понял, Прахов: любишь ты свою Наташу или уже все кончено?

Он не ответил, точно не слышал моего вопроса, и закрыл глаза.

Стены едва уловимо трепетали телеграфным пульсом. Этот трепет струился где-то очень далеко, неизвестно где, и жил своей, отдельной от нас, жизнью.

— Прахов, а смертники?

Мы тревожно взглянули друг на друга, а потом — в стену, за которой были они.

Он взял кружку и стукнул несколько раз. Молчанье. Опять — настойчивый вызов. И слабый, очень редкий, сбивчивый отзвук: та-та-та... пока живы... не берет...

Шли дни навстречу тишине, а из тишины текло оцепенение. Прахов уже не садился ко мне на койку, а топтался по камере, заложив руки за спину, и о чем-то думал, упорно и напряженно. Митря лежал без движения, как тяжело больной. Я бредил в полузабытье и жил в мире призраков, идущих из прошлого. Как-то незаметно мы научились разговаривать взглядами. Я открывал глаза и встречался с глазами Прахова. Он усмехался и кивал головой.

— Ну, как?..

— Ничего... хорошо... А ты?

— Прекрасно.

И опять проваливались в собственный мир. Эти провалы были очень длительными — на целые часы, но времени мы не ощущали. Вдруг попадаешь в какой-то необъятный омут и плаваешь в его спокойном водовороте, постепенно погружаясь в мерцающую пучину, не достигая дна. И всюду — неугасающие мелодии: и весенний шелест листьев, и поющая капель, и топот человеческих толп за стенами тюрьмы. Я взрывался воющим кашлем, и все исчезало. Этот мой кашель был невыносим Прахову: он готов был свирепо броситься на меня с кулаками, забываемо оскорбить меня, и его глаза туманились от борьбы с собою. Я тоже стал ненавидеть его до отчаяния. Были мгновения, когда я мог бы убить его с наслаждением за его широкую спину, за то, что он грызет свою молодую бородку, за то, что он силен, как буйвол, и нарочно старается давить всех этой силой.

В одну из таких минут острой молчаливой вражды Прахов прислонился к стене и, сдвинув брови, настойчиво застучал кружкой. Тишина. Опять — настойчивый стук. Тишина.

Я сел на койке и закачался вместе с камерой в неустойчивом колыбании. В ушах волновался колокольный звон. В глазах его разбухла растерянность и злоба.

— Повесили, мерзавцы... все-таки повесили.

— Я не понимаю, Прахов, откуда у тебя такая прыть к категорическим заключениям? Я почти не сплю по ночам и слышу всякий малейший звук. Они — там. Может быть, слабы, но не умерли. Даю руку на отсечение.

Глаза у него стали маленькие, в щелочку: в них было презрение и ядовитая ухмылка.

— Умный человек должен знать, что лучшие воры в мире, это — тюремщики. Они могут слямзить тебя из-под твоего собственного носа в любое время.

Я задохнулся и стал дрожать от неудержимого желания ударить его.

— Не кичись своей мудростью: это разновидность глупой заносчивости.

Он дрябло опирался спиной о стену и кривил лицо от мстительного наслаждения.

— Напрасно я за тобой ухаживал. Такого дурака, как ты, совсем не жалко, если бы он и окодел.

У меня тряслись руки и губы, и одеялка трепыхалась, всхлипывая кандалами.

— Я прошу тебя не забываться, идиот. Такого мудрого командира можно и по шеем.

Он загрясся от хохота и брезгливо отмахнулся рукой.

Митря встал с койки и, шатаясь, подошел к параше. Забыл, что ему нужно, и опять упал на койку. Глаза его были слепые, устремленные вдаль и в себя. И будто также внутренне и таинственно улыбался он, как слепой.

— Жгет, братцы... нутрё жгет... Умру я... Аль мне чего надо? Мне ничего не надо... Братцы!..

И заплакал, покорно, без слез, захлебываясь слюной.

Слова Митри не потревожили Прахова. Тяжело и лениво он сказал ему, скосив белки в его сторону:

— Ну, не вякай, шалава! Живо возьму на кувалду и пробку вставлю. Я знаю, как приручают вашего брата.

А я напрягал все силы, чтобы твердо глядеть в глаза Прахову.

— Ты не смеешь так разговаривать с товарищем: он тебе — не скот, а ты — не погонщик.

Он попрежнему был рыхлый и грузно-ленивый. Щупая меня одним глазом, он тянул, едва связывая слова:

— Ты попрежнему крутишь свою шарманку, приятель. У тебя даже нехватает смелости на откровенное слово. Говори прямо, что накопело на сердце, а нечего канителить.

— Вот, именно: тут нечего канителить, когда ты фальшив до корня волос. На тебя нельзя опереться и верить нельзя.

— Вот, вот. Вы очень любите опираться на чужие плечи. Я тебе — не столб и не костыль.

Я не слушал его и кричал, задыхаясь и опустошая душу:

— Кто ты такой? Чорт тебя знает. У тебя и Маркс и Дынников. И баррикады и трусливые жмурки с тюремщиком...

— Ну, кончай, чего барабанишь. Ты хочешь сказать, что я, может быть, провокатор. Так?

— А чорт тебя разберет: может быть, ты и провокатор.

Он сбледнел, и в глазах его вспыхнуло изумление, испуг и волчий огонь. Было мгновение, когда он был в зверином порыве к прыжку. Замирая, я ждал, что вот-вот он бросится на меня и вцепится в горло. Но это плеснуло в нем только одной короткой волной. Он устало усмехнулся и закрыл глаза.

— А ты не допускал мысли, что я за тобой давно следил, как за провокатором? Твои поступки так и изобличают в тебе этого беса.

— Это какие поступки? Ну?

— Да вот... этот излишний пыл... показное благородство... козлиные прыжки на рожон... Так и бьет в нос...

Я оцепенел и долго не мог сказать ни одного слова. Это было внезапно и просто, как выстрел в упор, и я не мог защищаться. Был

только отчаянный визг в мозгу, а сердце отрывалось и падало вниз. Если бы у меня были силы, я убил бы его.

— Ты — мерзавец, Прахов. Я впервые вижу, какой ты мерзавец. А он дремотно ухмылялся.

— Чудак! Мне уж давно известно, что ты шарлатан.

Между мною и им уже не было простого расстояния: какая-то огромная тень окутала нас. Эта тень была уже неустранима нашими силами: она была выше и глубже нашего сознания, и наша воля исчезала в ней, как ничтожная пылинка в ночной беззвездной мгле.

Это было на четвертый день нашей голодовки.

А ночью я внезапно очнулся от страшного удара. По ночам у меня не было сна, а только плавное оцепенение, когда слух чутко воспринимает все шорохи, а глаза через призраки сновидения отражают твердые плоскости стен и волны огнистого полусумрака. И эти шорохи, и неосторожный звон ключей, и одинокий бредовой всхрип, вылетающий из далекого волчка, потрясали грохотом и ревом. Я приходил в сознание — и все исчезало. Сопел Прахов во сне, и Митря скрипел зубами.

И вот вдруг этот удар. Сердце било по легким, и я задышался. Прислонившись к стене, я сидел на койке и, не мигая, смотрел в волчок. Все ныло в нестерпимой тоске: случилось что-то непоправимое, — может быть, я сейчас умру, а может быть, разразится какая-то неслыханная беда. За волчком, рядом с нашей камерой, мягко ходили люди и украдкой перешоптывались. Смертники. Это пришли за ними.

Я понял это сразу и бесповоротно. Почти ползком я добрался до волчка и уткнулся в отверстие. В этот же миг около моего лица засвистело предсмертное дыхание. Пальцы вцепились мне в губы, сорвались и до белизны расплющились о железную обшивку волчка. Разрывая свист порванных легких, хрипло, безголосо закричал человек. Я прижался к двери, убитый ужасом, и смотрел на эти посиневшие пальцы, и мне чудилось, что не человек это кричал за волчком, а эти расплющенные пальцы.

— Х-ха... х-ха!.. да что это?.. да что это?... товарищи!.. хо-о.. хой! Я не могу... я не могу... Хо-ой!..

Я заметался около волчка, бился головою о дверь, о простенки и тоже хрипел и задышался в последней борьбе.

Спотыкаясь о собственные босые ноги, крался ко мне между коек Прахов. Лицо его прыгало, и зубы скалились. Брызгая слюной, он в ярости шипел мне в глаза:

— Не ори... не ори, сволочь!.. Тебе говорят, — не ори!..

В коридоре было смятение и борьба. В разных местах кричали заключенные:

— Что вы делаете, мерзавцы!.. Людей душат в камерах, товарищи... Вставай!.. Что это такое за злодеяние!..

Кто-то визжал в истерике, и в пустоте коридора рвался плач и сумасшедшие крики.

А у волчка человек все кричал, разрывая свистящие выдыхи:

— Х-ха... х-ха!.. я не могу... боже мой!.. я не могу... Х-хой!..

Прахов смотрел на эти пальцы, которые, слабея, скользили по железу, и рыхло отодвигался от них по простенку, онемевший и бледный.

В коридоре кричали и плакали сумасшедшие.

Пальцы оборвались и выскользнули в дырку. Человек упал на пол. Двое надзирателей, хрипя и лязгая зубами, тащили его за ноги, а он серый, растерзанный, хватался растопыренными пальцами за бетон и скользил назад. Голова билась о пол, таращилась кверху и опять падала. Рубашка сбилась к лопаткам, и штаны сползли с бедер, оголяя спину с желобком посредине.

Двое надзирателей держали под руки молодого парня. Он покорно стоял, переминаясь с ноги на ногу, и быком смотрел на товарища, с которым боролись другие надзиратели. Потом он криво улыбнулся покоробленным от бледности лицом и начал старательно напяливать на голову арестантскую шапочку.

— Ну, будет... будет, Бабакин... Маленький ты, что ли? Чего дурака валяешь?..

Надзиратели ловко подхватили первого и поставили на ноги. Он сразу успокоился. Подтянул штаны и стал одергивать рубаху.

Потом все исчезло, и в волчке опять зияла сумеречная пустота.

А коридор все еще зыбился и плакал.

(Продолжение следует.)

Три стихотворения

ИОСИФ УТКИН

1. Двадцатый

(Вступление к поэме)

Через речную спину,
Через лучистый плёс—
Чугунной паутиной
Повис тяжелый мост.

По краю—тишь, да ивы:
Для отдыха добро!
А низом прихотливо
Речное серебро.

На тишь,
На побережье,
Качает паровик.

— Я, милая, приезжий.
Я в отпуск—
Фронтвик...

Сады родные машут!
Здесь молодость текла,
И золотые чаши
Подняли купола.

Привет вам, отчьи веси!
С победой
И весной...

Но что-то ты не весел,
Мой город дорогой?

Дома тихи и строги.
И не слышать ребят,

И куры на дороге,
Как прежде,
Не пылят.

И яблони бескровны,
И тяжелы шаги,
И на соседских бревнах
Служивый без ноги.

Да, ничего на свете
Так, запросто, не взять:
Когда родятся дети,
Исходит кровью мать...

Но вот—
И наши сени,
Но вот—
И милый кров,
Где первые—
Сомненья,
Где первая—
Любовь.

И в этом—
Все, как прежде.
И сад,
И тишь,
И крик!..

— Я, бабушка, приезжий.
Я в отпуск,
Фронтвик.

И, взгляд подслепый бросив,
Старуха
Обмерла:
— Иосиф, ах Иосиф!
Я так тебя ждала...

И я в об'ятках стыну.
— Иосиф, это ты?

.....
Чугунной паутиной
Качаются мосты.
И мчатся эшелоны
Солдат!

Солдат!

Солдат!

Тифозные перроны
Под сапогом хрустят.

По бедрам
Бьются фляги,
Ремень, наган—правей,
И синие овраги
Под зарослью бровей...

В брони,
В крови,
В заплатах,
Вперед!
Вперед!
Вперед!

Страдал и шел
Двадцатый,
Неповторимый год!

1926.

II. Барабанщик

Стихи о европейской войне

Ефиму Зозуле

Шел с улыбкой белозубой
Барабанщик молодой.
.....
Пляшут кони,
Льются трубы,
Светлой, медною водой.

В такт коням,
Вдувая вены,
Трубачи гремят кадрили.
И ложатся хлопья пены
На порхающую пыль.

Целый день идут солдаты.
Грязь—
И молодость в лице.
И смеется в ус хвостатый
Ресторатор на крыльце.

... Гаснет пыль.
Стихают шпоры.
Меркнет бронзовый предел.
И на пыль картавый ворон
Деловито пролетел...

Всех их
Бой перекалечит!

И тогда тоска и страх
Высоко поднимет плечи
На костлявых костылях.
— Братья,
Нежности... и пицци,
Нежность! Счастья!..
И воды...

И пройдут в лохмотьях хищных
Иступленные ряды.
И опять,
С лицом паяца:
С той же сытостью в лице —
Будет в ус себе смеяться
Ресторатор на крыльце...

Барабанщик,
Где же кудри?
Где же песни
И кадрили?
.....
К Эрзеруму скачут курды,
Пляшут кони,
Дышит пыль.

1926.

III. Крымские ночи

Ручей

Вот он!
 — Слушайте и пейте.
 Вот он!
 — Чей-то и ничей.
 Как серебряная флейта,
 Лег в песчаннике ручей.

Он течет
 И балагурит.
 А на нем
 Ясна, чиста
 Золотой клавиатурой
 Отразилась высота.

Я застыл благоговейно,
 Очарован высотой.
 Надо мною
 Муравейник,
 Муравейник золотой!

Вот, где—чаяньи сбылися:
 Ничего—у пыльных ног!
 Только рюмки кипарисов
 Узкой скатертью дорог.

И еще—
 Под шалью яркой,
 Да еще—
 В тиши и тьме
 Чернобровая татарка,
 Синеглазая Этьме...

— Счастлив я и беззаботен!..
 Но и счастье,

И покой
 Я, ей-богу, заработал
 Этой раненой рукой

Да,
 Я прожил, не играя.
 Все я знал:
 И боль,
 И кровь;
 Спой же песню, дорогая,
 Про счастливую любовь!..

Хлынет синяя улыбка,
 Захлестнет
 Веселый рот,
 И серебряная рыбка
 Между губ её мелькнет.

Мне бы надо—осторожней,
 Я запутался, ей-ей,
 В этом черном бездорожье
 Удивительных бровей.

Эти
 Чертовские веки!
 Этот
 Чертов синий цвет!

Но в каком, скажите, веке
 Был рассудочным поэт?

1926.

Василий Сучков

Картинки нравов Петербургской стороны

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОИ

1

Я так скажу: дети наши, имей они понятия, как мы старики,— и на том слава богу.

— Нельзя теперь слава богу, — Тимофей Иванович

— Ну, слава труду... Не придирайся, — я старый человек... Скажи, — мы боролись? Верно?

— Боролись, Тимофей Иванович. Собственно, у меня служба тихая, я не боролся, а вы, действительно, боролись.

— Мне нравится, как вы отвечаете, Иван Иванович, вы человек прямой. Таких нам надо.. Половой, еще парочку и два бутерброда с семгой... Так вот, — мы страдали, верно, Иван Иванович?

— Ну, еще бы...

— Когда Путиловский завод зажигалки делал, вы представляете, каково было нам, старым мастерам, это видеть? Кто в ответе? Ссылайся, пожалуй, на белогвардейцев, на Антанту.. Так то, мол, так... А кто заводил? За этим все ниспровергли, чтобы первый в Союзе завод зажигалки точил? Хорошо теперь — на верфи два лесовоза строим. Литейный, котельный, турбинный цехи на полной нагрузке... А в то время, бывало, что и не верится... Так бы взял — лег среди разрушения и сдох... Это разве не страдание? А кто восстановил завод? Видел эти руки? И кости-то на них просмоленные машинным маслом, гляди — какие пальцы черные... Значит, я имею право говорить.. И я говорю. Дети наши ни к чорту не годятся... Они боролись? Нет. Они страдали? Нет. Они пенки собирают. А мы для них устарелое племя. Мишка мой комсомолец.. Хорошо. Его трогать нельзя. Ему слово, он — десять. Ладно, ладно... Учись, выходи в первые ряды, руководись общечеловеческой идеей. Хотя, — потрепать-то следовало, но — обомнётся... Ведь, — гавкать дерзко на каждое тебе слово, — еще не означает, что отец дурак. Ладно, говорю, ладно... Мишка — честный парень.

А вот Колька мой... Ну—этот... Тут я не могу. Завел он себе морские штаны, финский ножик... День работает, другой—с девками по заливу гуляет... И, заметьте, Иван Иванович, его я тоже не могу ни палкой урезать, ни за волосы его взять... А какие у него волосы? Священные? И он сейчас же идет на меня жаловаться, и мне выговор в лучшем случае за истязание ребенка... А Кольке на роду написано—десять лет с изоляцией. Знаете, что он мне отвечает? „Ты мне докажи, старый хрен, почему а должен работать, когда я хочу гулять? Это в какой книжке написано, чтобы я удовольствиями пренебрегал?“... И он, сволочь, Колька, говорит это так уверенно, будто он правящий класс. „А будешь драться, говорит, я тебе дырку в животе сделаю“... И вертит ножом и глазами блистает...

— Отчаянное ваше положение, Тимофей Иванович.

— Хорошо. Я не доживу до конечного торжества. Я старый человек. Но я хочу, чтобы дети мои, внуки мои говорили на трех языках, Иван Иванович... Чтобы летали они на воздушных кораблях по всей земле, как у себя дома... Чтобы ручки их знали тонкую и умную работу... Я плачу, Иван Иванович, оттого, что не во время родила меня мать... Родили меня—стену головой прошибать... Мы героическое поколение, Иван Иванович... За нами идут дети и внуки... Черную-то работу мы сделали... Но каковы они? Вот мучительный вопрос. К примеру... У нас за Нарвской заставой строят рабочие кварталы,—дома по заграничному образцу с балконами и ваннами. Значит, есть намек, что теперь рабочий не будет жить, как свинья. Я прихожу с верфи. Я помылся. Я сажусь обедать в строгом порядке. У домашних волосы причесаны. Едим в опрятной комнате и разговор у нас о возвышенном. О движении человека вперед. Дома эти к марту месяцу будут готовы. Весной я туда переезжаю. И вот, я иду с верфи на новую квартиру, и куда я иду,—с меня пальто снимут в переулке, это раз... Налетят с финскими ножами, здорово живешь, походя кишки выпустят,—два... И, если я, скажем, уберегусь от этих двух происшествий, прихожу цел-невредим — домой, за моим опрятным столом уже сидит Колька... Конопатая морда,—так вся и пропитана матершиной... Нет, Иван Иванович, много мы ждали бед, а эта беда неожиданная.

Тимофей Иванович отодвинул пивные бутылки, перегнулся через круглый столик к самому лицу Ивана Ивановича, поднял палец:

— Затаенное. Еще никому не говорил. И близкие мои не знают. Василия Алексеевича Сучкова, зятя моего, Варвариною мужа, стал я бояться. Не верю ему. Темный человек.

— Бросьте вы, Тимофей Иванович,—в самом деле вам уже не знаю, что мерещится...

— Верно. Никаких оснований. Но стану о нем думать, и во рту горько.

Разговор этот происходил в июне месяце, на Петербургской стороне, в пивной. Разговаривали два старинных приятеля, — Жавлин Тимофей Иванович, рабочий Путиловской верфи, и Иван Иванович

Фарафонов, служащий по речному ведомству хранителем затона на Петровском острове.

День был безветренный, солнечный,—воскресенье. В пивчой было пустошато, пахло кислым и раками. О зеркальное окно, на котором шиворот-навыворот сгояло: „Пиво Стенька Разин“, ззенели мухи, навевая полдневную скуку.

Прятели допили пиво. Покурили. Расплатились и вышли на улицу. Синее небо раскинулось летней тишиной над бедными улицами Петербургской стороны.

— А все-таки,—Тимофэй Иванович поднял палец,— а все-таки зять мой непроницаемый человек.

После этого они пошли рядом по выбитому тротуару, засыпанному подсолнечной шелухой. В вышине плыл аэроплан. Пыли белые, как снег, облака. Тишина, воскресная скука. В окнах горшечки с цветами. На пустыре, среди кирпичных развалин, дети играли в мяч, и плакал самый маленький, сидя в лебеде.

Навстречу приятелям шла девушка в ситцевом светлом платье. Молодая шея ее, плечи, худые руки были покрыты золотым загаром. Выщипанные русые волосы лежали шапкой на милой голове.

Все шире улыбались приятели, поглядывая на подхихившую девушку. И день был хорош, и от выпитого тепло на душе, и приятно поглядеть было на осмугленную солнцем молодость.

— Дочь у тебя по первому разряду, одобряю,—сказал Тимофэй Иванович.

Довольный Иван Иванович спросил:

— Настюша, ты куда ударилась?

Она подняла синие глаза, и лицо ее стало еще милее. Остановилась. Легко вздохнула:

— К Варваре Тимофеевне обещалась зайти сегодня.

— Я сегодня у дочери был,—Тимофэй Иванович, вдруг насупившись, стал глядеть под ноги,—был и часу не высидел... Теперь через полгода только к ним приду... И вам, Настя, там делать нечего... Слушать рассуждения гражданина Сучкова?.. Незачем. Эго вам старый человек говорит...

Настя подняла тонкие брови, пожала плечиком. Непонятно было, почему Тимофэй Иванович рассердился. Молча все трое поспогояли с минуту. Настя улыбнулась отцу и пошла своей дорогой, пряменькая, так и видно было, что в ней все в порядке.

— Чистенькая девочка, — глядя ей вслед, проговорил Иван Иванович.

— Вот, то-то, что чистенькая... И к Варваре ей не надо ходить, доброго там ничего не получится...

Скучно в воскресный полдень на Петербургской стороне, в улицах, где не прозвенит трамвай. Пустынно, бедно. И чудится,—за пыльными

окошечками, за покосившимися воротами, в деревянных домиках на поросших травой дворах, в домишках, глядящих одним чердачным окошком из-за кирпичных каких-то развалин, — так бы и задремала навеки эта сторона, — оставь ее в покое.

Вот розовый дом в три этажа. Его недавно покрасили, починили водосточные трубы, на окнах еще не смыты длинные кляксы штукатурки. На нем — синяя вывеска „Петрорайрабкооп“. А дальше до самой реки — облупленные непогодами стены, заборы, развалины, табачный ларек с задремавшим от скуки инвалидом, у водосточной трубы — баба с конфетами по копейке и семечками... Семечки, семечки... Неужели земля и солнце создавали человека только затем, чтобы грызть ему эти окаянные семечки, шатаясь без дум, без страсти по скучной панели?

Вот забор из ржавых листов кровельного железа. За ним на пустыре несколько грядок с картошкой, и кругом — кучи щебня, поросшие крапивой. Бродит коза. Сидит на камне женщина с грудным ребенком на коленях, подперлась, смотрит пустыми глазами.

Вот еще пустырь. Сбоку тротуара — три ступени, — все, что уцелело от под'езда. И чудится, — по этим ступеням можно войти в невидимый дом. Его очертания еще заметны: направо на глухой стене соседнего дома виден треугольник — след исчезнувшей крыши, а ниже — остатки голубых обоев с цветочками. Налево еще торчат кирпичные своды и в них — дверь прямо в небо.

Если спросить у старика дворника, что сидит на другой стороне улицы у ворот, он скажет, что, действительно, три ступени крыльца вели в двухэтажный дом. Хороший был дом, деревянный. Жильцы иные пропали без вести, иные умерли, иные живут сейчас на Васильевском. И хозяином невидимого сейчас дома был он сам, старичок, ныне дворник.

Так он и днюет напротив у ворот, глядя в минувшее. А над ним в раскрытом окне сидит, подняв худые колени, стриженная девушка, читает книгу. Через улицу идет с чайником гражданин в трикотажных коричневых штанах со штрипками и, загнув нос, ерничает глазами на девицу в окошке. Увидев Настю, он дрыгнул ляжками и загнул нос в ее сторону.

— Извиняюсь... Почему вы одна гуляете?

— Вас это меньше всего касается, — проходя, ответила Настя, строптиво оглянула трикотажные штаны.

— Насчет юбочек меня всегда касается... Куда же вы бежите? Все одно на то же самое наткнетесь, зачем искать журавля в небе?..

Настя свернула за угол и вошла во двор, где жила Варвара Тимофеевна. В одном из раскрытых окон ее квартиры, во втором этаже, видна была крепкая спина Сучкова (в серой рубашке и велосипедном поясе). Он играл на гитаре, напряжив крепкий затылок.

3

С Василием Сучковым Варвара познакомилась в прошлом году в кинематографе „Леший“. Он показался ей интересным мужчиной. Был очень вежливый, холодный, чисто одет. Бритое, узкое лицо, небольшие глаза, шрам на щеке около рта. Во время антракта он пристально глядел на темноволосую, круглолицую, несколько полную Варвару, пересел в кресло рядом с ней и предложил программу. Затем сказал, что не курит по причине гигиены здоровья и предложил леденцов. Варвара грызла леденцы белыми зубами, должно быть, с лица ее не сходила веселая и готовная улыбка,—Сучков с холодной жадностью глядел на ее рот.

Ей понравилось, что он поспешил установить свое социальное положение: он служил инструктором в топографической школе. Такой подход в разговоре показывал серьезность его видов. Варвара сказала, что она служит на шоколадной фабрике упаковщицей, — ему это, видимо, было приятно, — работа чистая и девушка, значит, опрятная. До конца сеанса они обменивались впечатлениями, — шла картина „Бандиты Парижа“. Сучков проводил Варвару до трамвая, и в следующее воскресенье они опять встретились в кинематографе на Невском. По окончании сеанса он предложил зайти в кавказский ресторан. Варвара покраснела и отказалась. Она отдалась ему только после третьего посещения кино, взбудораженная постельными приключениями Мери Пикфорд.

Сучков сам предложил оформить связь в загсе (от жизни он требовал порядка прежде всего),—и Варвара переехала к нему на Петербургскую сторону. С тех пор прошел год. Родным Варвара говорила, что живет хорошо и дай бог всякому. Но стали замечать, что она худеет, вянет, пропал ее веселый нрав. Оказалось, что она неистово ревнует мужа, и боится показать ему это, и ревнует его так потому, что за год жизни не узнала его, не узнала о нем больше, чем в первый вечер знакомства.

4

Стол был накрыт. Через открытую дверь было видно, как на кухне в чаду примуса суетилась Варвара. Сучков наигрывал на гитаре. Около него на стуле плотно сидел Андрей Матти, финский подданный, чисто вымытый блондин с коровьими ресницами. Одет он был в новенький серый костюм и розовый галстук. Прямой, как щель, рот его добродушно улыбался. Так он мог сидеть сколько угодно,—помалкивать.

Варвара, летая по кухне, нет-нет да и поглядывала пронзительно на мужа и Матти. Чего молчат, ну, чего? Без дела,—здорово живешь,—Матти не втерся бы в их дом, и Сучков не стал бы с улыбкой играть ему на гитаре. Вот уже которое воскресенье тащится финн с цветком для Варвары, или с шоколадной плиткой, и у Сучкова сразу эта непонятная кривая усмешечка (так бы и швырнула в рожу ему

кастрюлю с горячими щами). Неистовым сердцем Варвара чувствовала, что они сговариваются, финн подбивает мужа, опутывает, уводит... И муж не прочь... Еще бы... Разве бы так улыбался?.. Полечку с подлыми коленами наигрывает. Подлец. Утром ногти обстриг, чтобы за струны не цеплялись. Ах, и сомненья нет: присмотрел ему финн девчонку...

— Варя,—вполголоса позвал Сучков,—как у тебя с котлетами, а то мы сядем водку пить.

Варвара загремела кастрюлями, горло перехватило злобой. И это было не во время, потому что Матти, пользуясь шумом на кухне, сказал наставительно:

— Это большой неудобство, когда нет кухарка. Такой приличный дом, конечно, должен иметь прислуг. Человек с вашим вкусами должен иметь деньги.

5

Когда Настя вошла в столовую, мужчины уже пили водку под миноги в горчице. Сучков изумленно поднял брови, рыжие зрачки его беспокойно заматались. Матти бросил салфетку, поспешно встал и несколько раз, сгибая весь корпус, поклонился Насте, видимо, по-заграничному. Когда Сучков, снова холодно и непроницаемо, здоровался с девушкой, Варварины расширенные глаза появились в чаду в темном коридорчике, ведущем из кухни в столовую. Варвара внесла блюдо, вытерла фартуком руки и поцеловала ледяными губами Настю. Ей предложили рюмку водки. Матти воскликнул с каким-то финским,— хэ-хэ,—хохотком:

— Современный девушка должен пить водка.

Настя выпила, главное, для того, чтобы побороть в себе неловкость. После мягкого света дня, и морского ветерка, и тишины над Петербургской стороной, и тишины в самой себе, которую не мог даже нарушить гражданин в трикотажных штанах, ей колюче и непокойно было под взглядами этих людей.

Но ведь прийти надо было,—Варвара несколько раз обижалась: „Почему нас знать не хотите?“. Настя даже пальчики поджала на ногах. Ей вдруг стало неудобно от того, что вся шея и грудь—голые и руки голые до плеч. „Выкатилась нагишом, дура“. Опустив голову, пробуя кусочек миноги, она преувеличенно поморщилась от горчицы. Сучков сказал отчетливо:

— У вас красивый загар, Настасья Ивановна. Физкультурой, несомненно, занимаетесь?

— Да.

— Посмотри, Варя, какой приятный загар и как приятно женское тело, хорошо тренированное. Ведь вы, Настасья Ивановна, всего года на три моложе Вари? А посмотрите—какая разница. Да, Варя, тут не обижаться нужно, а понять, что не тряпьем, не помадами себя красит женщина, а содержанием тела в физической тренировке.

— Это большое значение имеет,— сказал Матти,— Варваре Тимофеевне тоже не поздно заняться гимнастикой. Я видел в Або одну старую женщину в пятьдесят лет бегать и прыгать очень хорошо.

— Спасибо за сравнение,— только и ответила Варвара. Губы ее дрожали. Не знала — куда отвести глаза. Мужнин уверенный, скриповатый басок бил ее с каждым словом, будто кирпичем в темя. Обычно Сучков многозначительно помалкивал. Сейчас, упираясь локтем в стол, наливая в рюмки, вертя вилок, говорил, говорил, не переставая. Даже в тот, первый, вечер в кино он не разговаривал с такой охотой.

— Отношения полов, это — острый вопрос современности. Я знакомлюсь с женщиной, которая меня зовет, влечет. Я сближаюсь с ней, и венерическое заболевание обеспечено. Каждая женщина — ловушка... Отсюда — невольный страх, отсюда тяга к спокойной уверенности, к семейному очагу...

— Семейный очаг имеет также свои недостатки,— качая как будто глуповатым лицом, вставил Матти.

— Да. Семейный очаг дает мне некоторую уверенность. Но он же отнимает часть моей личности. Он подшибает мне крылья. Я говорю вполне отвлеченно, Варя, у нас теоретический разговор, не сверкая глазами. Я получаю 135 рублей жалованья за скучную и неинтересную работу. Я только не умираю с голоду. Разве это жизнь, я спрашиваю?

Все так же, с застывшей улыбкой, Матти внимательно покосился на него из-под коровьих ресниц:

— Бедность, это — главная несчастье человека...

Шрам около рта у Сучкова резко обозначился, опустились углы губ.

— Мои желания принуждены дремать. Я не вижу этому конца, вот в чем дело. У моей матери не было средств. До восемнадцати лет я учился, давая уроки. (Варя остановилась в дверях с пустым блюдом и с этой минуты жадно слушала.) Я ждал. Я умел ждать своего часа. Только я кончаю техническое училище, — война. И меня гонят на фронт. Вот там, в дерьме, во вшах, я узнал, какие бывают желания. А хотите, расскажу, как я снял золотые часы и бумажник с одного с оторванной головой? Может быть, это было, может быть, выдумал для Настасьи Ивановны... Ха-ха... В местном на-днях мне сделали замечание — почему я уваливаю от общественной работы. Да, уваливаю, сохраняя свою личность от размена на копейки. Эту личность ели вши в империалистическую войну, ели вши в гражданскую войну. И теперь за сто тридцать пять рублей месячного оклада я буду еще способствовать развитию социализма в этой стране... Данке шен... Я не идеалист. И, прежде всего, я не верю в Россию. Нас обманывали, — такого даже и народа нет... И язык-то сам, хваленый, русский не язык, а простонародное наречие. А каждая, уважающая себя, личность должна разговаривать по крайней мере по-немецки. Россия, извиняюсь, это историческое недоразумение, скверный мираж. Человек существует только там, за пограничной линией.

— Вы большой философ,— сказал Матти, наливая в рюмки.

— Меня насильственно заставляют быть философом. Вот — водочка, закуска. Но я не люблю пить, об этом мало кто знает. Я пью только потому, что это единственное, что материально доступно мне для раскрытия личности. Нет, граждане, нельзя так играть с человеком. Желания во мне таятся, но не умирают, и они когда-нибудь громко заявят о себе. Но вернемся к началу темы... Женский вопрос... Вот, если вы уж хотите строить социализм, хотите, чтобы я вам помогал, прежде всего обезопасьте меня от венерических заболеваний и разгрузите мой семейный очаг. Половые переживания я должен отпирать с такой же легкостью и свободой, как грудь моя дышит воздухом. Что делают для этого в Европе? А вот что, граждане. Город разбивают на районы, в каждом районе — особый кабинет врача-венеролога, — открыто круглые сутки. Бесплатно. Каждому гражданину, обоего пола, выдается карточка. Каждый должен не позже, чем через два часа после полового акта, явиться к своему районному врачу, подвергнуться обезвреживанию и прижиганию и проштемпелевать карточку. Если он не явился и заболел, — пять лет каторжной тюрьмы. Не пройдет 2—3 лет, как болезни исчезнут в Европе... И к женщине мы сможем подходить без страха, срывать ее, как полевой цветок.

Едва Сучков произнес эти слова, Варвара, белая, как бумага, поставила блюдо на стул, подошла, неловко, по-детски, размахнулась и ударила мужа в длинное лицо.

— Уходи, уходи, иди к ним, иди, — зашептала она. Расширенные глаза ее прыгали. Сучков схватил ее за обе руки и, должно быть, больно сжал. Она все повторяла: „уходи, уходи“... Матти отошел к окну и там закуривал, ломая спички. Настя хотела было обнять ее за плечи, увести из столовой, но Варвара, быстро повернув голову, так взглянула, молча, в самые глаза, что у Насти затошнило в сердце.

— Ну, что, успокоилась теперь? — проговорил Сучков, и рот его полез совсем криво, — драться больше не будешь? — Он выпустил руки Варвары, и она сейчас же ушла на кухню, затворила дверь.

— У вас, в Финляндии, тоже мужей по мордасам бьют? А у нас, как видите... Так сказать, на сладкое после обеда, — сказал Сучков, и, откинувшись на стуле, захохотал злым и обидным смехом.

Настя ушла, не простившись с Варварой. Подумала на улице, — куда? Светлый день был уже не светел. Она встряхнула волосами, отгоняя неприятное, и вернулась домой, на Петровский остров.

На Петровском острове шагах в тридцати от озера стоит небольшая мыза. Ветхий забор ее одной стороной выходит на травянистый берег Малой Невы, откуда на яликах перевозят на Васильевский, к устью речки Смоленки. Другим краем забор спускается в тихий затон, — гавань и кладбище землечерпалок. Из затона в круглое

озеро, затененное столетними липами, ведет узкий проток с горбатым мостиком. Подойти к мызе можно только через этот мостик. Здесь всегда закрыты ворота. За ними — рябина, кусты, лопухи, грядки с картошкой, и поблескивают от отсветов воды три пузырчатых окошка деревянного домика.

Здесь живет Иван Иванович Фарафонов, хранитель этой мызы и всего казенного имущества затона, — заржавленных землечерпалок, паровых котлов, перевернутых кверху киями старых баркасов, якорей, железного хлама, валяющегося на берегу. Из окон видна Малая Нева, где пробегает, надымив под Тучковым мостом, буксирчик „Кропоткин“, и от его волны тяжело поскрипывают дровяные баржи, стоящие караваном. Дальше видны мачты финских лайб, пришедших с дровами, или с камнем, крыши Васильевского острова, выцветшие купола. Дальше на восток — колоннады корпусов Академии Наук, рогатая ростральная колонна, и за туманами, все неяснее, все голубее, — арки мостов, купол Исаакия, игла над крепостью, поблескивающая, как щель в небе.

С севера Петровский остров обтекает речка Ждановка. За ней — Петербургская сторона. Днем, в будни, когда пустеет стадион (у самого Тучкова моста), и по Ждановке еще не плавают лодки гребного клуба, — на острове тихо, поют птицы. Пасется несколько коз. Возятся дети на берегу озера. Гуляет со старой собачкой бедно одетая, увядшая женщина, и, наверное, и не вспоминает даже, как под этими липами когда-то мчались на Петровское шоссе зятянутые в мундиры всадники, черные амазонки и вереницы блестящих колясок. Здесь проходила веселая дорога, — днем на Стрелку, ночью — к певичкам на Крестовский. Тогда еще не было стадиона, и Ждановка не кишела простонародьем в лодках; канатные и металлические заводы вдоль шоссе были закрыты от глаз глухими и высокими заборами; черные трубы патронных заводов на Голодае и Балтийских на Васильевском дымили в то время где-то, казалось, очень далеко, усугубляя мрачную красоту закатов.

Нет, дама с собачкой не вспоминала то прошлое, оно было загромождено, все равно, как на пустырях Петербургской стороны, грудами развалин, поросших крапивой.

С пяти часов в будни, а в праздник с утра на Петровском острове начиналось оживление. Стреляли мотоциклетки на виражах стадиона. Валом валил народ на трибуны, на парапеты виражей, лез на деревья, плыли через Ждановку, держа над головой одежду, ломались через заставы с Тучкова моста: — это с шести часов начинался великий бой между ленинградской сборной и сборной из Европы, и тысяч десять свирепых ленинградских патриотов ревели львами, когда наш бек, Червяков Второй, вбивал головой голл в ворота Европе... „Даешь сухую“...

Трепались паруса вдоль зеленых берегов острова, скользили, проплывали вереницами шлюпки, разлатые — обывательские и узкие

как ножи,—спортивные с голоногими девушками и юношами. Проходил с песней двадцатичетырехвесельный военный вельбот, на морях—одни белые бескозырки и спины—ошпаренные, как кипятком. Рева, в водяной пыли, пронеслась аэролодка. В мягкую синеву влажного неба летел вальс медных труб.

На мызе у затона, за покосившимся забором, Настя полола грядки. Долетали звуки труб, взрывы криков, плеск, и голоса, и смех на озере. Этой весной Настя окончила вторую ступень, и наступающее лето казалось ей огромным простором, где вьется в солнечной мгле и ее дорожка. Что-то будет, когда опадут листья в парке? Вместе с дождями начнется: служба (где-то), новые люди, встречи, меняющие жизнь, незнакомые волнения, быть может—счастье... И Настя мечтательно выпалывала лебеду на грядке с салатом и редиской. Сегодня была суббота, и часов уже с трех на острове,—куда ни глянь,—лежали люди под липами, звенели гитары в траве. На озере слышался плеск и взвизги. С востока из-за лип, с вышки стадиона, чей-то великаний голос кричал в рупор:.. „товарищи... мы должны победить... понадобится напряжение всех сил“... Настя бросила полоть редиску. С синего неба лился свет хрустальными глыбами. Настя сняла белую косынку, взяла с куста полотенце и вышла за ворота.

7

Посреди озера вертелась огромная деревянная катушка из-под электрического кабеля. На нее лезли, как лягушата, мальчишки. Настя плыла по синей воде, по солнечным отсветам. Ей хотелось залезть на катушку, но увидела, что мальчишки не пустят. Она повернула.

Под столетними деревьями на низком берегу, казалось, собралось какое-то шумное, многочадное племя. Лежали вповалку в траве, закусывали яичком, колбасой. Спали, подставив морду под солнце. Молодые люди, прикрыв только срам, играли на гитарах и балалайках девушкам, сонным от света, и зноя, и водяных зайчиков, скользивших по их лицам. Возились, плакали, смеялись дети, разбрызгивая ногами воду. Снюхивались собаки. Мальчики-подростки висели на сучьях, на склоненных ивах, засматривая сверху на купающихся женщин. В мелкой луже лежали, выставляя на народ пышные зады, две проститутки. Бегал по песку журавлем на единственной ноге волосатый инвалид, гоготал от удовольствия. Неугомонные старички в белых картузиках бродили около распаренных в траве женских тел. Налетал ветерок, шелестел листьями. Над озером, над парком плыли прозрачные звуки труб. Варварин брат, Колька, вместе с кучкой матершинников шатался здесь же, надоедая всем хуже горькой редьки,—но поди, его прогони?

Мельком Настя заметила на берегу узкобедрого человека без штанов. Он поспешно тащил через голову серую рубашку. Настя отвернулась. Он побежал в воду, бросился, ползлыл. Настя повернула

к дальнему берегу, к мызе. Человек, дыша со свистом, сильно выкидывая руки саженками, догнал Настю на середине озера.

— Нет, Настасья Ивановна, не уйдете от меня...

Эго был Сучков. Длинное, без румянца, лицо его разрезало воду, приближалось со страшной быстротой. Вдруг он вскинулся, вильнул спиной и, нырнув, проплыл глубоко белой тенью под розовым Настиным телом. Ее охватил такой страх, непонятный на секунду, что вскрикнула, выскочила по пояс из воды. Загготали матершинники на берегу, пронзительно засвистали мальчишки на мокрой катушке.

Сучков вынырнул, отфыркнувшись, отсморкнувшись, сказал:

— Я всю неделю мечтал с вами встретиться...

Настя медленно плыла к мызе. Плохо слушались руки, ноги. Он плыл сбоку, как водяной конь, — казалось, вода кипит вокруг его ошпаренного тела...

— Я искал встречи... Вы произвели на меня незабываемое впечатление...

— Слушайте, оставьте, Василий Алексеевич...

— Не вспоминайте, что было в прошлое воскресенье... Я совершенно переродился... С Варварой — ничего общего... Я понял, кому отдавал мои силы... Хочется много-много говорить вам о моих настроениях... То, что мы так разделены, чертовски бесит меня, моментами схожу с ума... Хочется синих глаз... Хочется вашей ласки...

— Слушайте, — проговорила Настя, задыхаясь, — поворачивайте, здесь женский пляж...

— Завтра приду опять, — сказал Сучков почти что зловеще, — оставьте всякий страх, отдайтесь красивому зову.

Он поплыл назад так уверенно, будто и на самом деле был Настиной судьбой. Настя вышла из воды, встревоженная и рассеянная, накинула платишко и босиком пошла на мызу. Вот так начало лета, вот так начало жизни!.. Хотя, помимо всего прочего, по молодости и глупости, ей было так же и приятно, когда вспомнила, как по синей-синей воде под потоками солнца плыл водяной конь.

8

Искупавшись, Сучков пошел через Тучков мост на Васильевский. Здесь на углу, у самого моста, в старинном подвале, была пивная. Место известное. У хлопающей поминутно двери играл на цитре бородач с мертвыми глазами. Звенение цитры, несвязные крики, стук кулаков по столикам, грохот пивных ящиков, — все эти звуки перекатывались под низкими и потными сводами. Дышали здесь одним махорочным дымом. Видимо, без того, чтобы в'ехать в голову пивной бутылкой, — трудно было обойтись в этом месте.

Сучков прошел в дальнюю комнату и сейчас же увидел Матти.

— Давно ждете?

— Ничего.

— Ну, что же,— парочку?

— Но здесь чересчур много публика.

— Делу не мешает. Лучше места не найти.

Сучков сел, забарабанил ногтями. Ело глаза. Матти нагнулся к его уху:

— Я больше ожидать не в состоянии. Я есть лицо, которое бескорыстно взял на себя труд привлечь вас к высоко идейному делу. Вы в душе европеец. Вы должны нам помочь. Но если вы сегодня же не скажете,— да,— сегодня же я ушел через границу.

— Конкретно, реально,— сколько денег?

— Задатку пятьсот рублей.

— Мало,— быстро сказал Сучков.

— Хорошо, там посмотрим,— повторяю: я бескорыстно выполняю инструкции. Я буду говорить об увеличении задатка. Затем,— по доставлении нам сведений...

— Тише с такими словами,— сказал Сучков.

— ...вы получаете за каждое вполне законченное сведение по сто рублей...

— Мало...

Молочное лицо Матти начало краснеть, побагровели уши, налилась потная жила поперек лба:

— Я бы не хотел, чтобы надо мной смеялись. На ваше жалование вы не можете сшить даже хороший пиджак, вы ходите в скверный пиджак, в Европе над такой пиджак стали бы смеяться... Вы курите паршивый папирос и кушайте в будни один блюд... (От возмущения он говорил все хуже по-русски.) А я вам предлагаю колоссальные деньги... Я предлагаю сто рублей за каждый сведений... За месяц вы можете дать много сведений...

— Ну, вас к чорту, тише орите...

Сучков оглянулся. Стало холодно спине. У стены сидела Варвара в розовой шляпке, надвинутой на глаза, сжимала обеими руками зонтик (из кладовых князей Юсуповых, приобретенный на аукционе). За столиком Варвары спал щекой в луже пива горько напившийся какой-то кустарь-одиночка.

Варвара не шевелилась, сжимала только зонтик, глаз ее не разглядеть было за тенью, губы стиснуты. Наконец, увидел ее и Матти. Вскочил, протягивая руки:

— Какое счастливое совпадение!..

— Это что еще за новые штучки?— выговорил, наконец, Сучков.

Варвара не отвечала. От духоты ли, или от чего другого, ей, видимо, было совсем плохо. Сучков и Матти повели ее под руки из пивной. За столиками закричали в догонку:

— Двое бабу поволокли... Эй, буржуи... Возьмите нас, мы поможем.

На улице Варвара, еще слабая, с томительной пытливостью стала глядеть на мужа. Закивала-закивала головой и пошла одна через мост.

Сучков пришел домой в сумерки, злой, как чорт. У самой двери его остановил управдом Шапшнев, и попросил заплатить недоимочку (тридцать рублей). Попросил только для порядка, потому что была середина месяца, и у Сучкова, очевидно, не могло быть денег.

Управдом впоследствии показывал, что несказанно был удивлен, когда Сучков, ни слова не говоря, перекривился, полез в карман пиджака, там пошарил, как человек, у которого большие деньги в кармане, и он не хочет их показывать, вытащил три бумажки и подал управдому. И сейчас же оба заметили: одна из бумажек была достоинством в десять червонцев.

„Сразу меня будто по голове ударило,— показывал управдом,— откуда у него такие деньги?“. Сучков еще страшнее перекривился, сунул десять червонцев в карман и вместо них вытащил другую бумажку, которая оказалась тоже десятью червонцами. Тогда он прошептал какое-то слово, очевидно— матерное, кинулся в дверь и затворил ее за собой на крюк.

Управдом остался на площадке лестницы с двумя червонцами в руке и в великом смущении.

Варвара лежала в постели, закрывшись с головой. Сучков, не спеша, разделся, лег рядом с нею на спину и начал курить папироски. За окном, испачканным кляксами извести, за непромытыми стеклами, светила белая ночь. Варвара лежала, как мертвая. Тикали часы на комоде. В них что-то заскочило, захрипело, как будто и им стало невыносимо в затихшей спальне, где думал Сучков. Хрипнули, оправились и опять пошли отрезать секунды жизни, угонять их трупики чорт знает куда и зачем... Сучков соскочил с постели, зло наступая на завязки подштанников, пошел в столовую, достал из ящика письменного стола тетрадку (школьную, с девизом: грызи гранит науки) и, присев у подоконника, записал:

„17 июня. Утром ушел со службы под предлогом невыносимой зубной боли. Пошел в Петровский парк. Купался. Встретил Н. Ее телосложение оправдало ожидания. Говорил с ней, очень удачно подготовил почву для будущего свидания. Вечером покончил с М., хотя еще не знаю— как задастся работа. Но уже вырастают крылья. Между прочим, М. предложил отделаться от Вари. Конкретного ничего не предлагает. Может быть, она сама поймет, что надо отойти“...

Заперев тетрадь в ящик и ключик положив в портмоне, Сучков вернулся в спальню. Сказал, глядя на маятник часов:

— У меня бессонница. Может быть, ты поставишь чайник на примус?

Тогда Варвара сорвала с себя простыню. Села на постели,— в расстегнутом платье, растрепанная, со спущенными чулками. Ей теперь было все равно,— пусть его смотрит на опухшее, на мокрое лицо...

— Я ведь была на озере-то сегодня... Я видела, как ты плавал с этой дрянью... Нашел девчонку... Эх, ты... Мерзавец,— она потрясла головой,— мерзавец...

— Не ругайся,— сказал он ледяным голосом,— за ругательства и, вообще, бить по лицу и за этого „мерзавца“ недолго очутиться у народного судьи... Кроме того, я тебе не давал обещаний, что ограничу свои потребности одной женщиной...

— Знаю... Знаю... Вот, что для тебя плохо, то, что я тебя поняла, Василий Алексеевич... Глаза вдруг открылись... Ты—зверь... Скотина бритая...

— В последний раз,— прекрати...

— Да хоть голову оторви—не перестану. Думаешь,—хоть столечко мне страшно? Ты поганый... Тебе чистая посудина нужна... Зачем же ты со мной целый год жил?.. Ведь я женщина, все-таки... Ты бы лучше козу завел. Или эту Настьку, под которую ты сегодня нырял. За год я от тебя человеческого слова не слышала. Нет, милый, ты их не умеешь говорить... Да будь они прокляты твои поганые тряпки, твои подарки... (Она рванула до самого подола платье на себе...) До тебя я знала мужчин. Троиш. С нашей фабрики. Тебе неизвестно про это? Так вот,—знала... Они меня миленькой звали, душечкой... Дорогим товарищем. Третьего я перед тобой бросила. Он меня и до сих пор жалеет...

— Ну, точка,—брезгливо сказал Сучков,—подробности меня не интересуют...

Варвара опустила голову. Помолчала. И снова взглянула на мужа,—лицо ее беззвучно задрожало:

— Пользоваться тебе придется другой теперь посудиной, дружок... Конечно, чтобы ты как-нибудь не заразился... Только я тебе должна сказать про два секрета... (Сучков быстро покосился, она это заметила и вдруг усмехнулась.) Я беременная, Василий Алексеевич, на третьем месяце... Младенца убивать не стану, рожу его, и ты будешь платить алименты...

— Ага!—Сучков свернул нос, начал ходить по спальне.—Ну, это мы еще посмотрим... Если ты, действительно, беременная,—это еще не значит, что я отец... Это еще вопрос—кто отец... (Он наступил, наконец, на завязки, с остервенением дернул ногой, оборвал их и заорал...) А шантажа над собой не допущу!.. На алименты не очень-то рассчитывай...

Тогда Варвара потянула на грудь разорванное платье, прикрылась до горла, подобрала под себя голые ноги. Она, будто, боялась теперь глядеть на мужа, мотающегося в подштанниках по спальне: глядела в окошко. Облизнув губы, сказала:

— Теперь,—второе, Василий Алексеевич... Если ты так мне сказал... Я тебе тоже скажу... Не хотела... Нет, нет, нет... Все-таки муж мне был... Василий Алексеевич, я на тебя донесу...

Сучков сразу остановился. Длинное лицо его с проступившей тенью небритых щек казалось от бессонницы и света белой ночи мертвенно зеленоватым. Варвара сказала тихо, горестно:

— Василий Алексеевич, ты шпион.

На этом разговор окончился. Варвара опять легла, закрылась с головой. Сучков ушел в столовую. Затем он кипятил себе на примусе чай. В седьмом часу зашел в спальню за одеждой, и вскоре вышел из дома.

11

По праздникам Тимофей Иванович Жавлин любил обедать рано, как только поспевал пирог, или пшеничные лепешки с коровьим маслом. Жил он сейчас же за Нарвскими воротами (великолепной аркой с каменными мужиками и со славой, летевшей на четверке коней навстречу российскому воинству, припершему пешком из Парижа),— в одноэтажном деревянном домике, подпертом бревнами со стороны пустыря.

На этом-то пустыре достраивалась первая группа рабочих домов, про которые Тимофей Иванович рассказывал в пивной Ивану Ивановичу. Это была уходящая изгибом от Петергофского шоссе на восток широкая улица трехэтажных, песочного цвета, построек с плоскими крышами, висячими верандами, вытянутыми в ширину окнами, высокими полуарками переходов и ворот. Улица напоминала несколько урбанические пейзажи городов будущего, еще так недавно снившихся художникам-графикам школы Добужинского.

Три группы таких построек расположены были по шоссе. Между ними на пустырях догнивали домишки, — едва ли не времен Петра, — какие-то почерневшие от непогод хуторки с недоброй жизнью. Дальше — раскинулись огромные прокопченные корпуса Путиловских заводов, дымящие трубы, трубы, трубы, под'ездные пути, белые, стелющиеся к земле, дымки паровозиков, стеклянные крыши и вдали — Северная верфь с эллингом и решетчатыми кранами, видными далеко с моря, с Лахты и Ораниенбаума.

И тут же, между речонкой Таракановкой, черной от угля, и заливом верфи, на пологом берегу, где опрокинуты лодки и сушатся сети, — примостилась рыбацья деревенька Ермолаевка, петровских же времен: дворов с полсотни. Здесь ловят весной — корюшку, по осени — миног, и во всякое время гонят дешевую самогонку. Отсюда, проспавшись по шинкам, выходят баловаться нарвские богатыри-матершинники. Место темное.

Сегодня Тимофей Иванович сел обедать один. Мишка — комсомолец — чуть свет ушел на лодке, на парусные гонки, Колька всю ночь пьянствовал где-то, вернулся домой весь вывалянный в грязи, хотя и дождя-то не было, — значит, искал эту грязь специально. — и сейчас посапывал за стеной в чулане. Кухня, где сидел Тимофей Иванович у золоченого, в стиле Людовика XV, стола (полученного по ордеру в 1921 году со складов Тучкова Буяна), — была совсем ветхая, обои отлупились, пол сгнил, через стены дуло, посреди стояло бревно, подерживая прогнувшийся потолок. Двадцать лет прожил здесь Тимо-

фей Иванович. Сюда приволокли его раненого пулей (девятого января), на этой лавке сиживали вожди (в пятом году и в семнадцатом), из этой гнилой избенки вылетали когда-то огненные слова.

Года отшумели, отлетели. Пришлось Тимофею Ивановичу и воевать, и заседать в Советах, и бродить с винтовкой по полям в поисках запрятанного хлеба, и замерзать в снегах Поморья, и биться в туркестанской лихорадке. Но, когда стало можно, вернулся он на верфь к любезной работе. И пошли дни, — будни, от которых с ума стали сходить иные горячие головы. В этих случаях Тимофей Иванович говаривал: „В особенности русскому надо учиться работать день за днем, как поршень“.

Держа наготове вилку, Тимофей Иванович весело поглядывал на тегку Авдотью (двоюродную сестру покойной жены). Она вынимала из печи пирог с морковью. По неосознанности больше топталась, чем дело делала. Тимофей Иванович любил иногда над ней посмеяться.

— Авдотья, — говорил он вразумительно, — Авдотья, отдам я тебя обучать по системе Форда. Разве так можно с пирогом обращаться? Должна разумные движенья делать, а ты топчешься.

— Да, бог его знает, Тимофей Иванович, как я его далеко в печь закинула, а кругом чугуны.

— Конечно, богу одна забота о твоём пироге. Куда уж мне с советом соваться. Однако сомневаюсь, — а вдруг бога-то нет? Тогда как же ты с пирогом? Ведь, пожалуй, он и пригорит...

— В праздник, хотя бы, помолчали об этом, Тимофей Иванович.

— Не могу. Мне из ячейки ударное задание, — тебя обратить в безбожницу.

Авдотья не отвечала, только незаметно под фартуком перекрестилась. Наконец, пирог она вытащила из печки, обмахнула крылышком, подала:

— Кушайте на здоровье, Тимофей Иванович.

Посмеиваясь, Тимофей Иванович отрезал дымящийся кусок. В это время на черном крыльце стукнула дверь, и вошла Варвара в шляпке с зонтиком. Тимофей Иванович взглянул на дочь и сейчас же опустил вилку. В глазах у него пропал смех.

Варвара сняла шляпку, села на скамью к отцу и положила голову ему на плечо:

— Папынька, — сказала она, — папынька родной, я проститься пришла.

12

Осторожно Тимофей Иванович стал выпрашивать у дочери:

— Дома, что ли, не хорошо?

— Нет, папынька, дома все благополучно.

— Уезжаешь?

— Нет, папынька, никуда не уезжаю. Только, может быть, не увидимся больше. Хотела проститься, в родные глаза посмотреть.

Варвара говорила с такой тоской, без слез, — тихо, что Тимофей Иванович слушал ее, слушал и отвернулся к окну, волосы у него на затылке стали торчком.

— Умирать собралась, скажи, пожалуйста... Вот глупая. Это оттого, что — глупая...

Тетка Авдотья, — то же самое, — слушала-слушала, бросила ухват на пол, залилась слезами:

— О ой, Варварааа...

Невеселый вышел обед в это воскресенье у Тимофея Ивановича. Варвара ничего толком так и не рассказала. Отошла, отогрелась на отцовском плече. Уехала домой.

13

В столовой, поджав под стул босые ноги, Сучков записал:

„18 июня. Час ночи. Был на озере... Н. на свиданье не пришла. Напрасно прождал до семи часов. Ходил около мызы и видел на двери замок. Если это вызов со стороны Н., то я не из тех, что отступают перед намеченной целью. Вечером говорил с М., откровенно высказал опасения насчет Вари. М. настаивает. Дал слово быть товарищем. Вместе обсуждали план. Да, М. прав, говоря, что нужно быть европейцем: ясно видеть цель и сокрушать все на пути“.

Эту ночь Сучков спал в столовой, прикрывшись старой, военной шинелью. Он не слышал, как Варвара осторожно подходила к двери и долго глядела на него. В черной щели двери ее лицо казалось смертно бледным.

14

20 июня Сучков вернулся раньше обычного со службы и сам жарил свиные котлеты. Варя приходила с шоколадной фабрики в половине шестого. Отворив ей парадную дверь, он сказал с улыбкой:

— Варя, надо кончить нашу бузу. Ты не поняла меня, я не понял тебя. Ты бросила мне обвинение, оно меня глубоко обидело. Но теперь я понял, что мы оба невиноваты. Нам нужно серьезно об'ясниться... Раз и навсегда.

Варвара повторила, глядя в темноту коридора: „Раз и навсегда“. Затем, Сучков принес из кухни котлеты. Позвал:

— Иди шамать, сегодня я кухарка за повара.

Он выпил несколько рюмок водки, благодушно кряхтя. И даже рассказал анекдот (из „Бегемота“) про тещу и фининспектора. Варвара сидела за столом, настроенная. Наконец, катая хлебные шарики, он приступил к самому главному:

— Ты подслушала мой разговор с Матти. Вышло вроде, как в кинематографе: жена открывает, что муж ее шпион. Ха, ха, ха... Понятно твое настроение... Ах, Варя, Варя... Дело об'ясняется гораздо проще. Матти — представитель одной крупной фирмы. И, понимаешь, они очень осторожны... Пока собирают предварительные сведения для

ориентировки, сметы и прочее... Пока все это в строжайшем секрете... Так вот, какой я шпион!.. Ха, ха... Вчера, наконец, я умолил Матти, и он разрешил тебе все рассказать, чтобы успокоить. (Он весело потрепал Варварину руку.) Ну, а что касается этой девочки, Насти, — будь благоразумна, Варя... Тут даже не увлечение... А просто игра с котенком... Я не люблю невинных...

Варвара столько настрадалась за эти дни, что рада была поверить; не хотела, а поверила мужу. А, что если, действительно, ей все это только представилось? Прикрыв ладонью глаз, она сказала:

— Ты же сам сказал, — я, мол, не давал обещания ограничить потребности одной женщиной...

— Брось, Варя... Не такие слова говорят со-зла...

— В прошлое воскресенье разговор этот за столом никогда не забуду... Главное, — и Настя тут же и этот твой приятель... И всем ясно, что я тебе опостылела, не знаешь уж, на кого и кинуться...

— Нервы, нервы, Варя... Женская фантазия... Я говорил теоретически, чтобы поддержать интересный разговор за столом... Ну, ведь, и ты хороша, — смазала меня по морде... Я же не сержусь...

Варвара глубоко вздохнула от последней горечи. Ей было не под силу больше страдать. Не доев котлеты, пошла в спальню. Припудрилась, поправила волосы. Подумала и переменяла платье. И вдруг стало совсем легко. Сучков, едва она ушла, опустил голову, весь сморщился, стучал ногтями по клеенке. Затем выпил под-ряд три рюмки водки, не закусывая. Повернулся на стуле и смотрел на стену, за которой ходила Варвара.

— Варя, — позвал он тихо и хрипло, откашлялся и — громко, — Варя, знаешь, что я придумал... (Она вернулась в столовую.) Пойдем на воздух. Мы с тобой давно не гуляли... (Варвара вдруг улыбнулась доверчиво и готовно, совсем, как год назад в кинематографе. Сучков скользнул по ней взглядом и еще налил водки...) Погуляем, поговорим... У одного знакомого лодка стоит на Голодае, неподалеку Смоленского кладбища... Ну, одевайся... Шляпу не надевай... Лучше — пла-точек...

В прихожей он стал тереть лоб, досадливо махнул рукой:

— Досада, забыл совсем. Ты иди к Большому, к остановке шестерки, дожидайся меня, я на минутку зайду в правление.

Варвара ушла. Сучков, приоткрыв дверь, слушал, как она спу-скалась по лестнице. Кажется, она ни с кем не встретилась, не заговорила.

Затем он долго перед зеркалом надевал фуражку. Посмотрел, — взяты ли папиросы, спички. На цыпочках, — не замечая этого, — вышел из квартиры, неслышно притворил за собой дверь. Крадучись, спу-стился в домовую контору и там уже очень громко сказал управдому Шапшневу:

— Жена ушла куда-то, забыла взять ключ от парадного. Передайте, пожалуйста, ей ключик, когда вернется. А я — на вечерние заня-тия, вернусь, должно быть, поздно...

За Смоленским кладбищем на запад лежала пустынная, голая и низменная земля, так называемый Новый Петербург. Здесь некогда замыслили строить фантастически прекрасный город, весь из мрамора и гранита, новую Пальмиру северных морей. Но успели поставить только несколько пятиэтажных корпусов, которые хмуро глядятся огромными окнами на море, на илистые берега с вытасченными кое-где лодками, на заколоченную дачу Григория Григорьевича Ге, натерпевшегося однажды ночью, сидя на крыше, великого страха во время наводнения, на канавы, кучи щебня и железа, разбросанные по острову, на торчащие из травы остатки фонтана. В одиноких домах живут, но места эти мало посещаемы, в особенности юго-западная часть острова.

Туда-то и шли сейчас Сучков,—впереди, сунув руки в карманы, широко шагая, и Варвара, отстававшая несколько от него. Вдали, низко над зеркальным морем, висели облака, уже окрашенные вечерней зарей. Красноватый, золотой, зелено-водянистый свет зари мирно разливался за полосками фортов Кронштадта, за лесистыми берегами Лахты, повисшими, как мираж, над заливом.

— Вася, не беги, куда ты торопишься?—задыхаясь, повторяла Варвара. Всю дорогу до кладбища Сучков простоял на площадке трамвая. Сойдя, он взял Варвару под руку. И шел быстро, все быстрее. Маленькие глаза его бегали по сторонам, по лицам редких прохожих. Когда за поворотом открылось зеркальное море и вечерняя заря над ним, и Варвара прижалась к мужу за лаской,—он выдернул руку из руки Варвары и побежал вперед.

Он остановился у невысокого обрыва. Внизу ленивая пленка воды набегала на песок, на осколки пивных бутылок, на камни.

— Вот чорт, нет лодки,—сказал Сучков, глядя в море, где дремали паруса заштилевших яхт,—вот чорт, придется подождать...

Он спрыгнул на песок и, не оборачиваясь:

— Ну... Прыгай... Сядем...

У Варвары горячо забилося сердце. Она прыгнула, села на песок, опираясь руками—откинулась, зажмурилась на зарю. От движения синее в полоску платье вздернулось выше колен. Не поправила, так и оставила. Так ей хотелось счастья в этот теплый вечер, что с той минуты, когда убежала в спальню напудриться и до самого конца, была в обмане, ничего не поняла.

Присев на корточки, Сучков курил. Оглядываясь по сторонам, повторял: „Сейчас, сейчас, подожди немного“... Вдали на стадионе (Голландийском) играла музыка, но это было версты за две, а здесь берег—пуст.

— Вася,—проговорила, все еще жмурясь, Варвара,—мне ведь многого не нужно... Я не как другие,—ревновать, мучить... Если я знаю, что ты меня жалеешь, любишь... Чего же еще-то?..

— Молчи, молчи,—сказал Сучков сквозь зубы. Наконец, наверху на обрыве закрипели шаги, и голос Матти торопливо проговорил:

— Кончай скорей!

Варвара выпрямилась, раскрыла рот,—захватить воздух. Крикнула. Стршнее всего было землистое, длинное лицо мужа. Глядел с такой неистовой злобой, как чорт... Варвара было рванулась с песка, он схватил ее за ногу, опрокинул, живо вскочил на грудь, обхватил шею ледяными пальцами. Душил, работая плечами. Отпустил одну руку, вытащил из песка кирпич и ударил им несколько раз Варвару по голове, бил, покуда кирпич не разломился. Потом слез с Варвары, оглянулся на лицо ее, залитое кровью, и пошел вдоль воды. Матти уже шагал далеко по пустырю к кладбищу.

16

Во втором часу утра Сучков быстро прошел в воротах мимо дворника, который долго еще нюхал после него пивной запах. Без десяти два он позвонил к управдому Шапшневу и в сильном волнении сказал:

— Варвара Тимофеевна не приходила разве? Не брала ключа?

— Нет, ключ у меня,—ответил управдом, почесывая босой ногой ногу. Он так же отметил сильный запах пива от Сучкова.

— Я начинаю тревожиться... Не случилось ли чего? А? Или у отца она заночевала? А? Ведь люди такие теперь,—заманят, да и задуют... А?.. Как вы думаете?..

Управдому стало жутко от этих вопросов. Сучков лез к самому лицу, глядел в глаза,—не то пьян был вдребезги, не то возбужден до того, что едва собой владел. Прижав управдома в полутемной прихожей к стене,—дрожал всем телом. Наконец, взял ключ и, шатаясь, вышел на лестницу.

Поднявшись к себе, Сучков наложил цепочку на дверь. На цыпочках прошел в спальню, где смутно белела неубранная Варварина постель, и перед зеркальным шкафом тщательно причесался, припудрил лицо пуховкой. После этого лег на свою кровать навзничь и некоторое время лежал, как труп. Вскочил, тяжело дыша, и дрожащей от бешенства рукой остановил маятник часов. Ушел в столовую и там ходил и курил. Остановившись, прислушивался. Вполголоса с каким-то даже берущим за сердце чувством повторил несколько раз: „Да, вот я и один“. Затем, снял сапоги и сел у окна писать.

„21 июня. Затуманное выполнил. Тотчас поехал на Невский... М. уже ожидал на углу. Вместе зашли в бар. Почистился. В уборной М. передал еще триста. Ужинали. М. много рассказывал о за-границе. После ужина познакомился с проституткой, которую мне указал М. Поехали к ней. Провел время очень удачно. По возвращении домой, воярос с ключем прошел, как по маслу“...

Сучков почесал переносицу концом вставочки, покрутил волосы на виске. Зрачки остановились, расширились. Он осторожно положил вставочку. Лицо его сморщилось, как печеное. „Ну тебя к чорту“, — прошептал он. И опять, — ходил и курил.

Зачем он писал этот дневник? Почему, так тщательно обдумывая подробности убийства, он не уничтожил его в первую голову? Видимо, не будь дневника, точных записей, — Сучков растерялся бы, заблудился бы, потерял самого себя. Дневник был его скелетом, его личностью. Короткие записи и даты служили вехами, по которым в пустоте, в темноте брела его страшная душа.

Он тщательно завернул дневник в газету, перевязал ленточкой и положил в уборной на бак с водой. Сделав это, лег спать, как и все эти дни — в столовой на диване, прикрывшись шинелью.

17

Около четырех часов следующего дня Настя встретила Сучкова в парке на Петровском острове: он шел, поглядывая через плечо, точно уходил от кого-то. В свете безоблачного дня, льющегося сквозь листву, лицо его казалось болезненно серым, сморщенным, старым. Он шел от мызы, — Настя поняла, что он искал ее.

Внезапно, должно быть, отделившись от дерева, к нему подошел Матти. Сучков сейчас же поджался, как собаченка при виде собачищи. Опустил голову. Матти на-ходу сказал ему что-то, решительно резанул воздух ладонью. Когда он скрылся между липами, Сучков стал закуривать, сунув папироску в рот не тем концом, — сжег несколько спичек и с тихим бешенством растоптал папироску.

Настя видела все это, сидя после купанья на стволе наклонившейся над озером ивы. Купающихся было еще мало, — только дети, да няньки, да старички с собаками бродили по берегу. Насте стало страшновато, — почувствовала, что сейчас будет решительный разговор. Она нагнулась над книжкой с оторванным концом и началом, неизвестного автора, по старой орфографии, — про любовь. Сучков подошел неслышно. Чуть задыхаясь, сказал:

— Что же, — избегаете меня, Настасья Ивановна? Я не болен, я не импотент... В чем, собственно, дело?

Настя подняла голову от книжки, откинула волосы с лица, прищурилась на солнечную воду:

— Я вас не избегаю, чего же избегать-то? Просто — безразлично...

— Врете, врете, врете, — надвинувшись, зашептал Сучков. От него шел особенный, какой-то прогорклый запах, на углах губ сбилась пена. — Врете, трусите... Не хотите дать волю естественным инстинктам... Что за обывательщина!.. Я пойду на все, не отступлю ни перед чем... Я в таком состоянии, — все эти дурацкие предрассудки — к чорту!.. Такого темперамента, такого страстного мужчины не найдете в Ленинграде... Чорга вам искать!..

Разумеется, Настя могла бы легко уклониться от объяснения, и впоследствии она лгала, рассказывая, будто Сучков налетел на нее, как бешеный. Все это так. Вначале она и волосы откинула, и глазки у нее были изумленно хорошенькие, и ножкой ботала, сидя на изгибе ивы. Еще бы: даровое развлечение, переживание посильнее, чем в театре. Но Сучков так странно повернул разговор, так заспешил,—точно от смертного голода готов был вонзить зубы в Настино загорелое плечо,—и у нее пропало всякое любопытство, стало страшно. Она слезла с дерева и легонько помахивала на Сучкова книжкой без начала и конца:

— Слушайте, оставьте! Слушайте, я милиционера позову,—бормотала она, сама еще не зная, отчего такой страх идет от воспаленных, как угольки, мутных глаз Сучкова. Он видел, что она готова убежать и не шевелился, говорил тихим баском, и только ногти его вцепились в ивовую кору:

— Я понимаю,—вы опасаетесь Варвары, серной кислоты и прочее... Кончено... С Варварой все кончено... Да не бойтесь вы меня, боже мой,—слушайте... Она ушла вчера... Мы расстались... Мирно, без скандала... Самка не поладила с самцом... Органическое отталкивание... Кроме того,—у нее любовники... С шоколадной фабрики... Я начинаю новую жизнь... Этой осенью непременно уезжаю за границу... Ненавижу Россию, здесь можно сойти с ума.. (Точно от приступа боли он заскрипел зубами...) Я предлагаю роскошную жизнь... А вам что предстоит? Стучать на машинке в советском учреждении... Эх, все равно первый попавшийся мерзавец изменит вам юбченку...

И тут, в забытии, Сучков забормотал шопотом о таких бесстыдных подробностях, что у Насти похолодело сердце от омерзения. Она побежала по берегу к мызе. Сучков зашагал было за ней. Она закричала:

— Гадина!

Сучков споткнулся, закрутил головой, схватился за голову и в догонку девушке захрипел матерными ругательствами...

Еще издали Настя увидела, что в огороде стоят отец и Тимофей Иванович. Настя, разгневанная, запыхавшаяся, подошла. Оба, отец и Жавлин, замолчали. У Тимофея Ивановича картуз был надвинут на странно побелевшие глаза. И лицо у него было странное,—проваленные щеки, синие губы, острый костяной нос, борода в каком-то мусоре. Он вертел и ломал сухую палочку. Настя взглянула на отца, он сказал вполголоса:

— Большое несчастье у Тимофея Ивановича. Варвару нашли утром на Голодае. Вся голова разбита.

— Так били ее, по лицу, голове, ничего не осталось... По сержкам узнал,—проговорил Тимофей Иванович,—у меня дома лежит сейчас Варя...

Иван Иванович всхлипнул, обхватил дочь:

— Кто, ну кто, ну кто это сделал? Настя, не ходи ты одна... Не ходи никуда... Не люди же, не люди, звери...

И, когда отец это сказал, перед Настей взвилась туманная пелена. Сквозь пелену неосмысленного сознания, кажется нам, в беспорядке мчатся люди, события, движения, слова, и тошно иногда от непонятной пестроты. Но пронижет сознание этот хаос, и все ясно вдруг и просто, как рука, протянутая к куску...

— Убил Василий Алексеевич, — сказала Настя, дрожа всем телом, — режьте меня, он убил Варю... Он здесь, по парку ходит... У него на рукаве около локтя пятно крови...

Тимофей Иванович медленно повернул костяной нос к варку, переспросил:

— Там ходит?

И пошел пудовыми шагами из ворот через мост к озеру. Уж не Насте, не Ивану Ивановичу было его остановить, уберечь от новой беды. Он только повторял бегущим с боков Насте и Ивану Ивановичу:

— Оставьте меня. Это мое дело...

Сучков, действительно, был еще в парке, — сидел на пне и курил. Жавлин подошел к нему спереди, кашлянул, спросил просто:

— Ты убил?

Сучков вскочил. У него задрожало лицо. Но не успел ответить. Тимофей Иванович протянул к нему руки, как ветви, взял его за плечи, подтащил к себе, глядел ему в лицо белыми от сухих слез, невидящими глазами:

— Зачем ты убил мою дочь?

И, казалось, он недоумевает, что ему делать с этим, которого он обхватил ветвями, — зверь не зверь, не человек, сбесившееся животное, но уж места ему нет на свете, конечно... А в парке уже слышались свистки милиционера, позванного Иваном Ивановичем, чтобы не допустить до беды... Между липами бежали люди к месту происшествия. Тимофея Ивановича насилу оторвали от зятя. Кругом шумно дышали любопытные, лезли на плечи. Сучков возмущенно разводил руками:

— Старика надо изолировать, налетел, понимаете ли, кричит, — я убил его дочь... Он, может быть, сам ее убил... Почему я знаю...

— Убил, убил, — горестно повторял Жавлин, — берите его, ведите его, этот человек страшнее сыпнотифозной вши.

Ловко все было подстроено у Сучкова. Оказалось, что улик нет никаких. Этим утром им было заявлено в милицию о пропаже жены. Весь вчерашний день по минутам он мог установить — где был и что делал. Его видели даже в топографической школе, куда он направлялся, по словам управдома, на вечерние занятия: он проходил по чертежной и у одного сослуживца попросил прикурить. После допроса его выпустили. Он ушел, удовлетворенно усмехаясь. И сейчас же начал колесить в трамваях по городу. В одиннадцатом часу вечера

он осторожно вылез у Смоленского кладбища и пошел к морю. Остров был пустынен в этот бледно-светлый час, неугасаемая заря отражалась в молочном зеркале моря. Тихо и прохладно. Рубашка на Сучкове была мокрая, пот лил по лицу. Он шел, низко пригибаясь, разыскивая что-то. Вот, наконец, то место, где вчера он спрыгнул к воде. Он оглянулся и прыгнул. На откосе, на песке лежали двое в кожаных куртках. Они сейчас же поднялись и взяли Сучкова за руки, загнули их за спину. Один из агентов сказал:

— Вы стеклышко от часов-браслета разыскиваете? — вот оно, гражданин. А мы заждались, думали — не придете.

Такова была первая улика. Вторая — выдуманное Настей, но действительно оказавшееся, при тщательном исследовании, замытое пятно крови на правом рукаве у Сучкова, около локтя. Третьей, решающей, уликой послужил найденный при обыске дневник. В тюрьме Сучков пытался вскрыть себе гвоздем вену, но неудачно. И на третьем допросе, раздавленный, растерявшийся, он со слезами рассказал все, вплоть до сношений со шпионской организацией Матти.

Я М Б Ы

С. Малашкин

Какое бурное ненастье,
Какая горькая напасть:
Всю ночь мне снилось мое счастье,
Твоя расплавленная страсть.

Всю ночь гудели сосны, ели
За окнами в моем саду,
А мы, обнявшись, друг, летели
По морю бурному в бреду.

И было больно быть над бездной,—
Недаром жутко страсть цвела,
Подталкивала к бездне звездной,
В бездонный хаос нас гнала.

„Улялаевщина“

ИЛЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Глава I

(Отрывок)

Телеграмма пришла в 2. 40 ночи.
Ковровый тигр мирно зверел,
Когда турецких туфель подагрический почерк
Истоптал его пустыню от стола до дверей,

И матовый пузырь, оправленный в кость,
Под'ятый терракотой антикварного негра,
Гранеными ледышками стучался от энергий
В крышку чемодана из крокодильих кож,

Куда швыряло акции, керенки, валюты,
Белье, томик Блока, стак с монограммой
Шифрованное слово страшной телеграммы,
Таинственное—«революция».

— «Ерунда. Это бунт. Он сойдет на убыль.
Мы еще вернемся в герои кулисы!».
Мешок, по которому цепью нули,
Нахлобучил цилиндр, блестящий, как рубль;

Суетливо сунут копеечный спас,
Двор под черепом автомобиля ожил,
Судорожно свел никкелированную пасть
Крокодил из чемодановой кожи,

Пока на подоконнике двуногий бульдог,
Копируя карикатурный обрюзг миллионера,
Стерег рассвет зеленовато-серый
И вздрогнул, заслыша гудок:

Обугленный ворон, смутный, как вечер,
Как старый шахтер, горбат и уныл,
Крыльями смазал кайло луны,
Где тень Земли выело чрево.

Черный, в короне лучистых струй,
Рабовладельчески восставя копле громоотвода,
Ожжужживал замок ночного завода
В астме машин и митинге труб.

Полет рафинированной стали блестел,
Взрагивало зарево багровое, как стронций,
И в броневых динамо залитые солнца,
Двигая чертеж трансмиссий и систем,

В вокзалах из стекла под лампонами арк
Вращали барабан и в картавый завар его
Гром перекачивал, «р» выговаривал:
— Каррырыл-Марксс—Каррырыл-Марксс

И, содрогая машинный собор,
Башни нефтебаков, катакомб аккумуляторов—
Барабана рябой бой
Подбивал ударные кадры.

Весь организм завода. Сталь.
Животная мощь электричеств
Дразнили нервы у сотен, у тысяч
Гудели, свистали: «Восстань».

Забойщики, вагранщики, сверловщикй, чеканщикк,
Строгальщики, клепальщики, бойцы и маляры,
Выпотывая в лоске литьё рёбер и чекан щеки
Лихорадили от революционных малярйй.

Хотя бы секунду, секунду хотя бы
Открыть клапана застоявшихся бурь
И вдруг императорский Петербург
Вдребезги рухнул в Октябрь.

Директор узнал об этом раньше рабочих.
В. Н. Морозов, металлический король,
Оставил в кабинете обручи для бочек
И недокусанный сандвич с икрой,

Да несколько депеш: есаулу Канарий,
Своей супруге Тате и некой мадам,
И вот крокодиловой кожи чемодан
Умчался, уменьшаясь в рубиновый фонарик.

А за ним в зеркалах по болотной чаще,
Где только порханье нетопырей,
В грохоте колес нажимая все чаще,
Головокружительно мчался и мчался
Завода ночной экспресс.

И в день, когда черным углем на тракт,
Харкая знаменами, высыпал завод,
Казачья сотня, кривясь от зевот,
Тащилась атакой на вялых ветрах.

Политика бунтует: рабочий, скубент,
А казаку скука—известный рецепт,
Всего и бою, что сделаешь цепь,
Стянешь бровь да и гикнешь «Бей».

Но тут уж ворочался с Мазура и Стохода
В шинели, накрахмаленной в крови,
В волдырях, обмотанных верстами походов,
Обрыганный вшами фронтовик.

И, не успев, как надо, умучить на людях
За войну перелопатанных дома баб,
С обрезом винтовки от желчи лютой
Красногвардейщиной пер в хлеба.

Как бочка, где бродит хмель, и вода,
Вспенясь от газа, взрывает обруч,
Россия во чреве растила удар,
Разнесший ее христомордый образ.

И дедкой за репку по пене по той
Пошла катиться на ширмах «Петрушка»:
Паук-протопоп, крича про потоп,
Да туз-буржуй на пушке;

Помещик Врангель с дяблями
Ножки—фри, икотица...
Эй, яблочко,
Куды-ж ты котися?

А пена капустой айда гуляет!..
Это не люди, не стар не млад—
Это прет единица с нулями,
Это вылезла сама земля,

Сама земля-погорелица,
Отряхаясь корнями рук,
Это мох бородой по коре лица,
Это рыжих листьев под шапкой шум,

Это с присвистом корчит гримасы сая,
Тиф кишками по швам в треск,
Люди? нет, это масса
Масса через три эс.

Вели бы дым их избяных труб
За день сконцентрировать и просеять сажей—
Черный крест высотой в сажень
Лег бы по экватору и полюсам на круг;

Если бы из организма партизанских войск
Выпарить соль и разложить по улице,
С точностью до одной энной, 0,7 унций
Пришлось бы каждому буржуа на хвост.

И четкая икота пулемета—та-та-та
И гранаты лирическое звон—
Все воспевают исторический смотр
Массы, мрущей в коммуны навоз.

Это был (труба, барабан!)
Их последний—да, Раба!!
И реши—жих-жах!
Тельный бой нив и шахт.
С Интер-пулеметы-нацио
Дзум-пыйхь-аналом
Воспря (труба) нет род (барабан)
Людской-дунн. Вв!



У х а б ы

Повесть

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

На океанском торговом пароходе „Октябрь“, пришвартованном к стенке в своем порту, только что закончили погрузку. Рабочие все ушли. Под тяжестью четырех тысяч тонн жмыха, набитого в трюмы, черный корпус судна осел в воду по самую марку. Матросы, готовясь к заграничному рейсу, затягивали брезентом люки, опускали на место стрелы, принайтовливая их, и убирали палубу. На корме под порывами легкого ветра развева́лся красный флаг, показывая серп и молот.

По берегу, против „Октября“, заложив руки за спину, прошаживался старик в сером поношенном костюме, в мягкой шляпе. Он был высок ростом, с крутыми плечами, голову держал прямо. Сивые пушистые усы сливались с такой же сивой бородой, расчесанной на две половины и напоминавшей по своей форме лиру. Во всей фигуре старика, в его четкой и размеренной походке чувствовалась военная выправка. Совсем другое впечатление он производил, когда останавливался, разглядывая иностранные корабли, выгружающие из своих объемистых железных утроб — машины, трубы, тюки, ящики. В таких случаях его упругие ноги всегда были раздвинуты, как циркуль, — верный признак того, что этот человек долго плавал по морям и океанам и десятки лет провел на качающемся мостике.

С „Октября“ сошел по сходням старший кочегар Томилин, организатор судового коллектива, и направился к старику. Он приветливо заговорил, протягивая мозолистую руку:

— Здравствуйте, товарищ Виноградов.

Старик, отвечая на приветствие, тоже улыбнулся в сивую бороду. Они пошли вдоль каменной набережной.

Виноградов спросил:

— Когда снимаетесь?

— Сказали — всем быть на судне в шесть часов вечера. Придет комиссия по отправке. А ночью будем, вероятно, уже в море.

— Так. Ну, голубчик, вот в чем дело: я принес то письмо, о котором уже говорил вам. В первом же заграничном порту наклейте на него марки и опустите в почтовый ящик.

Оглянувшись, старик вытащил из бокового кармана толстый пакет, не запечатанный, и, передавая его Томилину, добавил:

— Ничего секретного и предосудительного в нем нет. Можете прочитать. Кстати и о себе узнаете кое-что.

— Хорошо, — ответил кочегар и, свернув пакет в трубку, сунул его в карман черных брюк.

— Когда вернетесь обратно?

— Через месяц, не раньше.

— Я вас буду ждать.

— А я вам привезу какой-нибудь заграничный подарок.

— Я без того очень благодарен вам—благодарен за спасение жизни.

Старик остановился, с любовью посмотрел на своего приятеля и снова заговорил:

— Мне завидно, что вы уходите в море. Знаете, что я надумал? Когда я поджидал вас, глядя на ваш пароход, меня охватило такое желание поплавать, побывать в иностранных портах и узнать, чем там люди дышат, что я, вероятно, завтра же подам заявление в Советторгфлот. Буду просить, чтобы меня назначили на коммерческое судно, совершающее заграничные рейсы.

Кочегар радостно воскликнул:

— Давно бы надо так, Василий Андреевич! Я тогда к вам перейду служить.

Поговорив еще, старик пожал руку своего приятеля и сказал:

— Желаю вам попутного ветра.

— Спасибо. Привет от меня Клавдии Васильевне и товарищу Смирнову.

Старик, раскланявшись, пошагал твердой походкой в город, а Томилину—на свое судно.

Ночью, когда „Октябрь“, слегка покачиваясь, резал уже мелкие волны моря, старший кочегар Томилину, сменившись с вахты, заперся в своей крошечной каюте, примыкающей к носовому кубрику. Он достал из чемодана пакет, вынул из него большую пачку почтовых листов, исписанных уверенным и разборчивым почерком, и жадно впился в них глазами.

Милый друг.

Предпоследнее твое письмо попало мне в руки, когда, будучи еще капитаном первого ранга, я командовал лучшим линейным кораблем. Это было месяца за два до февральских событий. Я тогда был чрезвычайно поражен твоим бодрым тоном, твоими надеждами на скорое окончание войны. Много лет прошло с тех пор,—страшных лет, потрясших Россию до самых сокращенных глубин ее прочно установившегося быта. Где наши прежние друзья? Револю-

ция разбросала одних, как ветер осенние листья, по всему земному шару; другие, опрокинутые со своих насиженных мест, влачат жалкое существование, а многих давно уже нет в живых, о них даже перестали справлять панихиды. Тем приятнее для меня было получить снова конверт с густым знакомым почерком. Я считал тебя погибшим, но оказалось, что ты находишься по ту сторону границы, жив и здоров. Это доставило мне величайшую радость. В то же время я был очень опечален, когда узнал из письма об участи твоего имения.

Ты всколыхнул в моей душе воспоминания, знойные и прекрасные, как солнечное марево. Сколько раз я гостил у тебя. До сих пор мне мерещится, как золотое утро детства, твой чудесный сад благоухающий редкостными цветами; тихий пруд с зеленоватой водой, местами затененной деревьями; небольшой островок с купальнями, выкрашенными в голубой цвет, с беседкой, пышно обвитой плющом, — там, освежившись в прохладной воде, мы ели самых свежих карасей, добытых из твоих садков, услаждались сочно-рдеющей викторией, только что собранной с грядок твоего сада, и пили пенистое шампанское. Более благоустроенное имение, чем твое, трудно было найти. Чего стоила одна только оранжерея с тропическими растениями! Точно кусочек Цейлона ты перенес к себе. А этот буйно разросшийся дубовый парк с дорожками, усыпанными песком, — парк, звеневший в весенние зори трелями соловьев; а твой каменный дом с причудливой старинной архитектурой!

Я помню каждый уголок в твоём имении, каждую деталь. Может быть, потому оно так крепко запечатлелось в моем мозгу, что там я впервые познакомился с баронессой фон-Бирман и там же признался ей в любви. Сейчас, когда я пишу эти строки, она, моя супруга, прожившая со мною более тридцати лет, сидит за столом и штопает чулки. Тебе не узнать ее. Она стала в полном смысле старушкой, сгорбившейся, в дешёвеньком сером платье, в очках, в которых одно стекло треснуто. Иногда я с грустью смотрю на ее седые волосы, прядями свисающие на сморщенное лицо, в ее черные глаза, когда-то обжигавшие своей страстностью, а теперь полинявшие от обилия слез.

О, жестокое, все разрушающее время!

Где наше прошлое?

Взять твое имение. Оно представляло собою райский уголок на земле. И все в нем было устроено солидно и прочно, все говорило о незыблемости привычных устоев.

А теперь, как видно из твоего письма, разбушевавшиеся крестьяне все это уничтожили: сад и парк срублены, даже выкорчеваны корни великолепный пруд превратился в замусоренную речонку, а от двухэтажного здания и других построек не осталось ни одного кирпича, ни одного кола.

Там, где процветала красота, где мы думали блаженствовать всю жизнь, мужики устроили кладбище, насыпают свежие холмы могил и ставят кресты.

Какая ирония судьбы!

Ты спрашиваешь, как я живу, и что пришлось испытать во время революции.

Я постараюсь ответить тебе длинным посланием. Это будет нечто в роде повести, в которой современную свою жизнь я переплету с воспоминаниями о прошлом. Ты знаешь мою давнюю привычку: все более или менее яркие впечатления я люблю иногда заносить на бумагу. Сейчас передо мною лежит толстая старая тетрадь. На ее страницах разбрызгана часть моей души. Когда-нибудь на основании этого материала я напишу интересную книгу. Но уже из того, что теперь я сообща тебе, ты увидишь, какие иногда неожиданности врываются в нашу жизнь.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После окончания гражданской войны, я ушел из военно-морского ведомства, где занимал довольно крупный пост. Меня уговаривали остаться, но я не согласился. Мобилизовать меня не могли — возраст перешел. Захотелось пожить другой жизнью. И вот тут началась смена профессий: и занимался сапожным мастерством, и на рынке торговал всякой мелочью, и служил в кооперативном гастрономическом магазине. Все это не удовлетворяло меня. Тянуло ближе к воде, к кораблям. Наконец, сбылось мое желание: я заделался береговым матросом в торговом флоте. На моей обязанности лежало принимать швартовы с кораблей, пристающих к стенке. На такой должности я пробыл более двух лет и остался доволен. Потом поступил на парусник, на котором продолжаю служить до сих пор. Парусник этот старый, требующий большого ремонта, чтобы быть годным для плавания. Его предназначили к продаже и поставили у стенки. Нас трое поочередно дежурят на нем, охраняя казенное имущество. Мои сослуживцы — два старых матроса. Вся наша забота заключается в том, чтобы были целы двенадцать пломб, которые мы сдаем друг другу под расписку в вахтенном журнале.

Это самая легкая служба, дающая мне возможность отдохнуть душой и телом. Пользуясь свободным временем, я читаю почти всю нашу современную литературу. Книги пробудили во мне желание — исколесить Россию пешком вдоль и поперек. Хочется глубже познать свой народ и уяснить себе, куда и к каким далям держит курс наша молодая республика.

Жалованье я получаю около шестидесяти рублей. Но не в жалованье заключается суть дела, а в том, что, занимая такое демократическое положение, я могу буяннить и кричать против той или иной несправедливости. И ничего — мне, как матросу, все сходит с рук. Если же я сам не могу отстоять свои права, то у меня есть защитник в лице такого сильного коллектива, как профессиональный союз водников. Кроме того, несмотря на мое прошлое офицерское звание — капитана первого ранга, я пользуюсь всеми правами российского гра-

жданина. И за квартиру с меня берут по профсоюзной ставке — совсем ничтожную сумму. А если принять во внимание, что я зарабатываю еще уроками, то и совсем будет хорошо. Да нам с женой больше и не надо. Мы остались с нею только вдвоем. Наша единственная и любимая дочь Клавдия второй раз вышла замуж. Сколько она горечи причинила своей матери! Но об этом после.

Живем мы не так уж плохо! Скажу больше — можно было бы моей бывшей баронессе и не штопать чулок, но она за голодные годы превратилась в такую скопидомку, что дрожит над каждой крошкой хлеба и прячет в сундук лохмотья от изношенной одежды. Я тоже стал удивительно скромным в требованиях к жизни. Флотские щи с мясом, гречневая каша, приправленная маслом, зимою теплая одежда, нормальная температура в квартире — этого вполне достаточно для меня, чтобы чувствовать себя в хорошем настроении. Иногда разрешаю себе чарку водки. Здоровье у меня отличное — лучше прежнего, когда я был в чинах и ни в чем не отказывал себе.

Другое дело жена. Она никак не может примириться с новыми порядками и все ворчит, все протестует, конечно, только в стенах нашей квартиры. Иногда погружается в свои беспросветные думы и не разговаривает со мной по нескольку дней. Тогда, глядя на нее, сухую, с трагически-загадочным лицом, я испытываю непонятную тревогу, и мне хочется скорее уйти куда-нибудь из своих молчаливых комнат. Она все время находится в каком-то ожидании, перемены жизни и, быть может, только это одно спасает ее от окончательной гибели. Нередко обращается ко мне с одним и тем же вопросом:

— Скоро ли исчезнут эти изверги рода человеческого?

Я, понятно, стараюсь утешить ее:

— Потерпи, дорогая, еще немного. Через полгода, а может быть и раньше, мы опять будем у власти, в чинах и орденах.

С детства мне запомнилось из священного писания одно изречение, когда-то поразившее меня: „Бывает и ложь во спасение“. Теперь я применяю его на практике и придумываю всякие истории о заговорах, которые сообщаю жене под страшным секретом. Восемь лет я обманываю ее так.

— Господи! — сокрушенно восклицает она. — Хоть бы денек пожить, как раньше. Тогда бы и умереть можно спокойно.

Она стала религиозной и ни одного праздника не пропускает, чтобы не сходить в церковь. К кому же другому, если не к богу, обращаться ей с горячей жалобой на свою обиду? Я понимаю ее: бывшая баронесса стала женой матроса, сама бегаёт на рынок, сама стряпает, моет полы, стирает белье. Вот почему, разговаривая со мною о современности, она все явления жизни окрашивает в мрачные тона своей глубокой ненависти и все ждет перемены, возврата прежнего величия, — ждет с тупым упрямством. Мне кажется, что она кончит свое существование в сумасшедшем доме.

Ну, а я, присматриваясь к новым условиям нашей действительности, прихожу совершенно к другим выводам. Строится иная жизнь, совершенно непохожая на прежнюю. Это не то, что было во время военного коммунизма, когда мы питались мороженой картошкой, когда стояли в бесконечных очередях, чтобы получить четверть фунта плохого хлеба, иногда семечек или подвязки для чулок, когда не только людей, но и звезды хотели уравнивать. Теперь на этот счет наши вожди стали скромнее. Из недоступных высот они спустились на землю и занялись практическими делами. Но вместе с тем это и не то, что было при царизме, и не то, чем живет Европа.

Напрасно некоторые ждут возврата старого режима, при котором мы были полными хозяевами жизни. Ушло это от нас безнадежно. Я, беспартийный человек, хотя и принимал горячее участие на фронтах против белых, я не знаю, куда мы придем, но отлично вижу, что для поворота назад нам все пути отрезаны. Такое впечатление сложилось у меня, как у трезвого наблюдателя, исходящего только от фактов. Где все те наши русские, что с иностранным оружием в руках вставали против народа? Где чуть ли не всемирная блокада, пытавшаяся задушить нашу республику огнем и голодом? Я теперь вращаюсь среди низов. Они часто ругают почему зря Советскую власть, но все равно они никогда не признают прежних воротил. Никогда! Поэтому лучше быть дворником, трубочистом, кем угодно, чем утешать себя несбыточной мечтой.

* * *

Сейчас жена обратилась ко мне с вопросом:

— Что это ты пишешь, Базиль?

Я не могу ей открыть правду. В начале революции она просила меня уехать всей семьей за границу, но я тогда отказался от этого. А сейчас рассказать ей о друге, проживающем в Париже,—это значит разбередить ее раны. Она тогда расстроится на всю ночь. Поэтому ответил ей выдумкой:

— Доклад пишу, моя родная, доклад.

Она рассердилась.

— И ты, Базиль, начал с ума сходить! Господи, что это за ужас такой! Все в России только тем и занимаются, что пишут доклады. Но толк-то из этого какой?..

Она разворчалась надолго. Я решил на этом оборвать писание, чтобы при первой же возможности снова вернуться к нему. Кстати, время позднее — пора спать. Завтра нужно рано итти на вахту.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сутки я отдежурил в порту и теперь двое суток свободен. Однако пора мне вернуться к прошлому, к революции. Здесь лучше воспользоваться старой тетрадью.

Да, случилось то, что должно было случиться.

К началу 1917 года среди широких масс война потеряла свою популярность. В армии, обовшивевшей, полураздетой и полуголодной, начинался развал. Не хватало снарядов. Новобранцы обучались военному искусству с деревянными ружьями. Экономическая мощь России была подорвана. Наши столицы и другие крупные города очутились перед угрозой голода. Такие лозунги, как за веру и царя, истрепались, превратились в старую ветошь, годную только для мусорной ямы. Нового правительство ничего не могло придумать. А конца войны все еще не было видно. При этом росли чудовищные слухи об изменах наших высших кругов. Эти слухи, как весенняя оттепель, распространялись по всем градам и весям нашей обширной России, внося в народ смутную тревогу. В душе каждого русского человека поднималась муть, недовольство — и всеми порядками и самим собою.

Наша эскадра была сосредоточена в Н-ском порту. Крупные боевые корабли стояли во льдах на рейде под защитой крепости. Шли приготовления к летней кампании.

Я командовал „Громовержцем“. Этот корабль был достоин своего названия и представлял собою крупнейшую силу. В моем подчинении находилось полторы тысячи человек. Иногда я присматривался к матросам. Они работали, покорные, обреченные на жергву. Какие мысли возникали в их мозгу? Я оставался без ответа.

Один случай поразил меня и навел на безрадостные размышления, — случай, который сыграл потом для меня большую роль.

Был у меня лейтенант Брасов. Я не знаю, чем это вызвано, но он относился к матросам с такой ненавистью, точно они отбили у него жену. Он презирал их, отзывался о них самыми скверными словами. Между ним и командой установилась непримиримая вражда.

Однажды перед обедом я вышел на верхнюю палубу и увидел дикую сцену. Лейтенант Брасов бил матроса, бил с каким-то садическим наслаждением, приговаривая:

— Расшибу твою подлюю морду!

Голова у матроса откидывалась — вправо, влево, в такт ударам. Лицо было в крови. Глаза вылезли на лоб, огромные, жуткие. Я впервые увидел в них едва сдерживаемую ярость. Он оскалил зубы и, словно не ощущая никакой боли, повторял одно и то же с каким-то безумным упрямством:

— Бейте! Ваша власть! Бейте еще!..

В его дрожащем голосе, во всей его позе, выпирающей вперед, был какой-то дерзкий вызов начальнику.

Помню, как я закричал неестественно громко:

— Лейтенант Брасов! Что вы делаете? Я вас под суд отдам!

Он, как полагается, повернувшись ко мне, вытянулся в струнку и взял под козырек.

Мельком я взглянул на матроса, отплевывающегося кровью. У него дрожали руки, сжатые в кулаки. Он смотрел на меня с таким видом, как будто был разочарован, что я вмешался в их стычку.

Я находился вне себя от гнева. Несмотря на присутствие на палубе матросов, я накричал на лейтенанта, а потом своею властью подверг его домашнему аресту. Таким образом инцидент был исчерпан.

Прошло полтора месяца. Приближался конец февраля. До нас, офицеров, докатился слух, что в Петрограде происходит что-то неладное. Черная тень легла на душу.

Вскоре командующий флотом вызвал всех командиров и меня в том числе к себе на флагманское судно. Когда все были в сборе, адмирал распорядился закрыть двери кают-компания. Он уселся в мягкое кожаное кресло, грузный и по-сановнически медлительный, с водяными мешками под глазами, отчего лицо его казалось дряблым и усталым. Мы расположились на стульях вокруг длинного стола, понимая лишь одно, что предстоит тайное совещание.

— Господа командиры! — заговорил адмирал, оглядывая присутствующих серыми, натуженными глазами. — Я должен сообщить вам неприятную новость: в Петрограде начались бунты. Неизвестно еще, чем все это кончится...

Он разгладил лежащий перед ним чистый лист бумаги и согнулся, словно ощутил тяжесть золотых погонов с черными орлами. Толстая шея его стала короче, а плечи круто поднялись. На несколько секунд в салоне, ярко освещенном электрическими люстрами, водворилась такая тишина, словно сразу все прекратили дыхание. Стены из красного дерева, черный лакированный рояль, зеркала, никелированные ручки на дверях отсвечивали холодным блеском.

Адмирал вдруг вскинул голову и выпятил грудь, увешанную орденами, словно хотел показаться нам более внушительной персоной. Оттопыренные уши в седых волосках стали красными. Голос зазвучал раздраженно, срываясь:

— Во всяком случае ко всему нужно быть готовым! Революционная зараза может переброситься и на суда! Тогда... Нечего вам говорить об этом! Вы все хорошо помните пятый и шестой годы...

Красный призрак прошлых лет грозно стал перед нами. Казалось, поднялся темный занавес, показывая минувшее. В воспоминания вторгались подробности о восстаниях в Кронштадте, на „Потемкине“, на „Память Азове“, — подробности кроваво-грязные и жуткие.

Совещание продолжалось долго. Выработали меры: не пускать команду на берег, винтовки на каждом судне должны стоять только в офицерском отделении, следить за радио-рубкой, чтобы получаемые сведения о событиях в Петрограде не попадали к нижним чинам, условились сообщаться с командующим флотом не иначе, как шифрованными телеграммами. В заключение адмирал заявил, что всякие попытки к восстанию на том или другом корабле офицеры совместно с кондукторами, унтер-офицерами и сверхсрочниками должны пода-

влять самым беспощадным образом, ни перед чем не останавливаясь. Если же, паче чаяния, какое-нибудь судно окажется в руках бунтарей, то оно немедленно будет потоплено артиллерией с других судов.

— Передайте, господа командиры, своим офицерам, что слабости я не потерплю! Сейчас решительность нужна больше, чем когда-либо! Да, решительности!..

Это были последние слова адмирала, услышанные мною. Больше я никогда его не видел и не увижу: он погиб во время восстания.

С нехорошим настроением вернулся я на свой корабль. Мне все казалось, что командующий флотом не все сказал, что-то скрыл от нас. Предчувствие подсказывало, что приближается конец нашей власти. Потом это подтвердилось. Мы сами начали получать радио из Петрограда. Оказалось, что вся столица охвачена революционным движением.

Поздно вечером я приказал всем офицерам собраться в кают-компанию. Они уже знали обо всем. У многих вид был пришибленный. Я обратился к ним прямо с вопросом:

— Что нам делать, если и у нас среди команды начнется революционное брожение?..

Все подавленно молчали.

Глядя на своих помощников, я сам заражался их тревогой.

— А как вы думаете, Василий Николаевич? — решил я вынудить на разговор старшего офицера, капитана второго ранга, Измайлова.

Он поспешил с ответом:

— Зависит от хода событий. Пока что взбунтовался только Петроград. А у нас есть еще Москва — сердце России — и много, много других городов. Кроме того, неизвестно, как настроена армия. От нее зависит дальнейшее — в ту или в другую сторону. Во всяком случае мы должны держаться до последнего момента.

В таком же духе высказались и другие офицеры. Некоторые из них, оживившись, начали храбриться. По их мнению выходило так: пусть матросов много, но с голыми руками они ничего не могут поделывать, а мы, вооруженные винтовками и револьверами, можем, если понадобится, перебить их, как стадо баранов.

Лейтенант Брасов был мрачнее других. Он сидел за столом, подпирая руками голову, держа в зубах давно потухшую папиросу. Повидимому, все советы офицеров не удовлетворяли его. Наконец, он выпрямился, глаза вспыхнули блеском решимости.

— Я предлагаю заранее провести из бомбовых погребов электрические провода в офицерское отделение. Я хочу сказать, что нужно на всякий случай приготовить корабль к взрыву. И прошу поручить это дело мне. В нужный момент я без всякого колебания нажму на кнопку.

Я строго посмотрел на Брасова.

— А дальше что?

Он продолжал твердым голосом:

— Мы взлетим на воздух вместе с бунтарями, с этими отъявленными головоотяпами, не знающими ни чести, ни совести. Это будет

смерть мгновенная, благородная. Она избавит нас от пыток и позорных издевательств.

При этих словах другие офицеры беспокойно заерзали на стульях.

Я резко заявил лейтенанту Брасову:

— Ни в коем случае! Это было бы страшным преступлением перед родиной. Нужно помнить о войне. Я полагаю, что никто из господ офицеров не согласится отдать Россию на растерзание немцам.

Мы ни к чему не пришли. Решили ждать, куда повернет колесо истории, все время быть на страже.

На второй день получились радио-телеграммы, ошеломляющие новыми событиями. Революционные ветры переходили в бурю, ломая подгнившие мачты старого режима. Зашатался царский трон. Большинство из моих офицеров потеряло головы. Каждый из них имел при себе револьвер, но я уже сомневался, что в нужный момент он сумеет разрядить его в своего противника.

На что надеется командующий флотом? Почему он держит матросов в неведении? Почему не примкнет к революционному движению? Только таким путем он мог бы спасти офицеров.

У меня на корабле пока было тихо, спокойно. Старший офицер пробовал прощупать матросов через своих тайных агентов. Ничего не удалось узнать. Не замечалось никаких признаков к восстанию. Являлось предположение: или команда действительно ничего не подозревает, что творится на Руси, или красные ведут свою заговорщицкую работу настолько осторожно, что трудно за ними проследить. В смысле повиновения матросы стали еще лучше, исполняли свои обязанности более ретиво, чем раньше, и напоминали людей, заканчивающих последние тяжелые работы, после которых должен наступить длительный отдых. Но это обстоятельство больше всего наводило на подозрение.

За год до революции среди матросов нашей эскадры были произведены многочисленные аресты. Следствие потом выяснило, что на многих судах существовали крепкие политические организации. Оказалось—флот готовился к восстанию. Правда, жандармы в то время не взяли с „Громовержца“ ни одного матроса. Мы ограничились только тем, что усилили за командой тайный надзор, не давший никаких результатов. Однако трудно было поверить, что революционная зараза не проникла во вверенную мне команду. Вот почему за последние дни я относился к ней с недоверием. Мои подчиненные вдруг стали для меня жутко ненадежными в своей безответной покорности.

Я знал, что на корабле есть развитые матросы, не совсем благонадежные в политическом отношении. Главным из них считался старший радио-телеграфист Смирнов. О нем несколько раз докладывал мне старший офицер, предлагая под каким-нибудь предлогом списать его на берег. Но явных улик против Смирнова не было. Поэтому я относился к нему терпимо. Кроме того, он был умен, сообразителен, а в моем характере есть слабая черта—я люблю таких людей.

Мне пришла в голову мысль: известно ли ему о начавшейся революции, и как он будет вести себя со мной? Я решил лично повидаться с ним. Его позвали. Переступив порог моей каюты, он браво заговорил:

— Имею честь явиться, ваше высокоблагородие.

Он стоял передо мною в почтительной позе, держа в левой руке фуражку, а правую вытянув по шву брюк. Хорошо пригнанный матросский костюм, начищенные ботинки, гладко выбритое лицо с короткими черными усиками производили впечатление, что он человек аккуратный во всех отношениях. Синие глаза смотрели на меня пытливо, стараясь догадаться, за чем его позвали. Я начал с ним разговор о радио-телеграфе, о том, насколько исправно работают его аппараты, не требуется ли произвести какой-нибудь ремонт. Он ответил мне по-деловому кратко—в радио-рубке все обстоит хорошо.

Я сказал:

— Очень рад, голубчик, это слышать. Я потому так беспокоюсь, что нам нужно быть готовыми к весенней кампании, несмотря ни на какие события в России.

Последние слова нисколько не удивили его. Значит, ему все было известно.

— Можешь идти.

— Есть!—отчеканил Смирнов и, задержавшись на одно короткое мгновение, взглянул на меня с каким-то сожалением.

Он ушел, унес тайну своих мыслей, а я остался один, придавленный тоской. Я вспомнил, как однажды тот же старший офицер сообщил мне, что у радиста есть три приятеля, с которыми он постоянно дружит: баталер, минный квартирмейстер и машинист самостоятельного управления. Последние все трое тоже находились в подзрении. Но в политике они себя не проявляли, а по службе были всегда исполнительны. Меня вдруг осенила мысль: не есть ли это организация? У каждого из этих троих в свою очередь имеются приятели и так далее.

Вскоре пришлось убедиться в этом.

Сидя у себя в каюте, я сочинял шифрованную телеграмму для командующего флотом. Я хотел сообщить ему, что на корабле все спокойно. Это было в пятницу, часов в семь вечера. Я не спал несколько ночей. Нервы мои обострились. Вдруг я услышал выстрелы и топот ног. Тут же раздался смертный крик.

— Началось, — почему-то произнес я вслух и выскочил из каюты.

Меня сейчас же подхватили матросы, вооруженные винтовками, на-скоро обыскали и повели в кают-компанию. Первым делом я заметил, что пирамида для ружей, находившаяся в офицерском коридоре, оказалась пустой. Это означало, что винтовки уже разобраны командой. Тут же, загораживая нам путь, валялся старший офицер Измайлов без фуражки, с разбитой головой. Вокруг него, разливаясь по линолеуму,

пунцово расцвела лужа крови, блестящая в электрическом свете. Все тело его содрогалось последними остатками уходящей жизни. Мне пришлось перешагнуть через умирающего своего помощника, и, словно совершив тяжкий грех, я почувствовал, как опорожнилось мое сердце.

Дробно рассыпались выстрелы на верхней палубе, обрывая чьи-то жизни.

Когда я вошел в кают-компанию, там уже находилось несколько офицеров, два доктора и судовой священник. К нам был приставлен караул.

События начинали разворачиваться с невероятной быстротой. Приводили новых офицеров, кондукторов, сверхсрочно-служащих. Вот показались машинисты. Они тащили за руки старшего механика, а он, несмотря на свою солидность, падал перед ними на колени и жалким голосом умолял:

— Товарищи, помилуйте. Разжалуйте меня в кочегары. Я буду за двоих стоять вахту...

И сам с себя сорвал погоны.

Машинисты с хохотом отшвырнули его от себя, — он грохнулся в угол кают-компания, как тяжелый чурбан. А потом, приподнявшись на один локоть, он прижался к задней переборке, с'ежился весь и нудно застонал, словно жалуясь на отнявшиеся ноги.

На корабле продолжалось движение людей, на первый взгляд бестолковое, а на самом деле великолепно организованное. Число арестованных увеличивалось. Где-то в глубине судна глухо защелкали выстрелы. Вслед за этим в кают-компанию вбежал кондуктор-электрик Головин, переодетый в матросскую форму. Лицо у него было в крови, и я с трудом его узнал.

— Спасите, ваше высокоблагородие, спасите...—в отчаянии завопил он, обращаясь ко мне.

Я попятился от него, как от сумасшедшего, резко крикнув:

— Отстань!

В дверях показались матросы, преследовавшие Головина. Он бросился от них на мягкий кожаный диван, уперся головой в угол, точно хотел пробуравить его, а нижнюю часть туловища поднял, словно нарочно подставляя под удары. Один матрос с грубой руганью вонзил ему штык между ягодицами,—вонзил глубоко, по самое дуло винтовки. Животный рев потряс роскошные стены кают-компания и сразу же оборвался. Другой матрос, размахнувшись, ударил штыком в спину, проколол кондуктора насквозь, пришилил его к дивану. Задержавшись, Головин натуженно поднял искаженное лицо, вывернул из глазниц луковицы страшных глаз. Из груди его исторгался хрип, похожий на свиное хрюканье.

Мы в ужасе отшатнулись и застыли на месте. Казалось, что сейчас и с нами начнется такая же расправа. И душа цепенела, словно окутанная в свинцовый саван.

Но матросы, покончив с кондуктором, заговорили мирно, как бы извиняясь перед нами за свои поступки:

— Вот стервец! Хотел динамо-машину вывести из строя.

— Он хитро было придумал. Если бы уничтожил свет, все наши злодеи разбежались бы с корабля, точно крысы. Кого впотьмах поймашь?

И тот и другой спокойно вытирали пот с лица. Они ушли, оставив на диване мертвое тело. Мы удивленно переглянулись, как будто впервые увидели друг друга. Судовой священник начал вдруг креститься, беззвучно шевеля губами. Лево́й рукой он прятал за полу подрясника большой серебряный крест, словно это был предмет, могущий уличить его в преступлении. Боцман Соловейкин, оказавшийся в числе арестованных, зашмыгал носом, как будто внезапно схватил отчаянный насморк. Бросалось в глаза, что каждый старался спрятаться за других, поэтому все густо столпились у задней переборки нашего помещения.

Не успели мы опомниться, как офицерский коридор левого борта вдруг загремел выстрелами, криками, матерной бранью, топотом многочисленных ног. Там происходило какое-то сражение. Минуту спустя, в кают-компанию принесли стонущего матроса. Его осторожно положили на стол. Минный квартирмейстер сурово распорядился:

— Господа доктора, на помощь!

Оба доктора, старший и младший, обрадовавшись, бросились к столу и дрожащими руками, мешая друг другу, начали раздевать раненого. У последнего оказалась простреленной грудь. Он умирал, блуждая мутными глазами.

Один кочегар рассказывал:

— Это лейтенант Брасов угостил его так. Вот гад — не сдается. Заперся в своей каюте и отстреливается из револьвера. Одного человека сразу наповал уложил—в голову попал.

Другой матрос добавил сквозь зубы:

— Все равно будет в наших руках, Брасов-то. Если бы в ад спрятался—достали бы и оттуда. Дракона не пощадим...

В коридоре наступило затишье. Я решил, что с лейтенантом Брасовым, вероятно, все покончено. Меня только удивляло, что матросы, стоявшие у левой двери, начали перешептываться с машинистами, и те куда-то быстро убежали. Из кучки оставшихся матросов двое выдвинулись вперед, в коридор. Каждый из них, присев на одно колено, взял свою винтовку на изготовку.

Спустя некоторое время, в кают-компанию прибежал чумазый кочегар, задыхаясь, торопливо сообщил матросам:

— Все готово. Сейчас начнется представление.

Около левой двери скопилось порядочно матросов. Все они, заглядывая в коридор, вытянули шеи и притихли. Я не понимал ничего, но что-то жуткое было в этом напряженном ожидании.

Вдруг тишина взорвалась треском разбитого стекла. В эту же секунду из коридора донесся до нас человеческий визг, смешанный с шипением пара. Матросы зашевелились, загалдели.

— Теперь нагонят Брасову тепла.

— Вот это баня!

Из дальнейших обрывков фраз я догадался, в чем дело. Оказалось, что лейтенанта Брасова никак нельзя было взять из каюты. Он отстреливался сквозь двери, а рисковать жизнью никто из команды больше не хотел. Тогда придумали другой способ покончить с ним: провели из машины шланг, разбили кувалдой в его каюте иллюминатор и пустили в него горячий пар.

Визг перешел в утробный рев, настолько страшный, что у меня вздыбились волосы на голове. Я с ужасом представлял себе, что делается в злополучной каюте. Пар врывался туда с невероятной силой, нестерпимо обжигая все тело. Лейтенант Брасов сразу же обезумел от такой неожиданности. Быть может, у него полопались глаза. Слепой, он шаркался в своем крохотном помещении во все стороны, всюду налетал на препятствия, опрокидывался и снова поднимался, бился головой о переборки. На мгновение он замолкал и опять исходил смертным ревом. И чем дальше, тем горячее становилось в каюте. Он варился в ней, как мясо в котле. Сползала кожа с лица, с рук, с головы, а внутри все еще билась болью жизнь.

Все арестованные в страхе жались друг к другу, бледные и безвольные, с дрожью в сердце.

Когда замер последний стон, открыли каюту. Брасов был обваренным трупом. Его унесли на верхнюю палубу и бросили за борт.

С этого момента корабль целиком находился в руках революционеров.

В кают-компанию вошел радио-телеграфист Смирнов, сопровождаемый несколькими матросами. Все они были вооружены револьверами, отобранными у офицеров. Он быстрым взглядом окинул арестованных и заговорил начальническим тоном:

— Прошу вас, господа офицеры, успокоиться. Все кончено. Вас больше никто не тронет.

В ответ, словно радостный вздох, послышалась благодарность.

Смирнов повернулся к караулу, сторожившему нас.

— Никаких бесчинств со стороны команды не допускать. В противном случае вы предстанете перед военно-революционным судом.

— Есть! — бойко ответили караульные.

— Трупы нужно убрать. Кондуктора бросьте за борт, а матроса отнесите на верхнюю палубу.

Смирнов со своей свитой удалился.

Как я и предполагал, он оказался главным лицом, руководившим восстанием. Так оно и должно было быть: умный, с хорошей подготовкой и решительный в нужный момент.

Явились вестовые, убрали трупы, а затем швабрами и тряпками вытерли кровь и вообще всю кают-компанию привели в порядок.

К нашему удивлению, бурное настроение команды быстро упало. Даже среди караульных чувствовалась какая-то растерянность. Повидимому, всех занимал вопрос: как обстоит дело с остальными караульщиками? И нетрудно было догадаться, что восстание там замедлилось. Это нас мало радовало. Если только матросы почувют, что им угрожает опасность, с нами больше не будут церемониться. Двенадцать человек караульных, вооруженных винтовками, в одну минуту превратят нас в трупы. Кроме того, я и другие офицеры, осведомленные мною, хорошо помнили слова адмирала: взбунтовавшееся судно немедленно будет потоплено артиллерией с других кораблей. И с этой стороны нам угрожала только гибель. Наш „Громовержец“ стоял среди эскадры. С такого близкого расстояния не может быть промаха, и одного залпа вполне достаточно, чтобы от нас ничего не осталось. Мы только что видели смерть, уродливую и отвратительную, и с дрожью в позвоночнике ждали того момента, когда десятки крупнокалиберных орудий из своих широких пастей рыгнут в наш корабль огнем и сталью. Над нашими жизнями продолжала висеть мрачная тень безумия. Я не знаю, как моим помощникам, но мне лично хотелось, чтобы матросы скорее свернули старческую отупевшую голову командующему флотом.

За начальника над караулом был минер Гасихин. Другие часовые стояли, а он камнем сидел на стуле около порога. Голова его, накрытая бескозырной фуражкой, немного склонилась от тяжелых дум. Лицо, широкое в висках, заканчивающееся острым подбородком, было угрюмо и неподвижно, как маска, а серые глаза ушли под шишки бровей. Изредка, не поворачивая головы, он резал нас косым взглядом.

В кают-компании начали появляться матросы в бушлатах. Повидимому, они прибегали с верхней палубы и приносили радостные вести, шопотом передавая их караульным. И сам Гасихин и его подчиненные становились бодрее, перешептываясь о чем-то между собою, улыбались. Из этого нетрудно было заключить, что, вероятно, и другие суда примкнули к революции.

Я обратился к часовым:

— Разрешите, товарищи, покурить.

Ко мне повернулся Гасихин и добродушно ответил:

— Пожалуйста. Этим революции не повредите.

Я вынул из кармана серебряный портсигар, раскрыл его, взял сам папиросу и предложил часовым. Они тоже не отказались.

Задымили.

Я почувствовал облегчение, точно чья-то холодная рука, безжалостно державшая мое сердце, разжалась.

Тут только я заметил, что мои бывшие подчиненные — офицеры, кондуктора, сверхсрочно-служащие — смотрят на меня с завистью, как собаки на хозяина, уничтожающего вкусный обед. Меня даже покорило такое раболепство. На что они еще надеются?

Я сказал:

— Почему же вы не закурите?

Последовал ответ с вежливым наклоном головы:

— Мы с удовольствием, если вы ничего не имеете против.

Меня это взорвало.

— Я сам нахожусь на положении арестанта, как и вы. Между нами никакой разницы нет. Обращайтесь вот к кому.

Я махнул рукой в сторону часовых.

Они ухмыльнулись.

— Кажись, всем дали разрешение курить.

Защелкали портсигары, зачиркали спички.

В глазах засветилась надежда.

Прибежал матрос, что-то пошептал Гасихину на ухо. Тот приказал всем механикам немедленно отправиться с посыльным и назначил к ним двух конвойных. Сначала мы испугались, не хотят ли их расстрелять, но скоро выяснилось все. У нас на зиму некоторые машинные части были разобраны. Машинисты решили на всякий случай привести машину в полную готовность. Кочегары тоже не спали, поднимая пары в котлах. Такая предосторожность мне даже понравилась. Хотелось еще знать, как повстанцы будут действовать в дальнейшем. Корабли стояли на рейде во льдах. Чтобы вывести их в открытое море, для этого прежде всего пришлось бы пустить в ход ледоколы. Приняты ли в этом отношении какие-либо меры?

Мои тайные соображения прервал судовой кок, показавшийся в дверях. Громадный ростом и полнотелый, он представлял собою солидного человека. На нем был парадный наряд: белый колпак и такой же белый, без единого пятнышка, фартук. Он вошел в кают-компанию величаво, словно был нашим шефом, и, бросив взгляд на арестованных, заговорил басовито, медленно, выговаривая слова по-владимирски на о:

— В кают-компании тепло и светло, а их скорезило.

Он повернулся к часовым.

— А я, братва, обед готовлю для всей команды.

Те удивленно посмотрели на него.

— С чего это ты взял ночью обед готовить?

— А чем же отпраздновать нашу удачу? Радость-то какая! Офицерский повар у меня помощником орудует. Ну, и супец же будет! За всю службу такого ни разу вы не едали. По два фунта мяса на человека. Только дай-то нам, боже, чтоб и дальше все было гоже.

— Вот это здорово! — воскликнул один из часовых, восторженно потирая руки.

Кок удалился, важно откинув голову назад, словно производил смотр кораблю.

Прошло еще часа два мучительного ожидания. В отношении нас никаких новых мер не предпринимали. Многие из арестованных сидели на стульях и на диване, другие стояли, привалившись к переборкам. Все молчали. Некоторые часто сморкались.

Мне надоело так сидеть, и я решил заговорить с часовыми. Подавив в себе тоску и отчаяние, я принял шуточный и беспечный тон:

— А ловко же, братцы, вы обставили нас! Моментально завладели кораблем, словно по расписанию.

Один из них промолвил на это:

— В таком деле зевать нельзя.

Минер Гасихин, ухмыльнувшись, обратился ко мне:

— А вы было приготовились отбиваться?

— Собственно говоря, положение было такое...

Он перебил меня:

— Да мы все знаем. Знаем даже, как лейтенант Брасов хотел корабль взорвать, а вы ему запретили. Только все равно не удалось бы ему это сделать.

Последнее сообщение меня поразило. Я смотрел на Гасихина, удивленно открыв рот.

— Вот этого я не ожидал!

— Конечно, не ожидали, потому что вы смотрели на нас, как на серую скотинку.

Я горячо возразил:

— Никогда я не смотрел так на матросов.

А Гасихин продолжал оглушать меня новыми данными:

— Коли так, за это очень благодарны вам. А только скажу еще, что нам известны и все ваши тайные доносчики.

При последних словах некоторые из арестованных унтер-офицеров с'ежились и ниже наклонили головы.

Я сейчас же сделал для себя надлежащий вывод: вот почему на моем корабле до поры до времени все было благополучно. За всю войну не произвели ни одного политического ареста. Наши тайные агенты, будучи известными матросам, становились для них совершенно безвредными, а для администрации — бесполезными. Однако откуда, из каких источников черпала команда такие сведения? Неужели кто из офицеров являлся изменником своей касты? В угарной голове долго и бесполезно билась мысль, стараясь разрешить эту загадку.

В полночь нас стали угощать обедом. Нам прислуживали наши вестовые. Офицерам они принесли суп в медных баках и только для меня одного сделали исключение — подали тарелку, серебряную ложку и салфетку. Суп был наварист, с большим количеством мяса. В то время, как часовые с волчьим азартом уничтожали обед, звучно чавкая и обливаясь потом, у нас было полное отсутствие аппетита, ибо в кают-компании все еще пахло человеческой кровью. И все-таки мы ели, словно обязаны были это делать.

После обеда, по распоряжению Смирнова, мне об'явили, что я могу, если нужно, ходить в свою каюту, строго запретив при этом появляться за пределами офицерского отделения. Боцмана Соловейкина освободили совсем из-под ареста. Обрадовавшись, он гаркнул на это:

— Покорнейше благодарю вас, господа товарищи! Я всецело на вашей стороне. А с командой ругался только для видимости.

— Брось, боцман, глистой извиваться— все равно узнаем тебя,— сказал ему минер Гасихин.

Боцман забожился, уверяя других в своей преданности революции.

А когда я пошел в свою каюту за папиросами, он догнал меня в офицерском коридоре и, высываясь из-за моего левого плеча, заговорил тихим и осторожным голосом:

— Ваше высокоблагородие, я знаю всех зачинщиков и могу все досконально о них доказать.

Я прошипел свирепо:

— Убирайся к чорту! На что мне теперь нужны твои доносы!

Он прошмыгнул вперед меня и, согнувшись, быстро пошагал дальше, в помещения команды.

Меня крайне удивило, что в моей каюте ничего не было тронуту и все лежало на месте. Это служило хорошим признаком. Захватив папиросы, я опять отправился в кают-компанию. Мне захотелось видеть, что делается с другими судами. Ссылаясь на головную боль, я попросился у начальника караула выйти на верхнюю палубу, чтобы подышать несколько минут свежим воздухом. Последовало любезное разрешение. Для сопровождения меня назначили одного часового.

Мы поднимались по офицерскому трапу. Как только голова моя показалась над люком, порывистый ветер плеснул в лицо холодом. Выйдя на верхнюю палубу, я огляделся. На первый взгляд все было попрежнему: эскадра находилась в том же положении, в каком я видел ее днем, лед не тронулся с места и продолжал держать воды рейда в холодных оковах, быстро неслись, как и в прошлую ночь, рваные облака, а между ними, в далекой и темной вышине, дрожали золотые брызги созвездий. Одно только изменилось: на голых мачтах всех кораблей, больших и малых, тяжелых и быстроходных, горели алые огни. И в этом заключалось все—рубеж новой эры, торжество и надежда для одних людей, вопль и отчаяние для других. Правда, вдали чуть виднелась первоклассная крепость, черная и молчаливая. Там, вероятно, все еще не произошло переворота. Может быть, ее тяжелая артиллерия держит всю нашу эскадру под прицелом. Но разве может она остановить необузданный разбег революции?

Я посмотрел на свои башни: все они были повернуты дулами в сторону берега, все орудия были наведены на приморскую железобетонную твердыню. На мостике, около боевой рубки, прохаживались темные фигуры матросов, вскидывая к глазам длинные бинокли. Корабль приготовился к бою. Вероятно, и вся эскадра была на страже.

В стороне от крепости, ближе к нам, мерцали редкие огни города. Туда, шагая по ледяному полю, направлялась большая партия матросов. Они шли на берег, должно быть, за тем, чтобы и там поднять восстание.

В городе у меня остались жена и дочь. Я виделся с ними только вчера. Увижусь ли еще раз? При этой мысли в сердце ударила лихорадка, в глубине души застонала обрывающаяся струна. Я стоял, валожив руки в карманы брюк и чувствуя себя таким одиноким, словно весь мир изменил мне. В трех шагах находился часовой, который при малейшем моем подозрительном движении всадит в меня штык или пулю.

Вдруг я услышал вопли и ругань, заставившие меня повернуть голову в сторону. Это несколько человек тащили на палубу боцмана Соловейкина, а он, упираясь, умолял:

— Братцы, что вы делаете? Отпустите. Чем угодно поклянусь — ничего я не говорил. Спросите хоть у командира...

Чей-то суровый голос отвечал ему:

— Врешь, изменник! Сами слышали.

— Пожалейте, господа товарищи. Двое детей сиротами останутся.

— Об этом нужно бы раньше думать.

Около борта он стал на колени и, не выговаривая больше слов, жалобно замычал быком. Насмешливо подвывала ему ночь в снастях мачт. На мгновение мрак разорвался огненными вспышками. Ветер унес в черную даль револьверные выстрелы и последний крик угасшей жизни.

Кто-то резко приказал:

— Сбрасывай!

И мертвое тело Соловейкина мягко бухнулось о толстый слой льда.

Я посмотрел за борт: там, на остекленевшей поверхности воды, темными пятнами распластались трупы — старшего офицера Измайлова, лейтенанта Брасова, кондуктора Головина и других, неизвестных мне. Может быть, и мне предстоит такая же гибель? Я почувствовал, что в сосудах моих загустела кровь, словно осыпанная снежной пылью.

Над землей висела бредовая ночь. Холодный ветер рвал тьму. На многочисленных реях, излучаясь, покачивались красные огни.

О, Россия! Кто предскажет твое грядущее?

Когда мы спустились вниз, мне разрешили спать в своей каюте.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сделав эту выписку из старой тетради, я подумал: как странно все происходит на свете. В ту безумную ночь, когда вместе с другими восставшими и наш флот перевалил через порог тысячелетия, мнилось мне: с гибелью правящего класса, родина, словно поезд, полетела под откос. С тех пор прошло более восьми лет. И оказалось — Россия не только не провалилась и никуда не пропала, а продолжает с каждым годом крепнуть. Были ошибки на ее бездорожно-ухабистых путях, есть они и теперь, но сама жизнь вносит свои поправки.

Помню, какой ужас тогда наводили на меня красные флаги. А теперь я смотрю на них, как и на все новые порядки, совершенно

спокойно. Правда, осталось немало людей, которые до сих пор не могут примириться с фактом революции. Они шипят и злобствуют втихомолку, про себя, но от этого никому ни жарко, ни холодно. Жизнь проходит мимо них.

Взять моего родного дядю, адмирала Подгорного. Он и его супруга, Варвара Васильевна, случайно остались живы — революция пощадил их. Я иногда захожу к ним. В то время, как сыновья неплохо устроились на советской службе — один доктором, а другой инженером, — старики коротают свои жалкие дни. Они все время сидят у себя дома, как затворники, и дальше своей уборной никуда не ходят. И это продолжается уже несколько лет. Оба высохли, оба пожелтели, сморщились, как печеное яблоко, — живые мумии, но никак не сдаются.

Однажды, по просьбе сыновей, беспокоившихся о своих родителях, я попробовал уговорить их пойти со мною в театр.

Дядя гордо откинул голову и, глядя на меня поблекшими глазами, сердито проскрипел:

— Что? В театр? Идиотские пьесы смотреть? Да за кого вы, милостивый государь, меня принимаете?

Я мягко возразил:

— Гоголевского „Ревизора“ ставят.

— Наплевать мне на то, что ставят. Эти разбойники, вероятно и Гоголя испохабили так же, как испохабили всю жизнь.

— Напрасно вы так думаете, дядя.

— Не думаем, а знаем.

— Ну, пойдемте погулять на улицу или к реке.

Он задрожал весь, нелепо размахивая руками, и с дергающейся гримасой на лице выпалил:

— Не желаем мы советским воздухом дышать.

Жена добавила, шамкая бевзубым ртом:

— Да, да. И не желаем смотреть на поганые лица. Если вы, Василий Андреевич, обольшевичились, — это еще не значит, что и все потеряли совесть.

Кончилось тем, что мы рассорились.

Я удивляюсь их упорству: до сих пор они продолжают сидеть в четырех стенах своей комнаты, как прокаженные. Единственное утешение находят себе в чтении старых французских романов. Книги Шатобриана стали для них то же, что евангелие для верующих христиан. И еще, как рассказывали мне сыновья, иногда по праздникам дядя наряжается в свой адмиральский мундир с черными орлами на золотых эполетах, прицепляет к груди медали и кресты, подвешивает кортик с боку, на голову надевает фуражку с кокардой. В таком облачении он подолгу стоит перед зеркалом, любуясь на свое отражение, или часами прогуливается в комнате, словно на мостике корабля, — прогуливается с мрачным видом, словно намереваясь отдать боевой приказ по эскадре. Время от времени он произносит одну и ту же фразу:

— Еще Наполеон сказал, что, если в России выпадут два-три майских дождя — она непобедима.

Жена в таких случаях, обращаясь к нему, величает его:

— Ваше превосходительство...

В общем они напоминают мне людей, которые хотят заскрипеть зубами, забывая, что у них зубы поломаны.

* * *

А вот другая сторона жизни.

После переворота на корабле, я перешел на сторону революции и потом три года сражался против белых за утверждение нашей молодой республики. Что меня толкнуло на это, я до сих пор не могу по совести разобраться: желание послужить новой России или же скрытая трусость перед страшной силой поднявшихся народов. Во всяком случае воевал я честно и храбро, не переставая внушать самому себе мысль, что это нисколько не противоречит моим убеждениям. Вместе с матросами я прошел через трагедию и смерть.

За это время я очень сдружился с радио-телеграфистом Смирновым. Савелий Арсеньевич — так зовут его — начал часто бывать у меня на квартире. Чем больше я узнавал его, тем сильнее проникался к нему уважением. Этот выходец из деревни Харитоновки, одной из северных губерний, оказался на редкость способным самородком. Он кончил у себя на родине всего лишь церковно-приходскую школу, а затем, поступив на службу в военный флот, прошел классы для радио-телеграфистов. На этом и закончилось его образование. Дальше черпал знания из книг. Но сколько энергии отпустила природа на его долю! Я не раз слышал его, когда он выступал с речами на собраниях. Своей пламенной верой в революцию он мог заразить самых отсталых и колеблющихся матросов и заставить их совершать героические подвиги. Во всех трудных обстоятельствах разбирался быстро, все его предложения были практичны. Заделявшись комиссаром, он с отвагой, доходящей иногда до безумия, защищал Советскую власть.

После Октябрьской революции начались гонения на офицеров, в особенности, когда разразилась гражданская война. Многие из них заплатились своими головами. Время это было жестокое, мутное, связанное с всеобщей разрухой, с иностранной блокадой, с голодом и кровью.

Обрушилось несчастье и на мою семью.

Но об этом я лучше сделаю выписку из своей старой тетради.

Красные арестовали моего зятя, Клавдина мужа, лейтенанта Богданова. Это был хороший офицер, по-своему честный, но, конечно, он никак не мог принять революции. Он женился на моей дочери в начале шестнадцатого года. Это был брак по взаимной любви. Дочь

моя относилась к своему мужу с величайшей нежностью и считала себя счастливой женой. Поэтому арест Богданова был для нее оглушительным ударом, тем более, что ему грозила смертная казнь. Она переживала трагедию молча, без слез, стиснув зубы, и таяла с каждым днем. На квартире у меня воцарился ужас. Я уходил из дома разбитым человеком.

Однажды я обратился к Смирнову, прося его лишь об одном — спасти зятя от расстрела. Комиссар сразу насторожился. Сирые глаза, взглянув на меня, сверкнули холодным лезвием. В голосе прозвучала неумолимость:

— Если мы будем разбиты, ваш лейтенант Богданов первый поставит меня к стенке.

Волнуясь, я горячо заговорил:

— Этого никогда не будет. Я бы не стал к вам обращаться с такой просьбой, если бы не дочь. Посмотрите на нее — она погибает...

Он круто оборвал меня:

— Давайте лучше прекратим ненужный разговор об этом.

Смирнов стал бывать у меня реже.

Как-то, после долгого промежутка, в один из сумрачных осенних вечеров он завернул ко мне. Жены моей дома не было. Мы с дочерью угощали его морковным чаем и горячей картошкой с полугнилой воблой. В черной кожаной куртке, в кожаных штанах, с револьвером в кобуре, прицепленном к поясу, он сначала произвел впечатление сухого и черствого комиссара. Потом выражения лица его изменились, стали мягче, человечнее. Сидя за столом, он, как всегда, немного терялся, неумело работал вилок и ножом. Клавдия сидела против него, по другую сторону стола, — бледная и скорбная, в гладкой прическе темных волос. Разговаривая со мною о фронтах противника, нападающего на Советскую Россию, он изредка поглядывал на дочь. Наконец, заговорил с нею:

— Простите, Клавдия Васильевна, я хотел вам предложить пройтись со мною на одно собрание. Кстати, посмотрите наш новый клуб. Вам нужно хоть немного отвлечься от своего горя.

Это было сказано искренно, дружеским тоном.

К моему удивлению, дочь охотно согласилась на это и начала одеваться.

Вернулась она поздно ночью.

Я спросил:

— Ну, что — понравилось тебе в клубе?

Она отозвалась с восторгом:

— Я очень довольна, что пошла. Выступал с речью и Савелий Арсеньевич. Папа, я не представляла себе, что он так хорошо умеет говорить.

— Да, это замечательная личность, — подтвердил я.

С этого вечера она стала чаще уходить с Смирновым на разные собрания. Мать забеспокоилась, когда узнала об этом.

— Слушай, Базиль, как это ты позволяешь такие выходки?

— Что? — спросил я.

— Дочь наша кончила институт благородных девиц, а этот комиссар простой матрос. Что общего может быть между ними? И она куда-то ходит с ним. Ты что-нибудь понимаешь в этом?

— Понимаю.

— Ну?

Я пѣшутил:

— Революция произошла.

Жена рассердилась, впиалась в меня черными глазами.

— Боже мой, какие ты глупости говоришь! Ты окончательно потерял рассудок. Делайте вы перевороты на кораблях, в дворцах, воюйте со своими людьми, безобразничайте, сколько вам угодно. Но у себя дома, в своей квартире, в своей семье я не позволю этого...

А я, зная честность и благородство Смирнова, только радовался тому, что дочь моя ведет с ним знакомство, Клавдия ожила, повеселела, большие серые глаза снова заискрились. Я объяснял это тем, что муж ее, вероятно, не будет казнен. Может быть, тот же Смирнов сообщил ей об этом. Так или иначе, но я уже не боялся за Клавдию — жизненный инстинкт брал свое.

* * *

Прошло три месяца.

Зима стояла суровая — с крепкими морозами, с завывающими метелями. Мрак и запустение царили в нашем городе. Трубы фабрик и заводов давно уже перестали дымить в небо. Пролетарии большею частью были брошены на бесчисленные фронты в помощь красноармейцам и краснофлотцам, другие ушли в административные дела, а остальные распозались по селам и деревням, чтобы осесть там на земледельческие работы. Исчезли и все извозчики. Обезлюдилась многие дома и стояли они, угрюмые, зияющие глазницами разбитых окон. Дикую картину представляли собою улицы, занесенные сугробами, с бесконечными очередями у казенных складов, с пешеходами, таскающими на себе пайки, вязанки дров и всякую рухлядь, с самодельными санками, в которые, вместо лошади, запрягался сам человек. Торговля прекратилась. Только на некоторых рынках собирались горожане, рискуя попасть в облаву: несли туда мебель, платья, дорогие чайные сервизы, хрустальные графины, серебряные подносы, чтобы обменять это у крестьян на картошку, брюкву, капусту, на подозрительное мясо. У кого заводились бумажные деньги, падающие в цене с каждым днем, тот старался как можно скорее избавиться от них, словно от язвы. По ночам город погружался во мрак. Все жители прятались в своих каменных клетках, как звери в берлогах, и грелись у маленьких печек, ощущая в желудке тошнотворную пустоту. Перед многими семьями стоял лозунг: спасайся, кто как может.

Меня часто грызли сомнения: зачем затеяли всю эту чепуху? Иногда казалось, что мы бредем с завязанными глазами к какой-то жуткой

пропасти. Порой я приходил в отчаяние и готов был пустить пулю в лоб. Быть может, я только потому этого не сделал, что наши контр-революционеры находились под руководством иностранных войск. Последние уже хозяйничали на окраинах России, как полные господа. Это возбуждало во мне ненависть и заставляло действовать с оружием в руках против тех, кто поднимался на Советскую Республику.

Было безрадостное воскресенье. Я вернулся домой рано утром, застав своих за скудным завтраком. Дочь по обыкновению встретила меня ласково. Но за столом я заметил, что она была чем-то взволнована. Избегала встречаться взглядом со мною. Бледная, с краснотой в глазах, она производила впечатление, как будто не спала всю ночь.

— Что с тобою, Клавдия?

— Ничего. Немножко нездоровится.

Я встревожился.

— Может быть, к доктору обратиться?

— Пустяки. Пройдет.

А после завтрака, когда жена стала мыть чайную посуду, Клавдия порывисто встала, несколько раз прошлась по столовой и, повернувшись к нам, решительно заговорила.

— Папа и мама, вы знаете, как я люблю вас. Мне не хотелось бы огорчать вас. Но я должна сказать вам правду..

У меня похолодело в груди. Мать, держа в руках чайный стакан, вскинула на дочь испуганные глаза и застыла. Клавдия стояла перед нами, выпрямившись, стройная, повторившая в себе мой бывший облик молодого мичмана.

— Клаша, что это значит?—прорвалось, наконец, у матери.

В свою очередь и я спросил:

— Что случилось, дорогая?

Помедлив, она заговорила:

— Я очень благодарна вам за вашу родительскую заботу обо мне. Но я стала взрослой и самостоятельной женщиной. И я думаю, что вы не мешаете мне устраивать мою жизнь по-своему.

Мы воскликнули в один голос:

— Клаша, мы всегда предоставляли тебе полную свободу. В чем дело?

Отчеканивая каждое слово, она произнесла:

— Я выхожу замуж.

Мать смотрела на нее, не мигая, и, казалось, все усилия делала только на то, чтобы поймать открытым ртом воздух, а я сурово продолжал допрашивать:

— То-есть, как замуж?

— Скажу больше: я уже вышла замуж.

Сердце мое готово было разорваться от страшной догадки, но я почему-то начал обманывать самого себя и мягко подсказал:

— Знаю. И твой муж, лейтенант Богданов, сидит в тюрьме, ожидая смертной казни.

— Не беспокойтесь, дорогой папа, он не будет казнен.

— Очень рад,— прохрипел я.

А она, сообщая дальше, словно топором разрубила мне грудь:

— Мой новый муж — Савелий Арсеньевич Смирнов.

Казалось, стены нашей квартиры насторожились. На мгновение стало тихо. Вдруг что-то звонко так треснуло, что я вздрогнул. Это выпал стакан из рук моей жены. Вслед затем она ахнула и повалилась со стула. Я сначала ошалело заметался по комнате, а потом дочь помогла мне уложить мать на диван. Мы долго возились с нею, вспрыскивая водой, пока не привели в чувство.

Жена взглянула на Клавдию удивленно, и сейчас же в глазах ее отразился страх, словно она увидела невыразимые ужасы. Поднявшись, она спустила ноги с дивана. Лицо приняло выражение отчаяния и ярости, а губы быстро задвигались, произнося какие-то стонущие и свистящие звуки. Наконец, она разразилась истерическим хохотом.

— Надя, что с тобой? — испуганно спрашивал я жену и тряс ее за плечи.

Опомнившись, она начала выкрикивать:

— Базиль, Базиль! Наша дочь, наша благородная институтка, сошлась с матросом. А муж к смерти приговорен. Может быть, его сейчас ведут на казнь. Что за безумие такое...

И самому мне казалось, что Клавдия совершила неслыханный позор. Своим поведением она осквернила не только своих родителей, но весь наш род. Где прежние моральные устои? Революция смыла их, оставив для нас лишь мрачную пустоту. Я посмотрел на дочь: она, опустив ресницы, стояла неподвижно, с тупой усталостью на лице, точно слова матери не доходили до ее сердца. Меня охватывало бешенство, но я сдерживал себя, не теряя надежды, что можно еще уладить дело.

Дочь стремительно бросилась к матери и, опустившись перед нею на колени, застонала:

— Мама, не надо так убиваться. Успокойся. Ничего особенного не случилось. Я счастлива...

Мать оттолкнула ее и, переплетая слова с рыданиями, заговорила:

— Отойди! Я не могу больше смотреть на тебя. Ты стала развратницей. А твой поганый матрос — хам, вор! Он ограбил мою жизнь... Он украл мое сердце...

Дочь, вскочив, отступила на несколько шагов. По ее бескровному лицу пробежала судорога. В серых глазах отразилось уязвленное самолюбие. Резко зазвучал грудной голос:

— Мама, если ты не хочешь окончательного разрыва со мною, — опомнись и не говори так.

Жена, не слушая, твердила свое, обращаясь уже ко мне:

— Я тебе говорила, Базиль, чтобы ты запретил дочери гулять с этим негодяем. Вот тебе результаты! Он внедрился в нашу жизнь, как разбойник... Растоптал все наши надежды...

Клавдия тоже повернулась ко мне.

— Папа, запрети ей так отзываться о Смирнове. Ты сам мне рассказывал, как он спас тебе жизнь во время переворота на корабле. Кроме того, он не только мне муж — он отец моего будущего ребенка...

Жена зажала уши и, свалившись на диван, зарыдала еще сильнее.

Я понял, что все пропало. Темная волна оскорбления залила мой мозг. Поведение дочери походило на предательство. Хотелось броситься к ней, обрушить кулаки на ее распутную голову, но такие меры в нашем быту не применялись. Кровь шумела в ушах. У меня было такое ощущение, как будто продырявили мне душу.

Клавдия оделась в зимнее пальто и, не сказав ни слова, вышла на улицу.

Я долго сидел около рыдающей жены, утешая ее, а в мозгу горел неразрешимый вопрос: как все это случилось? Я понимал офицерских вдов: поднявшаяся голь обобрала их имущества, казенных пайков не хватало, нечем стало жить. Как железными тисками, их сдавливал голод и доводил до такого состояния, когда каждая клетка организма кричала только о пище. А в это сумасбродное время матросы находились в привилегированном положении, имея такие драгоценные предметы, как хлеб, сало, консервы, сахар. И офицерские вдовы, доведенные до помрачения ума, выходили замуж за убийц своих мужей или заделывались их любовницами. Я несколько не осуждал их за это. Но у моей дочери положение было иное. Я служил в Красном флоте, откуда получал достаточно продуктов. Что же случилось? Неужели поступок ее можно объяснить испорченностью натуры?

Над городом нависло серое небо. В воздухе белой мошкаррой кружились мелкие снежинки. Дома казались усталыми.

Клавдия на ночь не вернулась.

* * *

На второй день я не пошел на службу, сославшись на болезнь.

К нашему дому подкатил грузовой автомобиль. В квартиру вошли матросы. Поздоровавшись, они подали мне записку от дочери. Она просила переслать ей некоторые ее вещи, но я выдал матросам все, что принадлежало Клавдии. Ребята снесли добро на автомобиль и снова вернулись.

— Еще что-нибудь нужно? — спросил я.

Один из них бойко ответил:

— Да, товарищ командир. Надо бы из мебели кое-что. А то у наших молодых супругов — кругом бегом и не зацепишься.

Другой добавил:

— Поимейте, папаша, в виду и насчет посуды.

Удрученный горем, я ответил машинально:

— Пожалуйста, забирайте, сколько найдете нужным.

Через несколько минут за окнами, запушенными снегом, раздались гудки отъезжающего автомобиля.

Целую неделю я безуспешно бился над тем, чтобы понять свою дочь. Поведение ее трудно было объяснить какою-либо распущенностью: раньше я этого не замечал в ней. А с другой стороны — какие еще могли быть мотивы, заставившие ее бросить страдающего мужа и сойтись с матросом? Любовь к новому человеку? В это я тоже плохо верил. Так или иначе, но мой душевный мир настолько был нарушен, что я нигде не находил себе покоя. Приступы бешенства сменялись непомерной усталостью. Наконец, я не выдержал и решил повидаться с Клавдией.

Когда я пришел к ней, Смирнова как раз не было дома. Увидев меня, она очень обрадовалась и попрежнему кинулась целовать меня.

— Папа! Как это хорошо, что ты пришел. Ты, значит, не считаешь меня отверженной дочерью?

Слезами радости оросились ее красивые глаза.

Я уселся на стул.

В углу просторной комнаты топилась маленькая железная печка. На ней стояли какие-то кастрюли. Пахло соленой рыбой.

— Давай, Клавдия, поговорим спокойно и откровенно.

— Я никогда, папа, не лгала тебе.

— Тем лучше. Конечно, я не считаю тебя отверженной дочерью.

Но я никак не могу понять того, что ты изменила лейтенанту Богданову. Он и без этого переживает страшную трагедию. Ведь, когда-то ты любила его?

Клавдия утвердительно кивнула головой.

— А теперь?

— Полюбила другого.

— Так сразу?

Она без колебания заявила:

— Да, так сразу и настолько сильно, что я не расстанусь с ним. Если потребуется, я поеду с ним в его деревню Харитоновку и буду картошку копать. Должна еще прибавить — я полюбила не только Смирнова, но и ту новую жизнь, за которую он борется.

Несмотря на ее решительный тон, у меня явилось подозрение: не хочет ли она принести себя в жертву ради спасения своего первого мужа? Я сейчас же решил проверить это, заговорив осторожно:

— Мне казалось, что лейтенант Богданов в отношении тебя был преисполнен самого возвышенного благородства.

Клавдия глубоко вздохнула.

— Я тоже раньше так думала.

— А потом?

С минуту она сидела молча, опустив ресницы, словно не решаясь в чем-то признаться мне. Лицо ее приняло такое выражение, как будто она думала об отвратительных вещах. Сделав над собою усилие, она заговорила:

— Я недавно встретила на улице с Ариной. Помнишь—в шестнадцатом году она жила у меня прислугой? От нее я кое-что узнала о благородстве Богданова. Когда я три месяца лежала в больнице, борясь со смертью, он в это время сошелся с Ариной. В результате она забеременела от него. Он уговорил ее не поднимать скандала и дал ей двести рублей. Она мирно ушла от нас. Сейчас у нее дочь растет—третий год пошел. Как видишь, у Богданова есть другая семья...

Последние слова она произнесла подчеркнуто сухо.

Я был изумлен ее открытием. Все дело представилось передо мною в другом свете. Против лейтенанта Богданова задрожало негодование. Это он толкнул мою дочь на гибель.

Гудела железная „буржуйка“. Что-то хлопотало в кастрюле. В комнате было жарко.

Я спросил:

— Значит, таким образом ты отомстила своему первому мужу?

— Нисколько. Даже не думала об этом. Я просто полюбила Смирнова. Иначе говоря, я поступила, как повелело мне мое сердце, которое я унаследовала от своих родителей. И теперь я нисколько не раскаиваюсь в этом.

Мы поговорили еще, и я простил мою любимую дочь. Но это не означало, что я избавился от тревоги за нее. Силою воли я скрутил самого себя в тугой узел, чтобы не размочалиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

То мучительное горе, которое я когда-то спрятал в глубь души, через несколько лет расцвело величайшей радостью. Теперь я смотрю и на свою дочь и на второго зятя совершенно по-иному. Клавдия, пожалуй, поступила мудро, избрав себе мужем Смирнова.

За это время, обладая природными способностями, он настолько умственно развился, что считается крупным общественным работником. Беседуя с ним, трудно даже предположить, что это бывший малограмотный крестьянин из деревни Харитоновки, а затем матрос, находившийся в моем подчинении. Он стал в полном смысле интеллигентным человеком. Я не могу относиться к нему без уважения, хотя и не разделяю многих его взглядов на жизнь. Если считать попрежнему, он занимает адмиральский пост.

Дочь моя является ближайшей помощницей во всех его общественных делах. Под влиянием мужа она окончательно отрешилась от прежнего мира. Про нее тоже нельзя сказать, что это бывшая дворянка, кончившая институт благородных девиц. Это новая женщина, рожденная революцией. При встрече со мной она беседует о восстановлении фабрик и заводов внутри страны, о женотделах, о международной политике с таким же увлечением, с каким говорила раньше о новых парижских модах.

Из своих наблюдений я вижу: он, подтянувшись, приобрел некоторый внешний лоск, а она, отказавшись от многих своих прежних аристократических привычек, опростилась. И получилась на редкость гармоничная пара. Живут хорошо.

У них двое детей: Борис, шести лет, и Тоня, трех с лишком лет. Мальчик похож на отца—синеглазый, полнокровный, с настойчивым характером. Девочка с матовым цветом лица, в темно-русых кудряшках, резвая и веселая—вылитая Клавдия в детстве. Жена моя до сих пор относится к ним с холодной сдержанной официальностью, не вызывая любви к себе, а я смотрю на них и не нарадуюсь: соединение дворянской крови с мужичкой дало прекрасные результаты. Я часто бываю у них, и для меня самые счастливые часы, которые я провожу вместе с внучатами.

Смирнов выписал из деревни Харитоновки свою мать, Афросинью Матвеевну. Это—бойкая женщина, лет шестидесяти, отлично сохранившая свою здоровье. Не обращая внимания на городскую обстановку, она продолжает ходить в сарафане, в простых башмаках, на голове—повойник, обтянутый темным платком с белыми крапинками. С внучатами она обращается так умело, что они привязаны к ней больше, чем к матери. У нее всегда найдутся для них простые и ласковые слова, доходящие до детского сердца. Мало того,—и Клавдия относится к ней, своей свекрови, с большой любовью, называя ее при обращении не иначе, как „мамой“.

Недавно жена моя уезжала на дачу к знакомым с ночевкой. Мне было скучно. Я позвонил по телефону к дочери, чтобы прислали ко мне внучат.

Вот что я записал в свою тетрадь в тот вечер.

Детей привела Афросинья Матвеевна.

Тоня в коротеньком платье, с красной лентой в кудряшках, увидев меня, радостно взвизнула:

— Дедуска, дедуска! Я тебе плинесла цветов, а Болька—валенья! И бросилась обнимать и целовать меня.

Борька в матросском костюме, держа фунтовую банку за спиною, хотел, очевидно, сделать мне сюрприз, но Тоня помешала ему. Нахмурившись, он недовольно проворчал баском:

— Дергают тебя за длинный язык.

Я взял от него подарок и поставил на стол, а самого внука высоко поднял на руках.

— Спасибо тебе, Борис Савельевич, за гостинец. Давно я чай не пил с вареньем.

Напускная хмурь сползла с его загорелого лица—он сразу просветлел.

Потом Афросинья Матвеевна, улыбаясь, протянула мне корявую руку.

— Здравствуйте, сваток.

— Здравствуйте, дорогая свашенька. Присаживайтесь. Сейчас чем-нибудь угостимся.

— Спасибо.

Опрятная, в новом сарафане, в начищенных башмаках, она выглядела по-праздничному.

Дети наперебой рассказывали мне о своих впечатлениях — что случилось дома и что видели дорогой, пока шли ко мне.

Наконец, мальчик серьезно заявил мне:

— Дедушка, я больше не хочу быть пожарным.

— Почему же это ты, товарищ Смирнов, вдруг решил отказаться от прежней профессии? — спросил я не менее серьезно.

Синие глаза загорелись детской мечтой.

— Хочу на инженера махнуть. Корабль устрою самый большой. Ты будешь на нем за капитана, а я буду машиной управлять. Мы наберем сто матросов, еще сто и еще. И поплывем далеко, далеко — по всем морям. И бабушку возьмем с собою. А папу и маму оставим. Им некогда: они все с портфелями бегают.

Тоня, вскинув голову в кудряшках, живо спросила:

— А меня возьмете?

Борис важно ответил:

— Не будешь капризничать — возьмем и тебя.

— Нет, Болька, никогда не буду. Знаешь что, Болька? Я буду всех чаем угощать и обедом. Ведь, плавда, дедуска?

— Совершенно верно, — подтвердил я, обнимая Тоню.

Она спрятала лицо в мою седую бороду.

Сваха покачала головой, выговаривая нараспев:

— Ну, и выдумщик, оголец! И чего только не наговорит!

Некоторое время спустя, внучат угостили чаем и пирожным. Довольные они отошли в угол столовой. Борис, разложив прямо на полу чистый лист бумаги, рисовал на нем корабль и, фантазируя, много болтал. Тоня внимательно слушала его и вставляла вопросы. А мы со свахой продолжали сидеть за столом, опрокидывая по маленькой „русскую горькую“ и закусывая. После трех рюмок она повеселела и стала словоохотливее.

Я решил спросить у нее.

— Как, свашенька, — довольны вы своей снохой?

Улыбаясь, она собрала вокруг глаз сеть мелких морщин.

— И не стоит спрашивать об этом, сваток. Сами, поди, видите. Мне остается только бога благодарить. Послал он мне, наш создатель, на старости лет утешеньце. Где еще такую сноху сыскать? Чтолицом, что умом, что приветливостью — тут уж ничевохоньки против не скажешь. Да-а...

Она говорила неторопливо и певуче, вкладывая в голос всю нежность любвеобильного сердца.

— Нужно мне спросить у вас, сваток: довольны ли своим зятком? Хоть и до учености достукался он и на самокате раз'езжает, а вышел-то из простых людей.

Я ответил:

— Раз моя дочь счастлива, то у меня нет никакого основания быть недовольным зятем.

Она радостно подхватила:

— Да, сваток, живут они дружно — всем на зависть. Нерасстаная парочка. Как придут домой — гуторят не нагуторятся. И слова-то у них все мудреные — не понять их мне.

Мы опорожнили еще по одной рюмке за наших молодых супругов. А потом приступили к чаю. Сваха пила чай из блюдца, звучно хлебывая. В промежутках рассказывала о сыне:

— Вторым он родился у меня. Первый — того Степаном зовут — тоже не плохой парень. Только тот больше по хозяйству пошел. А этот, Савелий-то, с малых лет все грамоту нюхал. Бывало за три версты на село к учительше бегал за книжками. В поле поедет — обязательно книжку с собой прихватит. Зачитается, а работа стоит, сама не сдвинется с места. Покойник отец, царство ему небесное на том свете, допытается — сейчас же за волосы сына и ну его возить. Дело наше крестьянское — нужда во всем. Чего только отец не придумывал? И честью просил сына бросить эту окаянную грамоту, и колотил его, и самолично грозился учительше этой самой ребра поломать. Ничего не помогало. И стал Савелий вроде как в задумчивость впадать. А я, бывало, гляжу на него и слезы горькие глотаю. Ну-ка, думаю, да собьется парень совсем? Эх, кому свое дите не жалко! А вышло совсем не так: через книжки-то эти, может и в разум вошел он, Савелий-то. Вот оно, сваток, как бывает на свете: не узнаешь, откуда счастье придет, откуда — горе...

Сваха, замолчав, стала наливать чай в стакан.

Я задумался над человеческой судьбой.

Вдруг Тоня с плачем бросилась к бабушке.

— Что с тобой, внучка?

Девочка, рыдая, жаловалась:

— Болька не хочет меня на мостик пускать.

— На какой мостик?

— Когда поплывем на палоходe. И назвал меня глупой девочкой.

Бабушка, качая головою, заговорила укоризненно:

— Ах, он, пострел этакий! Ах, окунь красноперый! Да как он смеет сестричку обижать? Да я ему больше ни одной сказки не расскажу.

Она обняла Тоню и погладила по головке.

— Ну, уймись, моя ненаглядная крошечка. Разве плачет когда-либо звездочка на небе? Она только улыбается.

Тоня крайне удивилась такому неожиданному сравнению.

— Бабушка, и я больше не буду плакать.

На ресницах ее еще дрожали росинки слез, а серые глаза, глядя на доброе лицо пожилой женщины, начали уже улыбаться.

— А ну-ка ты, василек синеглазый, подь-ка сюда.

Борис топорщится петухом, но все-таки приближается к бабушке нехотя, как-то боком.

— Я тебе разве не рассказывала сказку, как брат сестричку любил?

— Нет, — протянул Борька.

— Ах, я старая! Забыла, значит. Ну, сегодня вечерком напомни мне. Уважу я тебя, птенчик мой милый.

Борис запрыгал на одной ноге в угол столовой, где у него были разложены рисунки корабля.

Тоня бросилась к бабушке на колени, обняла ее и пролепетала:

— Бабушка, я тебя люблю больше всех.

Потом полезла ко мне на колени.

— Дедуска, а тебя я люблю крепче всех.

Тоня спрыгнула на пол, несколько секунд смотрела то на бабушку, то на меня, озаренная вся какой-то новой мыслью. И вдруг с настойчивостью начала просить меня, чтобы я сел рядом с свахой. А когда я исполнил это, девочка снова залезла к нам на колени, обняла бабушку и меня за шею и прижала к себе так, что наши головы соприкасались. Серебряным бубенчиком зазвенел, лаская слух детский голос:

— Я вас обоих крепче люблю...

Раньше, до революции, когда на моих плечах красовались золотые погоны капитана первого ранга, а грудь была увешана орденами, я пришел бы, вероятно, в ярость от такой близости к свахе. А теперь это несколько меня не унижало. Наоборот, я сам смеялся, — смеялся просто и откровенно, без всякой официальной натянутости, охваченный таким радостным настроением, как будто душу мою посыпали яркими лепестками...

Да, я счастлив тем, что пустил глубоко корни на земле в лице своих милых внучат.

Раз я затронул свои семейные отношения, то нельзя еще не упомянуть и о первом моем зяте.

Конечно, лейтенант Богданов не был казнен. Я думаю, что он избавился от смерти только благодаря Клавдии. Из тюрьмы его перевели в концентрационный лагерь, где он оставался до тех пор, пока продолжалась гражданская война. Выйдя на свободу, он ни разу не явился ни ко мне ни к моей дочери, словно мы никогда и не были роднею. Как он отнесся к тому, что жена бросила его и вышла замуж за матроса, иначе говоря, за его кровного врага — я не знаю. Могу только догадываться, что он, вероятно, пережил глубокую драму. Может быть, это обстоятельство и заставило его так быстро исчезнуть с нашего горизонта. Четыре года мы не имели о нем никаких сведений. Наконец, наш общий знакомый, бывший капитан второго ранга, показал мне под секретом письмо от Богданова. Оказалось — он поселился на одном из островов Ледовитого океана, женился на самодежке и занимается промыслом: летом ловит рыбу, а зимой бьет зверя.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я только после революции убедился, что мы, правящий класс, не знали свой народ ни с хорошей, ни с плохой стороны. Для нас многомиллионная масса людей представляла собою, по выражению Лескова, „продукт природы“ и ничего больше. Как работали они, как жили, о чем мечтали, какова внутренняя сущность была у них—мы никогда не задумывались об этом. Нам важно было только то, что они повиновались нам и сколько, в случае войны, мы могли бросить на фронт боевых единиц. Вот почему впоследствии, когда наступило время расплаты за наши грехи, многим из нас показалось, что началось страшное светопреставление.

Мне хочется еще раз вернуться к прошлому, к марту 17 года, и привести один эпизод, занесенный когда-то на страницы моей старой тетради.

После переворота на кораблях, на второй день, утром, произошло восстание в городе и крепости. Таким образом смертельная угроза, висевшая над нашей эскадрой, была устранена. Революционеры теперь чувствовали себя прочно.

Нужно было решить участь арестованных. В отношении унтер-офицеров и сверхсрочно-служащих, которыми старший офицер Измайлов когда-то пользовался, как тайными агентами, никаких колебаний не было: под усиленным конвоем их отправили в тюрьму. Напрасно они клялись в своей невинности, просили пощады—матросы были неумолимы. К ним присоединили и трех офицеров, отличавшихся жестоким обращением с командой. На судно никто из них больше не вернулся. Остальных всех арестованных, кроме меня, освободили. Со мною, после долгих споров, поступили по-иному.

Несколько дней тому назад или даже только вчера на корабле была дисциплинированная команда, очень послушная. Можно было гордиться ею. Я мог построить ее по отделениям или по-вахтенно. Каждое мое распоряжение исполнялось точно и быстро. Стоило мне сказать только два слова:

— Боевая тревога.

Сейчас же по всему судну затрещали бы условные электрические звонки и через какую-нибудь минуту-две каждый матрос, согласно судового расписания, стоял бы на своем месте, готовый к дальнейшим действиям. То же самое случилось бы во время пожарной тревоги или водяной. Словом, корабль представлял собой очень сложный организм, управляемый из боевой рубки, как из черепной коробки, единой и непоколебимой волей,—моей волей.

И вдруг все это разом рушилось, словно все мои подчиненные заразились микробами, возбуждающими безумие.

Теперь я находился в жилой палубе, возвышаясь надо всеми на шорокинутом ящике. Справа и слева около меня стояли два матроса,

вооруженные винтовками. Напротив меня, на расстоянии трех метров, были опрокинуты еще два ящика: на одном стоял старший радио-телеграфист Смирнов, выполняя роль председателя суда, а на другой попеременно всходили то обвинитель, то защитник мой, выделявшиеся из матросской среды. А затем—нас окружала плотная стена из человеческих тел. Это было сборище, состоявшее из полутора тысяч матросских голов, при чем каждая из них являлась для меня тайной, как чужая шифрованная телеграмма. Голоса сливались в один гул, пока что сдержанный, похожий на отдаленный ропот моря.

Началось с того, что радист Смирнов, погасив взмахом руки говор людей, обратился ко мне:

— Господин командир Виноградов. Команда обвиняет вас в том, что вы являетесь приверженцем царского режима. Признаете ли вы себя виновным?

В жилой палубе было светло от электрических ламп. Лица моих судей казались бледными. Ожидая ответа, все смотрели на меня молча. Только гудели вентиляторы, как потревоженные шмели в гнезде. Против меня стоял Смирнов в черном бушлате на распашку, с красной лентой в петличке. Повидимому, он чувствовал себя неловко, волновался, закусывая нижнюю губу.

Стараясь быть как можно спокойнее, я сказал:

— Может быть, я являлся приверженцем старого строя, пока существовала известная система государственного правления. Иначе и не могло быть. Я полагаю, что такими же защитниками были и все собравшиеся здесь, исключая нескольких человек.

Кто-то из толпы воскликнул сердито:

— Ого!

Тут же я услышал другой голос:

— Правильно!

Председатель посмотрел на меня одобрительно, словно был доволен моим ответом, и, обращаясь к команде, спросил:

— Кто выступит обвинителем?

В толпе поднялась рука. Через минуту, протолкавшись вперед, взошел на трибуну матрос, небольшой и худощавый. Лицо его с оттопыренными ушами и маленькими черными глазками напоминало летучую мышь. Встретившись со мною взглядом, он сконфузился и потерял уверенность в себе.

— Говори, Чижиков,—приободрил его председатель.

— Товарищи!—начал он дрожащим голосом, словно сильно прозяб.—Нас всех мытарили. Мы терпели... Вот я и говорю: командир, как есть его высокоблагородие, должен отвечать нам теперь. Пусть пострадает... Товарищи... Его высокоблагородие...

Он запнулся и стоял с растерянным видом, безмолвно шевел губами.

Кто-то посоветовал ему:

— Иди, браток, сначала закуси, а потом кончишь.

— Не перебивай оратора!—раздался голос из толпы.

— Да он сам замолчал. Голова у него, как худой карман,—все слова растерял.

Чижиков сошел с трибуны, сопровождаемый смехом.

Его сменил машинный квартирмейстер, широкоплечий малый, с светлыми козлиными глазами. Заговорил он ровным, спокойным голосом:

— Терпели мы, товарищи, не оттого, что у нас был командиром Виноградов. Напротив, на других кораблях было хуже, чем у нас. Он всячески делал нам поблажки. Нигде так хорошо не кормили команду, как у нас. Правда, все равно мы были бесправными существами. Но это зависело от всего проклятого старого режима, который, как правильно сказал командир, мы сами все поддерживали. Зачем же обвинять тут одного только человека? Мое мнение оправдать его совсем.

В толпе послышались одобрительные возгласы.

Я облегченно вздохнул, решив, что большинство людей стоит за меня.

После этого против меня выступил вестовой покойного старшего офицера, некий Пяткин. Он был мордаст, с редкими усами, с глазами на выкате. Помню, на все обращения к нему он только и мог отвечать по-казенному: „есть“ или „никак нет“, как будто у него и не было других слов. Иногда, глядя на кого-нибудь из офицеров, глупо и нагло ухмылялся. Я даже как-то заметил Измайлову:

— Откуда вы такого идиота достали себе?

Старший офицер, усмехнувшись, ответил:

— Что он идиот—я в этом нисколько не сомневаюсь. Но более исполнительного вестового, чем Пяткин, я еще ни одного не имел. Аккуратный и точный, как астрономические часы.

Я даже обрадовался, что не кто другой, а этот именно человек выступил в качестве обвинителя, который, по моему мнению, и трех фраз не может связать. Но как только он произнес несколько слов, я понял, что ошибся в нем. Он оказался умнее многих других, говорил горячо и убедительно, не запинаясь. Недаром при появлении его забеспокоился и сам председатель, который, как я все больше и больше убеждался, сочувствовал мне.

— Мы уничтожили, товарищи, старшего офицера, моего, так сказать, барина,—начал вестовой, оглядывая всех выпуклыми глазами.— Почему же мы должны оставить командира? Какая разница между этими кровопийцами? Мне скажут: старшой лез в каждую дыру на корабле, содержал штат шпионов, вынюхивал крамолу, придирался к матросам из-за всякого пустяка, издевался над всеми. И это будет правда. Но каждый из нас знает, что такая уж у него собачья должность, чтобы постояннно со всеми лаяться, знает и то, что он являлся правой рукой командира. А тот в это время молчал, разыгрывал кроткого ангела и терпел все гнусные проделки своего ближайшего помощника. Конечно, лично он никого не обидел, но ведь и царь никому

из нас лично не сделал никакого зла, даже худого слова никому не сказал. Давайте в таком случае отправимся все к царю и поклонимся в его золотые ножки: отец, мол, ты наш родной...

Мне стало ясно, какую роль играл вестовой на корабле: он слушал, о чем говорили офицеры, быть может, не раз заглядывал в столик своего барина, чтобы узнать, кто из матросов взят на заметку, как неблагонадежное лицо, и кто служит доносчиками и передавал все эти сведения кому следует. Вот откуда узнали матросы о нашем тайном совещании. Я даже подозреваю, что он первый всади пулю старшему офицеру.

По мере того, как говорил вестовой, у меня пропадала вера в спасение. Толпа настраивалась враждебно ко мне. Лица становились суровее, глаза наливались кровью.

— Расстрелять его и за борт!—в заключение крикнул вестовой.

Толпа грозно закачалась, загудела, разделяя мнение вестового. Страсти разгорались. Я понял, что мне не сдобровать. Жизнь моя заколебалась, как чаша на весах.

В мою защиту выступил кочегар Томилин. Он только что сменился с вахты, был грязен в своем рабочем платье. Лицо с упрямым ртом и твердым взглядом серых глаз выражало решимость его характера. Он смело заговорил:

— Со всеми, кто станет против революции, мы разделаемся самым беспощадным образом. Скажите, товарищи, честно: оказал ли сопротивление наш командир? Нет! Что у него было в душе—неизвестно, но он сразу сдался. Какие же за ним другие преступления? Ничего! Неужели мы будем обвинять Виноградова только за то, что он был командиром? А каждый из нас не захотел бы стать таковым? Я удивляюсь над товарищем Пяткиным. Считается сознательным человеком. Сам участвовал в заговоре. И вдруг потерял способность разбираться в офицерах. Он готов их всех свалить в один куль и под лед пустить. А мы, товарищи, должны к этому делу подходить серьезнее. Ну-ка, пусть каждый спросит самого себя: что было бы, если бы, вместо Виноградова, был командиром капитан второго ранга Измайлов? Было бы хуже. Пойдем дальше: а если лейтенант Брасов, этот двуногий зверь в офицерском мундире? Тогда наш корабль превратился бы в плавучую тюрьму.

Когда он, поговорив еще, кончил, толпа возбужденно загалдела:

— Оправдать командира!

— Довольно издеваться над человеком!

— Немедленно освободить!

Стало выясняться, что небольшая кучка матросов была определенно настроена против меня, но не меньше их было и на моей стороне. Что же представляли собою остальные люди? Толпу без ясного взгляда, без определенного заранее плана,—толпу, капризную и страшную, меняющую свое направление, как морской ветер, электризуемую положительным или отрицательным током, в зависимости от того, какой

оратор взойдет на трибуну. Я смотрел на своих бывших подчиненных и удивлялся, потому что впервые видел такими. Здесь человек терял свою самостоятельность и сам не знал, на что он будет способен через пять минут: он может быть палачом с таким же успехом, как и всепрощающим Христом. Каждая личность напоминала мне звено в якорном канате. Кто-то беспокоил этот канат—то тяжелый якорь тянул его на морское дно, то брашпиль выбирал его обратно, а звенья, лишённые самостоятельности, только раздражающе лязгали и громыхали.

На трибуне появилась новая фигура—боцманмат Хрущев. Я никак не ожидал, чтобы этот человек выступил против меня. Я знал его, как ретивого службиста, хитрого и злого, подхалимствующего перед начальством. Это был высокий парень, сильный и гибкий. Достаточно бывало бровью повести—он уже знал, что нужно делать. Когда он поднялся на опрокинутый ящик, я посмотрел на его лицо, властное, в короткой рыжей щетине, отливающей красной медью. Он отвел круглые, как у совы, глаза в сторону и почти завопил:

— Товарищи, судите меня: я—был жесток с матросами. Каюсь, как у пола на духу,—многим попадало от меня. Только прошу разобраться вперед: кто был причиною всему этому? С меня спрашивали—я и мурыжил команду. Я приведу маленький пример. Вот стоит рядом со мною наш уважаемый председатель, радист Смирнов. Все мы его любим, как лучшего товарища. Башка! Справедливый человек! Против него никто худого слова не скажет. А взять его теперь и на кого-нибудь толкнуть, так толкнуть, чтобы он тому человеку, скажем, головою зубы выбил. Кто тогда по-вашему будет виноват: радист Смирнов или те, кто толкнул его?..

Из задних рядов раздался голоса:

— Ясно, что Смирнов тут был бы не при чем.

— Здорово смекнул.

Боцманмат, ободренный другими, продолжал в более решительном тоне:

— Такое, братцы, и у меня было положение. Меня толкали на вас золотопогонные скорпионы. Ну, кое-кому доставалось от меня. Так разве я тут виноват? Да притом еще нужно взять во внимание—я человек малограмотный, академию не проходил. Учился в хлеву вместе с поросятами и телятами. А они, образованные кровопийцы, вроде нашего командира, пользовались моей темнотой...

Он привел еще удачный пример и настроил толпу против меня. Яростно загудели угрожающие голоса:

— Смерть командиру!

— На нок повесить его!

— Верно. Пусть денек—другой покачается на мачте.

— Не стоит вешать. Канители много. Лучше под лед пустить.

Все эти выкрики сопровождалась грубой матерной бранью. Мне бросали в лицо самые унижительные оскорбления. Я несколько не

сомневался, что нахожусь под угрозой смерти. Со мною могут сделать все, что придет в голову этим людям, одичавшим в сумерках нашей российской действительности и ожесточенным мировой войной. От таких мыслей душа раздиралась на части, как парус от внезапно налетевшего шквала.

Председатель долго мучился, прежде чем заглушил шум толпы.

С таким же успехом, взойдя на трибуну, начал опрокидывать боцманмата мой защитник, минер Гасихин.

— Кто такой Хрущев? До сих пор это был первый винтила на корабле. Он и теперь начал с того, что густо помазал медом по устам председателя. Чует подлая душонка, каким ветром подуло. Никто его не толкал, он сам лез на всякого, чтобы выслужиться перед начальством. Почему Ярошенко, Васильев и другие наши строевые капралы не были такими злыми? Хрущев был только боцманматом, и то от его лютой столько терпели матросы. А если бы его произвести в офицеры? Получился бы Брасов номер второй, а может еще похлеще. А сейчас ему нужно на кого-нибудь свалить свою вину—он избрал командира...

Разделавшись с боцманматом, минер Гасихин перешел к характеристике моей личности. Он перебрал всех командиров с эскадры, сравнивая их со мной, и лучше меня никого не оказалось. По его выходило, что я самый честный и справедливый офицер. Разве команда забыла, когда я освободил пять человек своих матросов, арестованных одним армейским полковником за неотдание чести? А разве не командир запретил лейтенанту Брасову взорвать корабль с той целью, чтобы погубить всю команду? Гасихин продолжал дальше перечислять все мои положительные поступки, о которых я сам не знал. Я даже подозреваю, что многие из них он выдумал. Затем привел случай, когда я заступился за избиваемого матроса и подверг аресту лейтенанта Брасова. Последним фактом он окончательно расположил судей на мою сторону.

О, жизнь! Неисповедимы пути твои. Мог ли я думать полтора месяца тому назад, что предстану перед таким нелепым судом в качестве страшного злодея и что стычка офицера с матросом послужит ярким доказательством моей невинности?

Раздались голоса в мою пользу, такие же искренние и азартные, какие раздавались раньше против меня. Возбуждение росло. От шума и крика полутора тысяч людей трещала голова. Можно было подумать, что все перепились спиртом, но я хорошо знал, что ничего подобного не было. С ящика мне было видно, как двигались и качались головы, словно подсолнушки под ветром. Из общего гвалта я мог разбирать только отдельные фразы:

- Таким командиром мы должны гордиться!
- Сколько раз он спасал нас от смерти!
- Вот идиоты—вздумали судить кого!
- Такой командир нам еще нужен будет!
- Всенародно требуем оправдать!

Меня уже не радовали такие выкрики. Я находился в положении человека, переживающего жесточайшие пытки. Сначала меня как бы угощали смертоносной отравой, а когда мои конечности начинали холодеть, когда сердце сжималось в последних судорогах, мне преподносили противоядие, чтобы продлить жизнь еще на несколько минут. Эта операция была невыразимо мучительна. Мне оставалось только молчать и ждать—чего ждать? Трагического конца или полного избавления? Об этом никто ничего не мог сказать, даже сами участники суда. Ибо кто может познать все извивы массовой психологии? Это омут, темный и загадочный, неизвестно чем населенный. С его таинственного дна могут всплыть всякие неожиданности: и безобидные золотые рыбешки, ласкающие ваш глаз, и уродливые чудовища, угрожающие размолоть ваши кости на здоровенных зубах.

— Братва, ша! поднявшись на ящик, крикнул новый человек корявым голосом. Это был матрос второй статьи Разуваев.

Раздались протесты:

— Довольно судить!

— Ведь выяснилось, что командир не виноват, чего же еще!

— Теперь опять начнут морочить нам головы.

Кто-то жаловался визгливым голоском:

— Вот тут и разберись: одного оратора послушаешь—командир наш хуже дьявола, убить его мало, а другой наговорит—ну, никак рука на него не поднимется.

Как бы в ответ ему зыкнул один:

— А дальше совсем запутаемся.

Мне запомнился матрос Горелов, стоявший в передних рядах, почти рядом с председателем. У него было открытое лицо с мягкими симпатичными чертами. Он был религиозен, постоянно прислуживал нашему священнику в качестве ктитора и усердно молился. Во время судебного богослужения отличался прекрасным тенором. А сейчас, выражая нетерпение, он вдруг заявил:

— Чего мы, братцы, канителимся с одним только человеком? Коли удавить, так сразу нужно удавить, скорее. Или отпустить совсем.

Я изумленно открыл глаза, услышав такое безразличие к человеческой жизни.

Разуваев, сделав правой рукой повелительный жест, снова рявкнул:

— Братва, шша! А которые ежели глотки свои дерут и мешают мне, честному бедняку, обмозговать все досконально, значит сами старорежимники. Показывайтесь на горизонте, кто есть вы такие?

Все притихли, словно испугались его властного окрика.

Молчал некоторое время и сам Разуваев, скользя взглядом по матросским лицам. Повидимому, он обладал страшной физической силой. Чувствовалось, что под грязной казенной форменкой и такой же нательной рубашкой скрывается коренастое туловище, толстокостное и крепкое, как бразильское красное дерево. Обнаженная голова с покатым лбом напоминала вытянутую дыню. Выдающиеся скулы, хищный

клякастый рот, выпячивающаяся вперед нижняя челюсть, жестко торчащие, как проволочная щетка, бурые усы, мелкие прыщи на щеках, словно обстрелянных бекасинником, желтые глазки, ушедшие в глубь орбит,—все это придавало его лицу вид необыкновенной свирепости. Когда он только посмотрел на меня долгим наслаждающимся взглядом, как, вероятно, смотрит ястреб на свою жертву, бьющуюся в его когтях, я сразу понял, что моя жизнь приближается к трагической развязке. На момент мне показалось, что я стою не на опрокинутом ящике, а на краю открытого люка, откуда, словно от рефрижератора, поднимается нестерпимый холод, леденя тело и кровь.

Разуваев заговорил спокойно, но, несмотря на это, басистый голос его звучал громко. Прежде всего он рассказал, как жили до сих пор господа. У каждого из них было денег больше, чем рыбы в нашем море, и они утопали в роскоши и брали от жизни „все шешнадцать удовольствий“. А как в это время жил народ? Для рабочих и крестьян они, эти грабители по закону, оставляли ровно столько, чтобы не сдохнуть с голода и не замерзнуть от стужи, и вместе с попами утешали дураков будущим раем, пустым и обманным, как морской горизонт: век плыви, а до него все равно не доберешься. Он взял для примера своего отца, который всю жизнь работал на господ. А какие награды получил за это?

— Ничего!—бухнул Разуваев басисто.—Жили мы на краю села в кривобокой лачуге. Двор у нас был обнесен ветром, а покрыт небом. Набивали свою утробу картошкой, наливали квасом. От этого кожа на животе становилась тугой, как на барабане, а сытости нисколько. Бывало только воздух портишь от такой жратвы...

Среди команды раздался злой и нервный смех.

А бас продолжал гроыхать, словно сбрасывал с горы тяжелые камни:

— И не было у нас другой скотины, кроме вшей. Этой божьей твари водилось много. Можно было бы целый капитал нажить, если бы нашлись покупатели. А все отчего? Мой отец за всю свою жизнь только один раз вымылся с мылом. Точнее сказать, его вымыли другие перед тем, как в гроб положить. Вот оно что значит быть неразлучно с нуждой. Господ она обходит, а к нам пристанет — не отвязаться от нее. Пробовали мы свою нужду в проруби утопить—не тонет, окаянная. Попу своему продавали—не покупает, даже даром не берет, кошлатый идол...

И опять послышался смех, тревожный и жуткий, словно с горящим факелом приблизились к пороховому погребу.

— Вспомните, братцы, как ваши родители живут. Разве на много лучше? Неужели после этого мы будем милосердствовать со своими ебиралами?

В толпе произошло движение. Каждая пара глаз смотрела на меня, не мигая, затаив глубокую ненависть. Вековые обиды, сдерживаемые раньше страхом дисциплины, начинали закипать слепой злобой.

Разуваев входил в раж. Моих защитников он назвал „слюнтями“. По его словам, таким пустоголовым людям даже нельзя доверить никакого дела, ибо они со своею телячьею жалостью могут провалить всякую революцию.

Я посмотрел на председателя Смирнова. Он стоял в напряженной позе, словно приготовился выдержать осаду. Губы его были плотно сжаты, а синие глаза потемнели. Очевидно, он понимал Разуваева так, что тот хочет заделаться героем и стать во главе революционного движения.

Я задавал себе вопрос: почему он молчит и не скажет своего веского слова?

А бас между тем продолжал:

— Кто нас жалел, когда мы гнили по тюрьмам и на каторге? Посмотрите, товарищи, на капитана первого ранга. Вот он стоит перед нами в золотых погонах. Сейчас он смирный и тихий, как ягненок. Я спрашиваю всех: пожалел бы он нас, если бы офицеры взяли верх? Он сразу превратился бы в вампира. И все зачинщики давно висели бы на реях...

Лицо у Разуваева покрылось темными пятнами, рот кривился, словно от внутренней боли. Все его доводы были для команды ослепительной и неопровержимой истиной и взбудоражили сердца, опаленные бесправием и горькой нуждой. И сам я, несмотря на всю ненависть к этому матросу, чуял в его словах правду жизни, жестокою, как волчьи зубы. На момент я вспыхнул от стыда, словно получил пощечину.

Кто-то истерично взвизгнул:

— Правильно Разуваев объясняет.

Этот возглас взорвал безмолвие толпы. Люди шарахнулись ближе ко мне, разом загудели. Все голоса слились в один косматый рев, до физической боли ударивший по ушам, накрывший мою истерзанную душу, как огромная волна взбешенного моря.

Но Разуваев не все еще сказал. У него остался большой запас убийственных доказательств против меня. Стараясь унять толпу, он воздел кверху руки с толстыми растопыренными пальцами и начал размахивать ими, словно кому-то семафорил. А когда снова наступило затишье, он едва мог продолжать свою речь дальше. Прежнее спокойствие исчезло. Его самого, взрывая душу, охватил неудержимый гнев. Широкая грудь бурно вздымалась. Потрясая кулаками, он ломался на трибуне, как безумный, и, выпячивая нижнюю челюсть, не говорил уже, а рычал:

— Попил этот злодей нашей кровушки! Довольно! Пора расчитаться!..

Глядя на своих бывших подчиненных, я ничего не видел, кроме багрово распухших лиц с горящими, как у шакалов, глазами. Все обливались потом. Иногда оратор запинался, подыскивая более тяжелые слова. Тогда, в эти короткие промежутки времени, слышалось посапывающее дыхание полутора тысяч грудей,—то враждебное дыхание с раздувающимися ноздрями, от которого у меня останавливалась кровь,

и, вероятно, синели губы, словно у покойника. Во всем этом было что-то звериное. Я не раз бывал в боях, видел страшное лицо смерти, но все это ничто в сравнении с накаленным гневом толпы, неумолимой и безжалостной, как нож в руках мясника. Временами казалось, что меня окружают не люди,—это расположилось вблизи одно многоголовое чудовище, загородив собою все выходы, сузив вокруг меня кольцо. Я до боли сжимал челюсти, чтобы не защелкать зубами.

Из пасти Разуваева вылетали с хрипом какие-то слова. Они были бессмысленны, но он наливал их гневом, словно свинцом. Лицо его вздулось, приобрело фиолетовую окраску, на губах появилась пена.

— В кочегарку золотопогонника, в топку, чтоб его лихая душа вылетела в трубу вместе с дымом!..

На этом речь его оборвалась, словно перехватили ему горло. Обуреваемый буйством, он разорвал на себе обе рубашки—форменку и нательную—и начал бить в обнаженную грудь кулаком.

Казалось, броня задрожала от рева голосов. Три тысячи рук взмылись над головами, потянулись ко мне, чтобы рвать мое тело, три тысячи ног двинулись вперед, чтобы топтать куски моего мяса. Я зашатался, прощаясь с жизнью.

Но в этот момент случилось нечто неожиданное. Тот, кто поднял над моею головою сокрушительный удар, вдруг превратился для меня в избавителя. Волна криков отхлынула назад, а передние ряды, замолкая, вытянули в сторону Разуваева указательные пальцы. Я с трудом расслышал несколько слов:

— Смотрите, смотрите, что это такое...

Вся широкая грудь моего обвинителя была в татуировке, изображающей двуглавого орла.

С молниеносной быстротой покатались выкрики по толпе, направляя гнев ее на другого человека:

— У Разуваева на груди двуглавый орел!

— Ах, шпана он этакий!

— Долой с трибуны арестанта!

Я понял, что этот озлобленный и несчастный матрос, сам того не желая, сыграл для меня ту же роль, какую играет спасательный круг, брошенный с борта утопающему в море. А он, жалкий и растерянный, стоял на трибуне, несуразно блуждая желтыми глазами, словно внезапно ослеп от яркого света. Кто-то толкнул его в спину. Он безвольно нырнул в толпу. Сначала люди отшатнулись от него, словно от зачумленного, а потом образовался длинный коридор из человеческих тел. Он шел по нем, спотыкаясь под ударами кулаков в шею и спину, нелепо ныряя вперед, осыпаясь бранью.

Только после такого случая заговорил сам председатель:

— Вы теперь знаете, товарищи, кто стоял за то, чтобы погубить напрасно человека. Разве для этого мы затеяли революцию? Мы никогда не позволим проливать невинную кровь. А тем, кто не может жить без крови, мы посоветуем поступить на скотобойню...

Как это ни странно, но меня взяли под защиту как раз те, кто больше всего рисковал жизнью, совершая переворот на корабле.

Смирнов, пользуясь благоприятным моментом, выкрикнул, наконец:

— Голосу. Кто против командира, прошу поднять руки.

Ни одна рука не поднялась. Даже враги мои стояли неподвижно. Все смущенно молчали, словно их только что уличили в каком-то мошенничестве.

Чей-то здоровенный голос гаркнул:

— Качать товарища командира!

— Качать!—радостно подхватили другие.

Матросы, горланя, бурливым потоком ринулись ко мне, словно штурмуя неприятеля в бою. Отшвырнули часовых. Десятки рук подбрасывали меня в воздух с таким увлечением, что от моей тужурки отлетели все пуговицы. Голова моя болталась, руки и ноги готовы были вывихнуться из суставов. А когда кончилось это, я настолько уже ослаб, что не мог держаться на ногах, и неуклюже опустился на палубу. Меня снова подхватили на руки, на этот раз бережно, и понесли в каюту, распевая „Марсельезу“.

Сейчас после восьмилетнего промежутка времени, я живу во втором этаже каменного дома. В раскрытые окна видна большая река в гранитных берегах. Прямо передо мною, углубляя дно ее, с железным лязгом работает грязечерпалка. Немного подальше, вправо, буксирный катер, похожий на черного жука, старательно тянет вереницу баржей, нагруженных дровами. Навстречу, распустив веер черного дыма, идет товаро-пассажирский пароход под немецким флагом. Воды реки взволнованы, воды лучатся под июльским небом и так хорошо гармонируют с криком и визгом детей, играющих на каменной набережной.

Только-что вернулась с рынка жена с покупками и начинает жаловаться:

— Можешь себе представить, Базиль? Мясо сразу подорожало на пять копеек. И говорят, что скоро совсем не будет...

Я делаю удивленные глаза и спрашиваю:

— С чего же это так?

— А с того, что теперь в России, кроме хамов, никого не осталось.

Как ни бережлива она у меня, но никак не может обойтись без косметики. И сейчас, сняв шляпку, она подходит к зеркалу, долго натирает духами свою сморщенную, как шагрень, кожу и пудрится. Странно все это. Потом, взглянув на меня, говорит раздраженно:

— Бросил бы ты, Базиль, свой глупый доклад писать. Лучше принеси дров. Нужно плиту затапливать.

Дело это неотложное—придется подчиниться жене.

Легкий ветер, врываясь в комнату, перелистывает старую мою тетрадь, словно и ему хочется узнать про минувшую быль моей души.

Ноябрь 1926 г.

Два стихотворения

НИК. ЗАРУДИН

1. П о л ы н ь

Суховатая, горькая сиѣь,—
Уже блекнет пучек серебристый...
Скоро снегом засыпет полынь
На равнине остылой и чистой.

Пухлый свет разольется с окна
И далеко, далеко, далеко
Засинеет... А вот—и сорока
На плетне почерневшем видна.

В теплой печке забвенье и лень,
Кто-то дремлет... А нынче охота!
И промерзло, и крепко болото,
И пушистый с порошею день!

Кое-где чуть рыжее жнивье,
По межам голубея... С окошка
Смотрит старая-старая кошка,
В доме—книги, собака, ружье...

Старый Джэк, коротаешь судьбу?
Смотришь пристально, мутно и лунно.
Шерсть обвисла... Мерещится юность?..
Ну, так что ж! Ведь, хозяин в гробу...

Ровно год исполняется ныне...
Снег сегодня, пороша, светло
И пучек серебристой полыни,—
Страшно мне,—но совсем занесло!

И. Р у с а к

Русак взметнул и покатыл на низ,
Но вскинут блеск ружья тяжеловатый...

Удар!

Еще!

И на снегу повис

Он серебристо-дымный и усатый

И зачернел.

Срываясь в снег, я полз через овраг.

Скорей! Скорей!

Вот он—

И задыхаясь

Вяжу его:

Вот заяц, так ведь заяц!

Весь сединой обрызганный русак,

Так и сияет бархатный кушак!



СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

* * *

Врага я зорко чую за собою,
Хотя немного у меня врагов,
И сам-то рад я уступить без бою
Мою любовь—пристанище и кров...

Но не услышу я и не замечу,
Хоть напряжен до боли глаз и слух,
Когда пройдет с улыбкою навстречу
Иль тихо вслед меня окликнет друг...

Уж лучше друга верного обижу,
Чем попаду врагу в насытый рот,
...Увы, метла панельная мне ближе,
С которой я ночую у ворот....

По крайности мы с нею друг у друга
Не вырвем ничего из-под руки,
Я—луг косил, она—цвела средь луга,
А потому и здесь мы земляки....

Здесь у нее и у меня приметы:
От неба—вагляд, улыбка—от зари...
...И словно хвост от бешеной кометы
Из улиц в переулки—фонари!..

Из переулков в улицы—погоня!..
Кто друг?.. Где враг?.. В чем жизнь и что судьба?..
...Мегутся огненные кони...
...Гудит бульжная труба...

И не спастись, не скрыться и не крикнуть,
Разбившись головою о помост,
Как к этим синим клочьям не привыкнуть,
Где нет ни крыл заоблачных, ни звезд...

Ш и н е л ь

МИХ. ДАНИЛОВ

В том сундучке, что мной задвинут в угол,
Под шаткий стол, что сторожит постель,
Ты мирно спишь, усталая подруга,
Отрепанная, серая шинель.

Спи, милая! Ты заслужила отдых,
Лихая спутница грозových дней борьбы!
Судьба свела нас в те тугие годы,
Когда всю жизнь взметнуло на дыбы.

С тобою вместе получил я пояс,
Винтовку ржавую, два левых сапога,
И нас умчал гремучий бронепоезд
Стальным путем сквозь темень и снега.

Летели дни, и месяцы летели,
Кружила нас кровавая метель...
Ты мне была одеждой и постелью,
Моя худая, серая шинель.

С тобой вдвоем мы мяли грязь в окопах,
Обоих ветром секю, как вожжей.
Седели мы под снегом Перекопа
И в Астрахани мокли под дождем!

Шинель, шинель, жилось с тобою тяжко,
Но уцелеть нам было суждено.
В пяти местах впилась казачья шапка
В твое седое, чахлое сукно.

Лежи, шинель! Легко мне будней бремя!
Но, коль копыта вдыбит конь борьбы,
Тебя надев, я снова влягу в стремя
И полечу, ища своей судьбы...

И, коль свалюсь на землю серым комом,
Пожми меня, подруга, не скорбя.
Служи живым. Служи, как мне, другому,
А я в могилу лягу без тебя!

Ну, а пока лежи, моя подруга,
Отрепанная серая шинель,
В том сундучке, что я задвинул в угол,
Под шаткий стол, где смятая постель.

Белые ночи

Рассказ

ВЛ. ЛИДИН

Осмотр музея окончился, и девочки, все двадцать—тридцать смуглых, русых и светловолосых существ, застегивая на ходу простенькие у одних и уже по-женскому кокетливые у других пальтишки, весело галдя, шумя и теснясь, выбрались из-под сумрачного портика музея на волю. Угрюмые великаны из серого мрамора поддерживали этот портик, и после сумерек музея, тишины, лимонного блеска паркета, после торжественной и коричневой живописи в пышных и парадно-золотеющих рамах, особенно был ярок этот простор, ранняя морская весна, голубая Нёва, открывшаяся за красноватым дворцом, и веселый торопливый буксир, бежавший нивесть куда, может быть, в море. Девочки разбились по парам и по-трое, экскурсия была окончена, и всем этим пятнадцати-, шестнадцати- и семнадцатилетним существам больше всего хотелось теперь от'единиться от остальных, бродить, обнявшись, вдвоем, толковать друг с дружкой о тысячах девичьих дел, а главное, о своей по-весеннему всколыхнувшейся крови. Здесь были и угловатые, еще краснорукие подростки, одетые старомодно, торопившиеся теперь по домам на Васильевский остров, и нежные, быстро розовеющие блондинки, с серым и еще неразбуженным полднем в глазах, и лукавые и веселозубые чернушки, уже взрослому умеющие вдруг беспричинно загрустить и затихнуть, и легкие эти золотисто-рыженькие лисички с детскими носиками и женской судьбою, лежащей уже вокруг подвижных и вспыхивающих улыбками ртов.

Надя Костромская, высокая и угловатая девушка, со странным и неотразимым разрезом прекрасных и узких глаз, с легкой чернотой маленьких усиков, под которыми был еще ярче тонкий и нежно раскрытый рот, отозвала подругу, рыженькую и веселую, со смешными веснушками на очень подвижном носике, похожую на молодую лисичку, Женю Огнивцеву.

— Послушай, Лис, — сказала она своим грудным низким голосом, — отстанем от других и пойдем вместе. Мне хочется побыть с тобою вдвоем.

Лисичка понимающе кивнула головой, они оглянулись и быстро зашли за угол музея. Здесь, стоя возле ступни великана в мраморных жилах, они подождали, пока все разбрелись. Из мимолетной весенней тучи вдруг понесло серебряным, очень торопливым дождем, торцы мостовой сразу потемнели, но уже через минуту верхние окна домов, отражая небо, залоснились, как голубые изразцы. Девочки пошли друг подле дружки по Миллионной, разговаривать совсем не хотелось, хотя минуту назад казалось, что ужасно нужно поговорить, а теперь больше всего хотелось бродить именно так, без цели, не говорить ни о чем и слушать самих себя. Так они прошли по Миллионной, свернули на Зимнюю канавку, поднялись на мост, поглядели на смутно открывшуюся в пролете Неву, на баржу с дровами, очень театрально, как лебедь в „Лоэнгрине“, проплывавшую мимо, и вышли на сбитую и покосившуюся набережную Мойки.

— А вот дом, где умер Пушкин, — сказала Надя вдруг и показала на серовато-зеленый и облупленный дом, окна нижнего этажа которого были забелены мелом. — Вот за этими окнами он и умирал... а вот видишь, зайдем в ворота, во дворе каретные сараи, в которых стояли кареты Наталии Пушкиной.

Девочки перешли улицу и вошли в ворота. Во дворе было грязно, татарин стоял посредине и взывал наверх: „Старое платье берем“, — точно молился, а в глубине были каретные сараи, и там стояли ломовые сани оглоблями вверх.

— Вот тут и стояли кареты, в которых выезжала Natalie, и отсюда увезли Пушкина ночью хоронить в Святые Горы... Бедный Пушкин! — Надя сказала все это и смотрела на дверь квартиры, на которой висела картонная табличка с надписью „А. С. Пушкин“.

— А я бы хотела умереть так, как Пушкин, — сказала Женя Огнивцева и вздохнула, — а мы умрем, наверное, никто о нас и не вспомнит...

— Нет, я умру, наверное, обо мне вспомнят... — ответила Надя, — но это совсем не важно, вспомнят ли обо мне или нет.

Девочки вышли из-под ворот, снова перешли улицу и облокотились о железную решетку набережной, глядя на пушкинский дом. Невеселый и ветшающий российский вид был у этого дома, и странно было думать, что за этими забеленными окнами жил, писал стихи, ревновал и умирал Пушкин.

— Я тебе сегодня неспроста сказала о смерти, Лис, — сказала Надя Костромская еще, — не думай, пожалуйста, что это глупости и фантазии, но я совершенно серьезно решила умереть.

Лисичка быстро раскрыла рот, маленький носик ее дрогнул ноздрями, и она вся необычайно быстро залилась краской под тонкую кожу.

— Что это за глупости... я ужасно не люблю, когда так говорят, — сказала она и по-детски нахмурилась.

— Нет, я говорю вполне серьезно... и ты не перебивай меня и не расстраивайся, Лис, пожалуйста, очень тебя прошу. — Надя достала из кармана платочек и сурово отерла свои вдруг наполнившиеся слезами глаза. — Я так решила, и это бесповоротно... и я тебе сейчас все расскажу, в чем дело. Я поэтому, может быть, и пришла, сюда, к дому Пушкина, потому что Пушкин все поймет. Дело в том, Лис, что я беременна... и знаешь, от кого? От твоего отчима, Константина Ивановича. Погоди, пожалуйста, не нужно ужасаться. Лучше уйдем отсюда, сядем где-нибудь на скамейку, и я тебе все расскажу.

И они пошли отсюда, они шли подле, одна — очень спокойная, глядя вперед, мимо людей и домов, суженными и загадочными в восточном своем разрезе прекрасными глазами, и другая — страшно красная, с несчастным и изнемогающим видом и кривящимся детским ртом. Так прошли они дворцовым престоном, на огромной площади, на колонне, стоял ангел с крестом, видны были гранитные берега реки, большие окна дворцов, и торопливо через площадь ехала карета автомобиля с матовыми стеклами и красным на них крестом и со студентом в белом халате рядом с шоффером. Надя взглянула на карету, чуть нахмурилась, и так же молча они перешли через площадь и вышли на набережную реки. Огромное желтое здание Адмиралтейства было угрюмо, якоря лежали возле арки ворот, а впереди был такой необычайный весенний простор, такая синева, — точно пудра, сдунутая с пуховки, обволакивала все эти дома, соборы на том берегу и легкую кривую моста, по которому шли пешеходы и медленно кверху всползал трамвайный двойной вагон. Мягкий и помятому холодящий ветер дул с моря, он обещал огромную и необыкновенную жизнь и, может быть, лучше всего было бы забыть сейчас все, что было сказано, и отдался девичьей радости, которая бывает только раз в жизни и никогда не возвращается вновь. Но подруги шли медленно навстречу этому легкому ветру и сели на гранитную ограду, полукругом выдававшуюся над водой.

— Я обещала тебе рассказать, как все это случилось, — сказала Надя, глядя вперед своими сощуренными и непроницаемыми сейчас глазами. — Все это очень просто и, вероятно, всего этого я хотела сама, потому что иначе это бы не случилось. Ты ведь знаешь, что твоя мать вышла вторично замуж, когда тебе было семь лет; она была старше Константина Ивановича и очень быстро поблекла... правда ведь, она кажется сейчас совсем немолодой? Так вот, года два назад, на твоих именинах, помнишь, когда были у тебя все подруги... мы очень веселились и играли в фанты. Мы всё придумывали самые смешные и дерзкие фанты, и мне вышло исповедывать. С нами также играла твоя мама и Константин Иванович, он пришел поздно с лекции и очень обрадовался, что застал детвору... И вот, на меня накинули платок и заставили всех исповедывать. Я всем говорила глупости,

а потом пришла очередь Константина Ивановича. Он тоже просунул голову под платок, мы с ним очутились в темноте, и у меня страшно вдруг забилось сердце. Я ему ничего не могла сказать, я ужасно часто дышала, и я не знаю, как это случилось, что он поцеловал меня в губы. Потом он быстро скинул платок, вместо него влез кто-то другой, но я уже ничего не помнила и не могла продолжать игру. Я уверена, что Константин Иванович поцеловал меня шутя, но он совсем не подумал, что этим шутить иногда нельзя... Я влюбилась в него страшно, по-сумасшедшему, мне было тогда пятнадцать лет, я писала ему множество писем по ночам и ни одного не отправила, и я воображала себя Татьяной... Я читала Пушкина по ночам и рыдала над своей любовью. Вот видишь, Лис, как все это началось. И самое ужасное во всем этом было то, что Константин Иванович не обращал на меня никакого внимания, что он совершенно забыл об этом своем поцелуе и, наверное, думал о нем не более, как о шутке. А я совсем не знаю что со мною случилось, может быть, я слишком рано почувствовала в себе женщину. Я приходила к тебе, помнишь, Лис, как я к тебе приходила?.. и всегда прежде всего мечтала о встрече с ним. Так прошло полтора года, и в моем чувстве ничто не изменилось. Вероятно, если бы это была фантазия или выдумка, все это давно бы слетело, но я знала, что это не фантазия, а судьба моей жизни. Я не могу сказать, что я влюбилась в него после этого поцелуя, это, конечно, невозможно... но бывает так, что один поцелуй может разбудить страшно много, что словно живешь и дремлешь и пробуждаешься от одного толчка... Это точно стрела попадает в сердце. Так вот было и со мной. Я сознаюсь тебе, Лис, я пустила в ход всю свою хитрость, чтобы он обратил, наконец, внимание на меня. Он — профессор, искусствовед, тонкий человек — неужели он мог бы изучать какие-то итальянские фрески и не видеть, как рядом страдает и мучается из-за него живое существо. Он обратил, наконец, на меня внимание... это было прошлым летом. Вы жили тогда на даче в Гатчине, и Константин Иванович приезжал иногда по делам в город. Я выслеживала его возле вашей квартиры и, наконец, я раз поборола себя и пришла к вам на квартиру и просила его передать тебе письмо. У вас были спущены занавески от солнца, Константин Иванович был в белых туфлях, он загорел, и это ему шло. Он мне обрадовался, но я у него недолго просидела и стала уходить и просила позволить мне притти в следующий его приезд взять у него сонеты Петрарки, которые я очень хотела прочесть. Он просил меня притти за книгой в следующий его приезд, в понедельник. Всю эту неделю я точно не жила, то-есть я жила в каком-то безумии... Я громко читала Пушкина и все белые ночи насквозь сидела у окна. Я узнала, что такое любовь, Лис, это я могу сказать! Я понимала теперь и Татьяну, и Лауру, и всех женщин, от которых осталась история их любви... я была счастлива и горда, что стою с ними в одном ряду, что я тоже безумству от любви. В понедельник я пошла на вашу квартиру на Жда-

новку, я поднималась по лестнице, словно шла к причастию... и еще в передней, точно все было условлено, точно я заразила и его тоже своим безумием, Константин Иванович обнял меня.

Слегка раздув ноздри, обращенная вся к этому зовущему ветру моря, глядя поверх моста и домов на легкие и плывущие караваны облаков, Надя сидела, обняв колено рукой, на каменном парапете, а рядом, возле ее колен, было маленькое, жалкое, словно озябшее, личико Лисички, она тоже смотрела вперед невидящими глазами и вздрагивала вся временами, точно в ознобе. И Надя сказала снова:

— Так все случилось. Все случилось, Лис, мы виделись за это лето несколько раз и затем виделись еще несколько раз осенью и зимой... пять или шесть раз за все время, только. Я знаю, что Константин Иванович очень страдал и стыдился, что поступил со мной так... но ведь я была счастлива и никогда больше не буду так счастлива, потому что только один раз в жизни бывает любовь, и эта любовь у меня была!.. Я его ни в чем не виню, разве он виноват в этом моем безумии?.. а сейчас мне нужно умереть, я решила и, пожалуйста, не сокрушайся и не отговаривай меня, Лис. Ведь Пушкин тоже умер во-время и от любви... я сегодня об этом подумала, когда мы стояли у его дома. А умереть от любви совсем не страшно. Я Константину Ивановичу ничего не сказала обо всем этом... и я не хочу, чтобы он что-нибудь знал, потому что он будет мучиться, а так — пусть он думает, что я фантазерка и психопатка, сумасшедшая девочка и ничего более... И ты должна мне поклясться, что ничего никогда не расскажешь, что бы ни случилось.

Но Лисичка продолжала смотреть вперед, веки ее вдруг набухли, и большие белые слезы стремительно покатались из них.

— Все равно, если ты сделаешь так, я все расскажу, — сказала она отчаянным голосом, — все это ужасно, Надя, а самое ужасное, что ты придумала... разве нельзя все это изменить, ведь все женщины поступают так, если не хотят иметь ребенка, я об этом слышала.

Но Надя сказала страстно, ее ноздри даже побелели, она словно дыхнула на подругу страшной и загадочной чернотой своих глаз:

— Молчи, молчи, Лис!.. когда начнется это, кончится то... а я хочу умереть с тем, пойми меня. Я знаю всё, можно пойти к акушерке, можно стать ко всему равнодушной... и дальше будет сренькая жизнь, все женщины живут этой жизнью, и всем им кажется, что о главном они мечтали только девочками, и что то, главное, совсем не жизнь, а лишь фантазии. А я не хочу, чтобы моя мечта кончилась у акушерки... может быть, ты меня и совсем не поймешь, Лисица, потому что надо быть женщиной, чтобы все это понять. Я хочу это чувство сохранить в себе целиком, не растрчивая ни капельки, унести его с собою таким, каким оно ко мне пришло. А теперь пойдем отсюда... я провожу тебя до моста, а потом вернусь домой.

— Но послушай... а как же это... ведь ты не посмеешь сделать все так? — сказала Лисичка с прежним отчаянием, и Надя ответила тотчас же:

— Конечно, я только так говорила тебе об этом. Ты никогда не должна вспоминать и должна мне поклясться, что ни при каком случае никому не расскажешь все, что я тебе сегодня сказала. А я чтонибудь придумаю, конечно, за меня ты не бойся.

И вместе с подружкой она прошла по набережной мимо гранитного льва и огромных каменных ваз, и они поднялись на мост.

— Научи меня, как я должна теперь смотреть ему в глаза?— спросила Лисичка.

— Конечно, так же, как и прежде, потому что он ведь ровно ни в чем не виноват,— ответила Надя поспешно.— Виновата во всем одна я, я получила то, что хотела, и я совсем не несчастна, Лис, не думай, пожалуйста... я так счастлива, как очень немногие, всем существом я благодарна ему за все, что он так великодушно мне дал, пойми меня! А сейчас ступай домой и постарайся забыть все это. Завтра мы увидимся, а сегодня вечером я уговорилась заниматься вместе по мифологии с Таней Мещеряковой.

И с тем же несчастным видом, подурневшая, с набухшими веками и покрасневшими, как у детей, золотистыми бровями, Лисичка пошла по мосту домой, на Петербургскую сторону. Надя подождала, пока она поднялась на мост, и вернулась обратно, через площадь, к остановке трамвая. Она дождалась нужного номера, вошла на площадку прицепного вагона и всю дорогу стояла, вдыхая встречный ветер, пахнувший уже городским маем. На углу Литейного она сошла, прошла несколько домов и стала подниматься по знакомой лестнице с цветными стеклами, рыцарями и дамами на площадках. Она возвратилась домой, очень нежно поцеловала мать, рассказала, что они видели в музее, и во время обеда, далее, она долго и обстоятельно рассказывала о том, какие прекрасные руки умел рисовать Ван-Дейк, и о замечательном тициановском женском портрете, возле которого она стояла, по крайней мере, четверть часа и все не могла оторваться. После обеда она еще немного играла на рояле что-то очень бравурное, вроде рапсодии Листа, а потом прошла к себе в комнату и села на открытое окно, дожидаясь вечера. В соседнем саду зацвели тополя, было очень светло, фосфорически бело; необычайная тишина, белая ночь спускалась на город на своих лайковых крыльях, точно большая неслышная птица. Потом пришла мать и позвала в кинематограф, но Надя сказала, что обещала зайти к Тане Мещеряковой, и выйдет с ними вместе. Она оделась и вышла из дома вместе с родителями. Легкая белизна лежала над улицами, и совсем ненужно, дешевым светом, пусто горели в ней желтые огни магазинов и кинематографов. Было совсем тепло, толпа по-южному гуляла на Невском, и на углу, возле зеленого огня остановки, Надя простилась и осталась ждать трамвая. Она сказала, что вернется не поздно, и просила не закрывать окна в ее комнате. Она долго затем стояла у остановки и села в вагон трамвая, который шел к островам. Кондукторша, в мужской кондукторской куртке, в серебряных очках, отрывала

билетики от бумажных катушечек, висевших у нее на груди. На стекле на желтом плакате был изображен толстощекий самодовольный малый, малый чистил башмак, и внизу была надпись: „Лучший крем для обуви «Глянцолин» Альберта Закс“. Надя смотрела на малого и думала, кто может быть этот Альберт Закс, иностранец или, вернее, русский еврей из Минска. На остановке влезла дама с девочкой, у девочки была желтая косичка, сплетенная, как хлебец, и Надя подумала вдруг, что отец любит по утрам хлеб из одной и той же булочной на Литейном, и всегда узнаёт, если брали хлеб в другом месте. Потом вылезли дама с девочкой и старик в брезентовых башмаках, вагон опустел, пошел быстрее, очень быстро, за окнами стало совсем просторно и светло, и кондукторша села на скамью и устало глядела в рубчатый пол, нехотя приподымаясь на остановках, чтобы дернуть веревку. Тогда Надя поднялась, вышла на площадку и на одной из остановок сошла.

Это были острова, неведомый какой-то просторный проспект, в конце которого смутно угадывалось море. Здесь было пустынно, бесплотно, — широко и нетревожимо лежала белая ночь над всем этим загородным простором. И даже легкий ветер с моря затих. Деревья тучно готовились к зелени, чуть задымившись очень изумрудовым цветом необычайно неестественным в этой белой ночи. Надя пошла по проспекту, она шла вперед, не спеша, и глядела на белую пустынную дорогу; легкое дуновение донесло временами до ее ноздрей сладковатый запах пудры, которой слегка она перед выходом из дому опушила золотистый пух подбородка и щек. Так, почти бездумно, шла она минуты или часы, глядя вперед. Внезапно далеко в глубине проспекта стеклянно блеснули огни, острое сиянье прожекторов набухало из глубины, безумный мотор, вероятно, с беспечной и веселой компанией, уносился проспектами еще пустынных повесенному островов к морю, на Стрелку. Издалека был слышен его гудящий и угрожающий рев. Надя остановилась, она улыбнулась даже, услышав этот победительный рев, и сошла на дорогу. Она шла с боку дороги, глядя на несущиеся навстречу чудовищные и неотразимые для нее глаза, пока ветер и вой не пахнули ей прямо в лицо, и тогда разом, с мучительным восторгом и ожиданием, она сорвалась мотору наперерез.

Ноябрь, 26, Москва.

П е с н я

НИК. АСЕЕВ

На Москву да на реку
Светит по фонарику,
С каждого пролетца
Свет на воду льется.

Я на каменном мосту
И гуляю и расту,
Только мне не вырасти:
Очень много сырости.

За мостом на Балчуге
Молодые мальчики,
Молодые, русые,
Бритые, безусые.

Как вас по имени,
Как вас по отчеству,
Как ваша фамилия,—
Очень знать нам хочется.

Хоть и очень интересно,—
Не вступаю в разговор
С незнакомым неизвестным:
Может жулик, либо вор.

Автобусы идут
Нумерованные...
Ой, думки мои,
Замурованные.

Возьми меня, вывези,
Что ж я здесь на привязи?
Не завязни во грязи,
Поскорее вывози.

Как у нашей Яузы
Ходят тени-кляузы,
Под стенами столетними
Ползет плесень сплетнями.

Побегу я на реку,
Поклонюсь фонарику:
Посвети ты мне, фонарик,
Чтоб не сбиться мне с пути.

Светел город за рекой,
До него—подать рукой,
Если б был бы провожатый
Хоть лядященький какой,

Чтобы встретяся на дороге,
Вежливый, воспитанный,
Чтобы был бы без мороки
В жизни друг испытанный.

Ах,—Чистые пруды,—
Тяжелые груды,
Разметались мои мысли,
Заплутались следы.

Л ю б о в ь ¹⁾

Роман

МИХАИЛ ПРИШВИН

ВЕСНА СВЕТА

Иван - да - Марья

Редко бывает поздней осенью—смилоствивится и проглянет солнце на какой-нибудь час. Но в этот час мы забываем грядущую зиму, и, как самой ранней весной света, поднимаются в душе сокровенные чувства и являются мысли, рожденные в пламени лета. Тогда десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь, листьев на иве, или золотая макушка березы, или очень маленький голубой цветок под ногой разглядываются с каким-то особенным человеческим родственным вниманием.

Нагибаюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю, что это один Иван остался от прежнего двойного цветка Ивана-да-Марьи. Теперь, поздней осенью, обыкновенно фиолетовый Иван заголубел от морозов, а желтой Марьи с ним давно уже нет.

Трогательны эти самые последние цветы. Я не могу даже, как делают все, поднять этого Ивана, чтобы забыться в своем собственном голубом Иване и потом незаметно для себя бросить драгоценный цветок. Тихонечко, чтобы никто не слышал разговора с цветком и не принял меня за безумного, шепчу на ходу, провожая глазами голубого Ивана:

— Иван, Иван, где-то теперь твоя Марья?

Бессмысленные мечтания

Было это давно, в Петербурге, в белую ночь. На Литейном забыли погасить одну электрическую лампочку, и она как-будто совсем напрасно горела всю ночь, такую светлую, что можно было даже

¹⁾ «Любовь», представляя собою самостоятельное целое, является вместе с тем 5-м звеном романа «Кашеева цепь». Четвертое звено — «Юность Алпатова» — было напечатано в «Н. Мире» за прошлый год, в №№ 2, 3, 4 и 5.

газету читать. Но я все забыл, что со мной случилось в эту ночь, а когда вспомнил о лампочке, то все воскресло до мельчайших подробностей. Значит, лампочка не напрасно горела?

Так вот и любовь Алпатова кажется совсем напрасно прошла, а не будь ее, не стал бы я возвращаться к эпохе, когда у тучного русского царя заболели почки, и он вдруг для всех неожиданно умер.

Царь умер. Будто что-то упало в тихую воду: поверхность заволновалась, а в глубине попрежнему плавали рыбы и думали о своих червячках. Но поверхность стала неузнаваема, дворяне-политики зашевелились, чего-чего не говорили о новом царе, собирались, совещались и, наконец, как в басне о лягушках, полезли узнать, царь это или чурбан. Какой-то мудрец научил Николая II чуть ли не единственный раз за все свое царствование ответить ясно и твердо: он назвал претензии дворян на конституцию бессмысленными мечтаниями.

Тогда от нечего делать наши мечтатели стали списывать стишки и передавать их с рук на руки, из губернии в губернию, из края в край, так что скоро вся огромная страна говорила о новом царе в стихах:

Но бессмысленных мечтаний
Ни за что не потерплю.

К Алпатовым слух о выступлении дворян тоже очень скоро долетел через Раменовых. Мария Ивановна ни одного человека не выпускала от себя, не обменявшись с ним мыслями о приеме царем дворянства. Трудно сказать, что подмывало такую серьезную хозяйку интересоваться новостью, не имеющей в повседневной жизни никакого значения. Вероятней всего, это вытекало из ее большой склонности к литературе. Ученая на медные деньги, Мария Ивановна постоянно читала классическую русскую литературу—Достоевского, Тургенева, Толстого, Гончарова, а из иностранных—Шекспира, Диккенса и Сервантеса. Часто, бывало, выслушав какой-нибудь рассказ из семейной жизни соседей, она восклицала:

— Это совершенно так же, как во время родов Кити Левиной.

А то про мужика, обиженного детьми:

— Настоящий король Лир!

И, кто слышал, как Мария Ивановна выговаривала это, на мгновение забывал, что и король Лир и Кити Левина взяты из книг. Казалось, что все эти боги живут недалеко. Вероятно, таким же образом и Олимп населялся.

О дворянах, предложивших царю конституцию, Мария Ивановна сказала:

— Какие-то Дон-Кихоты!

Мало кто из гостей Марии Ивановны читал полного „Дон-Кихота“ со всей волшебной затеей вставных новелл и стихов. Большинство узнало трагедию рыцаря из сокращенного изложения и считало его почти за дурочка. А бывали и такие, особенно из купцов, кто

почему-то принимал тон личного врага Дон-Кихота и злился при этом. Но если такой гость через Дон-Кихота начинал ругать либеральных дворян, Мария Ивановна отчитывала его по „Русским Ведомостям“, называя ретроградным человеком.

Так, закидывая свою удочку у дворян, у купцов, мещан и даже крестьян, Мария Ивановна заключала, что разговоры о конституции собственно к жизни не имеют никакого отношения, но за столом вызывают всегда интересные споры.

Давно, еще в годы молодости, Мария Ивановна через кого-то усвоила, что при дворе во время парадных обедов полагается оставлять на тарелках немного супа. Мария Ивановна видела в этом смысл, обычай из-за того сложился, чтобы царские гости не выказывали на людях свою домашнюю жадность к еде, парадный обед—церемония, а не жратва. Она признала этот придворный обычай полезным и для воспитания своих детей, приучила их, как у Раменовых, оставлять на тарелке немного супа. Теперь она заметила, что у Раменовых доедают суп до конца и, не смея спросить о причинах перемены, догадывалась о перемене обычая при дворе. Так, вероятно, и все эти разговоры о бессмысленных мечтаниях Мария Ивановна в глубине души своей считала просто принадлежностью стола, таким же обычаем, как при старом царе оставлять суп на тарелке, а при новом—доедать его до конца.

Почти с таким же благодушием она уже давным-давно принимала вести о студенческих бунтах, всякий серьезный юноша по ее пониманию непременно должен был побунтовать, чтобы сделаться потом вполне развитым человеком. И когда на ее глазах ее Миша начал заниматься политикой, ей хотя и показалось, что он взял чересчур серьезную ноту, все-таки она видела в этом что-то хорошее и необходимое. Но, когда весть дошла, что Миша арестован по-настоящему и, как серьезный бунтарь, даже отправлен куда-то, не то в крепость, не то в образцовую тюрьму, она очень взволновалась. Скоро, однако, со всех сторон она стала получать выражение сочувствия, и понемногу успокоилась. Все либеральные люди говорили:

— Глухая, мрачная эпоха, только молодежь и выносит все на себе.

О л и м п

Проходят недели, месяцы, наступает день Марии Египетской в конце жаркого июля. Множество гостей съезжается к Алпатовым поздравить Марию Ивановну с ангелом.

Раньше всех приехала своя купеческая родня, тетушка Калиса Никаноровна и мудрый крупчатник Семен Парфеныч Петров.

— Ты, Мария Ивановна,—говорила Калиса Никаноровна,—не очень беспокойся за Мишу, из таких потом выходят очень умные люди.

Мария Ивановна забеспокоилась: она, воспитанная „Русскими Ведомостями“, умными людьми называла вообще достойных людей, а ста-

ринная купчиха Калиса Никаноровна—ловких в торговой и всякой плутне.

— Какие такие умные?—спросила Мария Ивановна, нахмутив лоб.

Калиса Никаноровна, не желая поднимать спор во время именин и расстраивать Марию Ивановну, ответила:

— Я хочу сказать, дельные люди. Возьми в пример Дунечку, она учит деревенских ребят тоже бунтам и безбожию, а самые хорошие ученики ее выходят в дьякона и полицейские. Почему же в других-то школах, где учат хорошо закону божьему, не вышло ни одного дьякона и урядника? Эх, Мария Ивановна, жизнь любит, чтобы ее царапали, и на это она отвечает по-своему, все равно как пикируют капусту: отщипнут кончики корешков, а капуста от этого сильнее растет. Так вот Мишино дело, посидит в тюрьме и еще какой умница выйдет.

— Нет, Калиса Никаноровна,—ответил Семен Парфеныч,—хотя и умные ваши мысли, а все-таки капуста растет не касаясь жизни садовника: сами садовники и огородники часто сидят без капусты. Я понимаю молодежь просто как передовой авангард: с них все мачинается.

Так ответив Калисе Никаноровне, Семен Парфеныч по-своему стал утешать Марию Ивановну:

— Драгоценнейший камень на земле есть бриллиант. И я говорю всем юнцам: берегите свой бриллиант. Нужно, чтобы юноша в это горячее время не тратил сил. Понимаете? Лучше, много лучше, если он в это время посидит в тюрьме, чем станет расходовать свой бриллиант. А если когда он на всех путях своих потерпит крушение или достигнет высшего, то выберет себе жену и найдет в ней мать натуральную для своих детей.

— Не совсем понимаю ваш бриллиант,—ответила Мария Ивановна.

— Скажу попросту,—замаялся немного Семен Парфеныч,—драгоценнейшие капли жизни. Все дело в этом.

Мария Ивановна задумалась. Тяжелые это были часы, когда своя купеческая родня собралась, а веселые люди еще не под'ехали.

— Не так в любви—сказала Мария Ивановна—купеческие сынки теряют свой бриллиант, как в пьянстве, дворян сохраняет воспитание, без этого и кровь не поможет.

— Нет, Мария Ивановна, я сознаю, воспитание и образование помогают от пьянства, но дворянство свою кровь истратило, в этом разе не поможет образование. Дворянство нашего времени утратило мать натуральную.

Мария Ивановна уже по прошлым именинам знала все мысли Семена Парфеныча, что теперь он непременно перейдет на пользу морковного сока для очищения желудка. Мысли были не плохие, но оставались без движения, все тот же на все времена неизменный морковный сок для желудка, и охрана драгоценных капель жизни. Она уже не слушала Семена Парфеныча и придумывала разные спо-

собы, чтобы освободиться. Между листиками дикого винограда, укрывающими террасу от солнца, она разглядела своего сына Николая, идущего по дорожке, только что для именин усыпанной желтым песком. Она схватилась за мысль посадить сына вместо себя, хотела крикнуть „Коля!“, но, как часто бывает у матерей, позвала другого сына Сережу, хотела поправиться и крикнула Сашу, только уж когда дошло до Миши, одумалась, но Николай в это время смекнул и скрылся между липами.

Вдруг, услышав колокольчики, она прямо сказала:

— Извините, Семен Парфеныч,—надо гостей встречать.

Ехали самые любезные и самые непостижимые в своем счастье для Марии Ивановны гости, дворянская беднота Отлетаевы со всеми своими гимназистами, студентами и барышнями. Ехали на линейках голова к голове, и, как только поздоровались, побежали кататься с высоких ометов свежей ржаной соломы. Старшие из вежливости на короткое время задержались в гостиной, но мало-помалу выходили на террасу, потом спускались по ступенькам к цветам и дальше в липовую аллею, в березовую, мелькали между яблонями и скрывались в зарослях родительской вишни.

Все гости были распределены на три группы, как в монастырских трапезных. Высшим накрыли огромный стол в зале, для них готовил повар, привезенный из города, великий обед с торжественными индейками, пломбиром и шампанским. Низший класс валил в людскую, где жили рабочие, там была водка, студень, пироги и рыба (соленая). Средний класс, в котором был приказчик из духовного звания Иван Михалыч, старшина, урядник, некоторые арендаторы из мужиков старый пьяница-дьякон, размещались в том же большом доме, где и высшие, но не в парадных комнатах, а в няинной, прихожей и коридоре. Тут было лиссабонское, та же, конечно, водка, но подслащенная и окрашенная пережженным сахаром. Студень тут был с мозгами и рыба только свежая (сазан и судак). Из года в год порядок был одинаковый, всегда неизменно пьяница-дьякон был в среднем классе, а дяконица Евпраксия Михайловна—в высшем для того, чтобы она сдерживала дякона, когда он пьяный врывался к высшему столу под предлогом, что ему, дякону, надо быть непременно вместе с попом.

Простой народ повалил на именины прямо после обедни и тут всем сразу был и обед, и что кому полагалось выпить, выпивал сразу все стаканами. И потому тут рано все загудело, как в пчелином улье.

Одни, выпивая и закусывая, говорили:

— Ну, спасибо Марии Ивановне, студень так уж студень, рыба так уж как и надо быть.—Вспоминали для сравнения, что соседка Марии Ивановны, Софья Александровна, настоящая столбовая дворянка, кормила на своих именинах простой народ овечьими головками. Никита Васильев, старый умный мужик и ходок по мирским делам, дал на это объяснение.

— Потому что—сказал Никита Васильев—дворянская кровь тощая, а Мария Ивановна из купцов, и купцы вышли тоже из мужиков.

Антропка, тот самый, которым пугают детей, Антропка неверующий, по своему обыкновению скоро об'елся, около него вышла неловкость, и над ним стали смеяться, вспоминая, как он прошлый год на именинах взялся на спор допрыгать на одной ноге со звуком полторы версты, до леса. Смеялись тоже и над работником Павлом, что целых три года растил жеребенка, рассчитывая сделаться хозяином, вырастил, продал и пропил.

— А что ты выгадал?—окрысился Павел.

— Елду выгадал,—поддержал Павла малоземельный Пахом.

Тогда все малоземельные хозяева поддержали Павла и Пахома: издыхать одинаково и на своих наделах и в батраках.

Никита Васильев с другого конца стола услышал спор о земле и встрепенулся:

— Погодите,—сказал он хитро и мудрено,—придет время и вот сколько будет земли, не в силах будет поднять человеку.

Другой затейливый человек, каменщик Стефан, ввязался:

— Ты это о светопреставлении?

— Зачем о покойниках,—ответил Никита,—я о живых. Поумнеют люди и землю побросают. Кто землю работает? Дураки. А когда все будут ученые—кому захочется быть в дураках, все мужики поступят на должности.

Загадку эту об ученых Стефан как-то понял по-своему и, подмигнув Никите, вышел с ним, как будто до ветру.

— Слышал ты про сынишку Марии Ивановны, про Мишутку?—спросил он Никиту.

— Слышал...

Никита и еще кое-что знал:

— Царь-то—сказал он—их шугнул.

— А чего же они лезли?

— Как что? сами в цари хотят.

— Ну, а Мишутка?

— А Мишутка за ученость: этот с ученой стороны.

Когда Стефан с Никитой вошли в людскую, там уже состоялось постановление всех пирующих отправить их к Марии Ивановне и загануть ей притчу о евангельском браке, на котором нехватило вина.

Средний класс,—богатые мужики-арендаторы в синих поддевах и блестящих сапогах бутылками, дьякон, урядник, старшина с приказчиком Иваном Михалычем во главе в это время чинно сидели в большом доме и дожидались. Из предосторожности Мария Ивановна не давала им вина, пока не начнется торжественный обед за большим столом высшего класса, а там тоже нельзя было начать, пока не приедут Раменовы. Отлично понимала Мария Ивановна, что от беднейших дворян с заложенными по двойной закладной именьями до Раменовых

с пятнадцатью тысячами десятин чернозема такое же расстояние, как от безлошадного батрака Павла до мужика большого арендатора, что дворяне тоже разные, и что по правде следовало бы и их разделить, по крайней мере, стола на два, но это было неловко, и бедные должны были дожидаться богатых. Первым приехал из Раменовых губернский предводитель на велосипеде новой конструкции с пневматическими шинами, потом уездный предводитель на английской кобыле и, наконец, сама кавалерственная дама в старинной карете. Важную даму сопровождали верхом бедные родственники, старый гусарский офицер, двоюродный или троюродный брат, просто полубрат, как сами они его называли, с молоденькой племянницей его, какой-то Иной Ростовцевой.

По мере того как под'езжали дворяне, купцы в разговорах теряли всякую развязку, и, когда прибыли Раменовы, сделалось, будто их вовсе и не было. Но случаем почтить Марию Ивановну воспользовались два самых богатых купца, которые совершенно не боялись дворян. Просто Захров по фамилии, а кончил политехникум в Англии, говорил свободно на трех языках, одевался с иголочки и только два имел недостатка в костюме: всегда носил ногти в трауре, и часто виднелось у него при открытом смокинге полпуговицы на недозволенном месте. Он ставил громадный цементный завод с электрической станцией. Всего удивительней, что в этот раз заглянул, наконец, всю жизнь собираясь к Марии Ивановне, и совершенно несродный ей по взглядам первый богач из купцов, Иван Иванович Релкин. Он разбогател на махорке и держался в своем деле и всей своей жизни взглядов самых старинных. Этот маленький старичок, похожий на Суворова, как и Суворов, был способен привсех важных лицах прыгнуть на стол и закричать петухом. Мария Ивановна боялась его и, как сама говорила: пасовала. В этот раз, однако, она решилась интимно побеседовать с ним в уголке в гостиной. Она под'ехала к нему с разговором о бессмысленных мечтаниях.

Релкин сурово молчал.

Стало очень неловко. Тогда Мария Ивановна, сама изменяя себе прямо-таки тоном осуждения сказала:

— Какие-то Дон-Кихоты!

— Индюхи,—сказал Релкин.

И быстро, громко и надолго забарабанил двумя пальцами по столу, так что Мария Ивановна как бы вдруг исчезла сама от себя и до конца пасовала.

С уездным предводителем Мария Ивановна перешепталась о Мише: „нельзя ли что-нибудь сделать“. Но, оказалось, нельзя: дело перешло в Петербург. А в общем,—это уже сказал губернский предводитель, человек с большим кругозором,—„дело это современно-естественное, марксизм теперь в большой моде, есть отличные в столице теоретики, Струве, Туган-Барановский, и зними сам Витте ухаживает. Пользуясь модностью марксизма, товарищ прокурора Анацевич сделает себе

в смысле карьеры отличное дело, и для молодых людей все кончится пустяками“.

После беседы с губернским предводителем Мария Ивановна очень успокоилась и провела торжественный обед великолепно. Неожиданную себе помощницу Мария Ивановна нашла в совершенно до сих пор неизвестной ей Ине Ростовцевой. К вечеру Мария Ивановна, проведив Раменовых, уговорила Ину остаться у нее ночевать и, совершенно в нее влюбленная, пошла с ней вдвоем погулять в аллее и отдохнуть от гостей.

— Ты такая образованная, Ина,—сказала она,—объясни мне, пожалуйста, что такое тип?

— Какой тип?

— Как это говорят: тип, и кончено. А ведь есть же и не тип. Я хочу сказать, что ведь нельзя же подвести всех под тип, есть и просто люди сами по себе.

— Боже мой,—воскликнула Ина,—какая вы Мария Ивановна хорошая.

И обняла ее.

Мария Ивановна, поглаживая ее по голове, нечаянно раздвинула на лбу ее локоны и вдруг остановилась крайне удивленная.

— У тебя такой лоб... я тебя принимала за Ирину из „Дыма“, а ты, оказывается, вон какая...

— Ученая?

— Нет, это другое. Совсем не тип, как я тебе сейчас говорила. А все-таки ты героиня.

Ина опять обняла Марию Ивановну.

Всю жизнь ждала Мария Ивановна в свой удивительный парк тургеневскую девушку и была уверена, что это она, только Лиза—не Лиза, Ирина—не Ирина, что-то близкое, но как-то не совсем сходится..

Они были в конце липовой аллеи, у крайней лавочки, а в конце березовой, пересекающей дорожку в лес, послышался мужицкий пьяный хохот и крики. Сразу Мария Ивановна пришла в хозяйское боевое настроение и, сказав Ине подождать ее немного на лавочке, стала тихонько из-за деревьев подкрадываться к месту безобразия. У нее был отличный навык незаметно подходить. В тот момент, когда выглянула из-за дерева, при громком хохоте всех пьяных работников и других мужиков, Антропка Неверующий пустился на одной ноге со звуком скакать в лес.

Забава работников не оставила на Марии Ивановне никакого впечатления. Это было так известно ей, так обыкновенно, и нисколько не помешало ей вернуться в липовую аллею и там попробовать к тургеневскому женскому Олимпу присоединить еще одну женщину.

Много рассказывала ей Мария Ивановна о своем любимом сыне, как он, с детства настроенный возвышенной девушкой, которую и звали не иначе, как Марьей Моревной, теперь сошелся с новой молодежью и хочет осуществить социализм.

Ина совсем ничего не понимала в социальном движении и, когда Мария Ивановна кончила, ответила ей:

— Как все это странно, ведь у Тургенева в „Нови“ все это описано и, когда описано, мне почему-то представляется, значит, и кончено. Неужели так это и продолжается?

Птица в клетке

Политическое дело „школа пролетарских вождей“ выкопал и содал, как интересный момент современности, один талантливый товарищ прокурора, маленький чистенький петербургский тип, Анацевич. Равнодушно выслушивая все на свете, этот следопыт политики говорил одно только слово „любопытно“, и все-таки держал в своих руках жандармские, сыскные и всякие полицейские управления. Анацевичу пришла в голову мысль собрать из всех высших учебных заведений вступительные прошения студентов, сверить почерки с теми, которые нашлись при обыске, и так установить личности деятелей „школы пролетарских вождей“. Сотни почерков эксперты стали изучать, сличать, складывать из букв прошений слова, переводить их на прозрачную бумагу и потом накладывать слова прошений на такие же слова рукописей.

Экспертиза пользовалась научным способом и, когда слова складывались, личность устанавливалась безошибочно. Тогда жандармский генерал наряжал ротмистра. Молодого государственного преступника брали в тюрьму, сажали в камеру предварительного заключения, и там он оставался забытым сидеть, пока экспертиза не разберет тысячи других почерков. Счастлив был, кому пришлось попасть под конец, но первые более года сидели в одиночках, пока экспертиза не устанавливала личность последнего, и не начиналось настоящее разбирательство дела.

Михаила Алпатова арестовали в самом начале, допросили. Обещали свободу, если сознается, грозили.. Он выбрал себе самый досадный для следствия путь отвергать решительно все. Убедившись, что из него ничего не выпытаешь, его отправили в образцовую тюрьму. Молодого государственного преступника везли в закрытой повозке, потом в отдельном вагоне и опять в повозке до самой тюрьмы. В конторе его обыскали, отобрали все вещи, даже часы и карандаш. Явился начальник тюрьмы, прославленный жестокой дисциплиной латыш, с ним был очень худой, рыжеватый, весь прокуренный ротмистр и кругленький доктор. Все эти начальники сели за столик и стали записывать черты лица Алпатова и другие внешние признаки его личности. Юноша горел внутри и, вероятно, потому у него постоянно менялось выражение лица, даже глаза то были зеленые, то голубые, то темные.

Все, однако, сразу согласились и записали: рост средний. Но, когда надо было определить цвет глаз, начальник тюрьмы сказал:

— Большие голубые.

Ротмистр:

— Не очень большие, зеленые.

Доктор попросил Алпатова смотреть в темный угол, потом на свет и сказал равнодушно:

— Обыкновенные глаза.

Потом все записали, как попало, только в последней рубрике— подбородок—ротмистру надоело подчиняться доктору, вероятно, ему припомнился Чичиков, и он сказал решительно:

— Круглый?

Доктор с усмешкой ответил ротмистру:

— Подбородок после носа самая выдающаяся часть в лице, он не может быть круглым.

— А как же у Гоголя сказано.

— У Гоголя,—засмеялся доктор,— у Гоголя чорт луну в карман спрятал.

Ротмистр заупрямился:

— Нет, я помню, там прямо сказано о лице Чичикова: подбородок круглый.

— Я вам объясню, если вы хотите,—сказал доктор:—Чичиков вообще духовно круглый тип, и в соответствии с этим круглым сделан подбородок. Там образная речь, а у нас обыкновенная.

— Как же запишем? — спросил начальник тюрьмы, очень недовольный болтовней жандарма и ротмистра.

— Так и запишем,—сказал доктор,—обыкновенный подбородок.

После того явился фотограф, сделал несколько снимков, начальник тюрьмы выписал бумагу и позвонил. Пришел старый, но очень криксивый, вооруженный надзиратель. Начальник сказал:

— Отведи, Кузьмич, в двадцать седьмой.

Старик повел Алпатова через двор, по которому шагал часовой, и за ним, совершенно ему подражая, на длинных ногах шагал настоящий дикий журавль.

Алпатов решил спросить о журавле надзирателя, и Кузьмич охотно ответил ему, что у журавля повреждено крыло, и он тут уже второй год.

— Наверно, у вас его и зовут как-нибудь?

— Ну, как же: Фомкой зовут.

— Почему же Фомкой-то?

— Эх,—досадливо сказал Кузьмич,—почему журавль, да почему Фомка, вы это извыше себя спрашиваете.

Это была правда, потому что щобывалому очень жутко идти в тюрьму, особенно в одиночку без срока, и всем хочется схватиться за что-то извыше себя.

Алпатов застыдился.

Когда дверь в тюрьму открылась и надзиратель с арестантом вошли в тюремный зал, то на первых порах казалось, будто окунули

в какую-то вонючую жидкость: так всегда кажется очень сильно в первый раз и потом послабее каждый день после прогулки на свежем воздухе.

Алпатов схватился за нос.

— Привыкнете,—сказал Кузьмич добрым голосом.

Далеко где-то, в двухсветном огромном зале, на том конце, уголовные арестанты в серой одежде подметали пол, и от каждого их движения шваброй через весь зал летела и била в лицо вонючая волна. На чугунных черных ажурных мостиках, соединяющих сверху черные двери камер одиночного заключения, там и тут стояли вооруженные надзиратели и смотрели сверху на Алпатова.

Случилось, что один политический в это время задержался в уборной и вышел оттуда как раз, когда мимо проводили Алпатова. Сразу же на всех мостиках произошел переполох, как будто волк выскочил из канавы, и весь обоз на него заорал. Этот политический—был вождь народников Жуков, но ни он, ни Алпатов не подали вида, что знают друг друга. Жукова повели на ту сторону, Алпатова—сюда, и можно уже по этому было понять, что сидящие по делу народников—на той стороне, а марксисты—на этой.

Когда заперли дверь за Жуковым, то это было в зале не тише, чем на воле пистолетный выстрел. Так же раздалось, когда Кузьмич открыл камеру номер 27-й для Алпатова. Старик привычной рукой прицепил бумагу к серой стене над столиком и сказал:

— Ну, коли что, по малой нужде,—вон там в углу парашка, а по большой постучите. Не хворайте.

И вышел, опять стрельнув ключем на всю тюрьму.

Маленькая комната, семь шагов в длину и пять в ширину, была полутемная, потому что над окном зачем-то висел деревянный колпак. Алпатов с трудом прочитал на бумажке:

№ 27

Михаил Алпатов

Государственное преступление.

Человека, все равно как и посаженного в клетку зверя, бросило к свету. Он передвинул стол к стене с высоким окошком, прыгнул, приставил лицо к железной решетке, и это стало похоже на известную картину в Третьяковской галерее, возле которой у многих выступали на глаза слезы: картина была, как икона голгофских страданий интеллигенции. Алпатов сам видел эту картину, вспомнил о ней и, вероятно, потому стало ему, будто все это не вправду: разве он достоин этого, разве он настоящий государственный преступник?

Но так же часто и встречающие свою смерть не узнают ее, считая себя еще неготовыми к страшному, и это встреченное оказывается не так страшно, как представлялось. А потом, это с воли видят железную решетку и за ней бледное лицо арестанта. Сам же арестант не видит железные прутья, заключенный иногда только

в первый раз знакомится с жизнью: какая она там за решеткой прекрасная...

На дворе из конца в конец ходил кто-то в черной одежде, за ним солдат с ружьем и за часовым Фомка. А за стеной показалась большая крона светящегося зеленью дерева.

Все это продолжалось только мгновенье. В дверь крепко постучали, и там сверкнул из волчка блестящий страшный глаз. Алпатов спрыгнул, подвинул стол на место, сел на табуретку, долго сидел, не расставаясь с видением живого дерева, удивляясь, как он раньше не понимал, что зеленые листья сидят на тонких черенках и трепещут, а ствол, такой большой, крепкий, неподвижный, их держит, и что все там на воле необыкновенно должно быть прекрасно. Так долго сидел человек и точно так бывает с птицей, когда с воли ее пустят в клетку: сначала она непременно бросится к свету, тукнет головой о проволоку, потом долго сидит и снова начинает бросаться.

Алпатов вскочил и стал обдумывать, как бы сделать, чтобы, не раздражая надзирателя, можно было время от времени глядеть в окно на сверкающее дерево. Придумав что-то, он постучал в дверь. Глаз показался.

— Можно форточку открыть?

— Форточка открывается во время прогулки: завтра.

Алпатов пробует, думая, шагать по комнате, восемь шагов по диагонали. Повертелся немного, и вдруг очень захотелось спать. Ложится на железную кровать, прямо без тюфяка.

— Нельзя днем ложиться,—стучит надзиратель,—вечером ляжете после проверки.

Вот когда вдруг подступила тюрьма по-серьезному, без Фомки-журавля, без воспоминания картины голгофских страданий. В раннем детстве Алпатову так пришлось, что кто-то из старших, разыгравшись с детьми, в шутку прикрыл его подушкой и передержал. Мальчик пережил почти все, что переживает человек, задыхаясь до смерти: была зверская злоба на того, кто придушил: будь нож под рукой, пырнул бы, ни мгновенья не думая, что родному хорошему человеку наносишь смертельный удар; потом отчаяние, зеленые круги и после освобождения бесконечное смертельное оскорбление. После того, еще было вроде этого: как разберешься, душит рука незлобная, только не понимающая ужаса жертвы, и объясниться невозможно, нет языка. И еще воспоминание... есть вообще какой-то черный ужас в родной стране. Этот весь „ужас подушки“ вдруг охватил Алпатова, и ему мелькнуло в безумии—разбежаться по диагонали и со всего маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее—разбить стекло и запустить себе острый конец под ребро. На стену страшно смотреть—стена соблазняет, и на окно тоже нельзя—окно соблазняет. И слышатся уже насмешливые голоса: хотел освободить людей от Кашеевой цепи, а вместо этого сам себе разбил голову.

Для некоторых птиц в клетках непременно устраивают верх из полотна, иначе птица о железо или дерево непременно разобьется до

смерти. Но у человека здорового в предельном унижении является новая, часто ему неизвестная, сила. Почти радостный встал Алпатов с табуретки и принялся ходить по диагонали. Иногда он останавливается, и маленьким, найденным в своем кармане, гвоздиком выскребает на меловой стене цифры, делает подсчеты. Он выдумал себе будто-путешествие к северному полюсу, где, хирея над золотом, сидит Кащей Бессмертный. Он высчитает приблизительно, сколько диагоналей комнаты потребуется на все путешествие до полюса. Он будет все время считать, значит, ему кажется, он не помешается и все передумает, о чем читал, что видел в жизни, это будет внутреннее путешествие взамен настоящего.

Будто-путешествие

Очень редко путешественник к северному полюсу отправляется незаметно, обыкновенно происходит торжественное снаряжение экспедиции при поддержке государства, герой необходим для национальной гордости, в мировом чемпионате. Государство заинтересовано. Только уж когда путешественник оставляет корабль, затертый льдами, едет на собаках, когда собаки одна за одной умирают, и вместе с тем гаснут все надежды на славу, когда уже там назади его похоронили, и он там все похоронил, начинается проверка человека самого по себе. Кругом только льды, только ночь или ослепляющий свет, никакой надежды на жизнь, на спасение и все-таки путешественник, замерзая, записывает показания барометра, термометра и секстанта. Он уже не движется, а сидит между ледяными глыбами под навесом из тюленьей кожи и мало-по-малу сам обращается в лед. Какая же сила двигала его рукой в последний момент, когда он записал последнюю цифру?

Не эта ли самая сила является в бедной комнате без всяких игрушек, когда мать, отправляясь на рынок, запирает своего ребенка? Поскучает, поплачет мальчуган, потом берет полено, другое, третье, складывает что-то и говорит: „Пусть это будто пароход“. Мальчуган садится на свой пароход, отправляется в будто-путешествие и, когда мать возвращается, не обращает на нее внимания, или даже, гордый в обиде, попросит ему не мешать. А почему же и юноша в тюрьме, предпринявший внутреннее путешествие, шагая из угла в угол, будто к полюсу для освобождения человечества от Кашеевой цепи, меньше герой, чем путешественник к настоящему полюсу, где тоже нет ничего, кроме сказки и льда?

Плохо, что в политической тюрьме, в этой строгой и образцовой, не давали бумаги, пера и чернил, а то Михаил Алпатов наверно бы писал дневник своего путешествия, и, может быть, оно было бы не менее увлекательно, чем настоящее путешествие. Сколько было замечено им через окошко летом перемен в жизни природы, таких тонких переходов от лета к осени, каких никто не замечает на воле!

Сколько было нечаянных радостей и разных событий! В тюрьме были свидания у политических с девушками, неизвестными заключенным, как с невестами. Раз какой-то будто-жених потребовал себе даже браца, и ему не могли отказать в таинстве. После венчания будто-муж был отведен в одиночную камеру, а будто-жена—в одиночную жизнь на воле. Были ужасы не меньше, чем в полярных путешествиях. Раз был крик на всю тюрьму, и слышно даже было падение тела, и вслед за этим как стрельба из пушек: так били скамейками все политические в двери своих одиночек. А потом вынесли тело несчастного Элиазберга.

Алпатов слышал и падение тела, и стук скамеек, сам бил скамейкой зачем-то и после того долго дрожал. В ту же ночь полюбивший его старый Кузьмич шепнул ему через волчок, что освободилась светлая камера, и он бы попросил начальника перевести его туда. Утром Алпатов заявил, его перевели, а стекло в окне уже было вставлено, и от Элиазберга никаких следов не осталось.

И прямо после такой беды в той же самой камере ужаса—большая радость, потому что на окне не было деревянного колпака, и открывался большой горизонт для наблюдений. Светящееся дерево стало видно отсюда все до земли, под ним большая зеленая площадка, ниже труба парохода и дальше поворот реки, где показывается весь пароход. Дерево теперь меньше светилось, темная густая крона была тронута осенью, там и тут были желтые пряди. Облюбован один домик на горной слободе, прекрасно сверкающий окнами на солнце. После этой боьшой перспективы таким маленьким кажется тюремный двор. Фомка начал останавливаться, поглядывать вверх. Не ожидает ли он журавлей, не собирается ли с ними удрать из тюрьмы?

Долго нельзя было привыкнуть жить под волчком; знать, что во всякое время могут наблюдать тебя, и никогда нет уверенности, что живешь один сам с собой. Но всевидящее око не бессмыслица, мы все живем под чьим-то глазом непременно и не обращаем на это никакого внимания. Кузьмич заглядывает к Алпатову больше только чтобы предупредить, когда приближается начальство. Но, когда тихо в лакированных башмаках бродит по залу сам Анацевич, Кузьмич не смеет глянуть в волчок и шепнуть: все до одного человека боятся этого маленького чиновника в штатском. Анацевич заглядывает в камеры не для порядка: он изучает, следит за человеком в щелку и через это что-то получает себе. Не раз он видел и Алпатова, когда тот и не подозревал, что за ним кто-то смотрит. Однажды Алпатов улыбнулся чему-то на пути своем к северному полюсу. Эту улыбку заметил Анацевич, и она ему не понравилась. Бывает, в одиночестве заключенный улыбается чему-то близкому, общему и понятному всем. К такому интересно зайти, там можно рассчитывать на какое-нибудь соглашение, улыбнувшийся чему-то житейскому может даже сделаться отличным сотрудником. Бывает, улыбается близкой улыбкой и большой умница, у которого все обдумано и решено. Интересно с таким

побеседовать, помериться ловкостью завитушек в придумках. Но какой интерес заговаривать с юношей, измеряющим шагами целые меридианы?

Мало-по-малу, однако, Алпатов почему-то меньше вертится по камере и больше проводит время на столике у окна. Анацевич хочет узнать, не поумнел ли уж отчего-нибудь этот юноша: бывает, в тюрьме человек вдруг и поумнеет.

Алпатов чуть не упал со столика и растерялся.

— Любуетесь?

Алпатов ничего не сказал.

— Как вам живется?

— Благодарю, ничего.

— Не надо ли что-нибудь вам от прокурорского надзора?

— Я хотел бы знать, когда хотя бы приблизительно будет конец?

— Это зависит от вас: признайте свой почерк, и завтра вас выпустят. Экспертиза у нас научная, установлено точно: „Женщина и социализм“ Б. беля—ваш перевод, а так же отдельные главы Меринга, Каутского, спор Энгельса с Дюрингом целиком ваш. Видите, как точно.

Алпатов заметил кончик маленького лакированного башмака товарища прокурора, на который спускались новенькие английские брюки. Когда Анацевич испытующе смотрел на Алпатова, он глядел на этот кончик, и через это ему представлялась квартира Анацевича, его письменный стол, пресспапье с Эйфелевой башней. И все это как у всех делает его каким-то несильным. Он идет определенной дорогой, а не по меридиану, будет непременно прокурором, директором департамента, или послом во Франции, и даже в Англии среди лордов Анацевич будет нужным, необходимым человеком; он же, Алпатов—экзотика, невольница восточного рынка. Стыдно под нагим глазом, тупится, краснеет и не сводит глаза с кончика лакированного башмака с английскими брюками.

Это почувствовал в себе Алпатов, схватился и с презрением сказал Анацевичу:

— Даже астрономия ошибается в своих вычислениях, а что же это за наука, экспертиза почерков? Я не писал.

— Очень, очень жаль. Значит, вам ничего не надо от прокурорского надзора? До свиданья.

С порога тихо бросил:

— А может быть вам хочется побеседовать по этому делу более углубленно,—я к вашим услугам.

Алпатов опять потупился. И Анацевич опять подходит.

— У вас столько времени думать, неужели вы не поняли своей ошибки?

— Какой же?

— Не будет никакой мировой катастрофы, и все совершится обыкновенно, самое же ваше рабочее государство явится самым обыкновенным порядком. Ваша ошибка в том, что нельзя в государственных делах руководствоваться любовью к человеку.

— Я не любовью,—вспыхнул Алпатов,—я руководствуюсь экономическими законами: любовь, искусство—это надстройки.

— Я тоже считаю это неоспоримым в общественной жизни, но лично вы живете примером Христа и хотите пострадать за человечество. Это совсем не государственный путь.

Анацевич улыбнулся, подступая к Алпатову, и даже осмелился взять его за пуговицу.

— Вы хотите для спасения рабочих отдать свою молодую прекрасную жизнь и делаете это совершенно напрасно. Сейчас я проходил сюда в тюрьму грязной улицей, на дороге лежит без сознания какой-то человек, мертвый, больной или пьяный. Я звоню к дворнику и говорю: „Убери!“. Он не слушается. Я беру его за шиворот и говорю: „Убери, негодяй, или я сейчас же тебя отправлю в участок“. После того дворник извиняется, свистит извозчика и увозит человека в больницу. Так я делаю, а вы из-за любви к человеку несете его на своих плечах к себе в комнату, пьяница приходит в себя и делает вам же, спасителю, большие неприятности. Вот вы обдумайте это хорошенько, стоит ли идти на Голгофу, если для спасения одного гражданина достаточно взять другого за шиворот и погрести. Вы это, молодой человек, хорошенько обдумайте, а я как-нибудь еще к вам заверну.

И вышел из камеры.

Алпатов заметался с новой силой по камере, с новым вопросом: как это множество людей, подобных Анацевичу, живут и успевают без всякого знания о мировой катастрофе, с одной только находчивостью в решительный момент поймать гражданина за шиворот? На мгновение он отнимает у себя уверенность в мировой катастрофе, которой должны подчиниться все одинаково и выйти из нее в едином для всех законе жизни. Страшная картина открывается ему: лес, наполненный обезьянами с быстрыми движениями, с безобразным хохотом, и среди них он, Алпатов, идет, почти презирающий себя, что не может быть обезьяною.

В этом будто-путешествии по одиночной камере внезапное вторжение другой чуждой жизни оставляет в душе такое же волнение, как на море при безветрии мертвая зыбь. Треплется бедная лодочка по мертвым волнам, неведающим своего происхождения. Бессильно полощется парус.

Алпатов цепляется за правонарушение, он думает, будто потому он так взволнован, что товарищ прокурора, который должен быть заступником права перед жандармами, сам является худшим из всех жандармов и пытается утонченно свою жертву. Ему кажется, что на это можно бы кому-нибудь пожаловаться, и все дело только в том, что он не знает кому. Он мечется в бессильных придумках, перебирает разные высшие учреждения, сам едва отличая сенат от синода. Наконец, ему приходит в голову, что можно послать жалобу на высочайшее имя. И мысленно он стал сочинять жалобу. Ему приходилось, за отсут-

ствием бумаги, писать слова в воздухе, удерживая буквы зрительной памятью. Но уже в самом начале большое И в словах „Высочайшее Имя“, стало отделяться, расти выше, выше в небесную бесконечность. Сообразив, что И удаляется в высоту в подтверждение слова Высочайшее, Алпатов одумался и расхохотался. пробовал повторить опыт для потехи, но И не захотело смеяться над собой и не поднялось. На несколько минут эта забава с высочайшим именем освободила Алпатова от плена каких-то мельчайших лилипутов, тыкающих его булавками, но скоро вспомнилась другая обида: начальник тюрьмы отказался передать ему присланную с воли книгу Шекспира „Кинг Джон“ на английском языке, потому, будто бы, что английского языка у них никто не понимает, и книга может быть нелегальной. Алпатов сослался на Шекспира, но начальник сказал, что „Кекспира“ у них никто не знает, и „Кекспир“, как всякий писатель, может создать нелегальную вещь. Жестулируя, Алпатов стал возмущаться, что в образцовой тюрьме нет библиотеки, но начальник крикнул ему: „Руки по швам“ и погребовал от него, чтобы во время поверки он всегда непременно держал руки по швам.

Кому же на это пожаловаться? Конечно, товарищу прокурора. Но, как только мысль вернулась к этому заступнику права, бросились все лилипуты с новой силой колоть своими булавками.

Медленно ползет тюремное шерстяное, колющее время и, когда переползет сегодня, вдруг пропадает, убегая назад с огромной быстротой. Кажется, это вчера только был Анацевич, а уж с тех пор неделя прошла.

В сумерках за воротами раздался выстрел. Алпатов вскочил и успел рассмотреть до наступления темноты: у дерева на площадке вергелась подстреленная кем-то собака. Через минуточку собака легла у самого дерева, сплуснулась и скрылась в наступающей тьме. А утром, когда Алпатов поднялся к окну взглянуть на убитую собаку, блеск молодого снега так ослепил его, что голова закружилась, и он чуть-чуть не упал. За одну только ночь выпало столько снега, что от собаки под деревом торчало одно только ухо, а след какого-то животного был так глубок, что цепочка его даже из окошка тюрьмы ясно виднелась и, голубея, уходила, теряясь, в перелесок.

Было румяное утро.

Не забылось это румяное утро над свежим снегом. Но когда оно было?—Вчера? Нет, не вчера, а недели уже две тому назад: все это время пропало. Теперь уже осадил снег дождиком, и собака вся на виду, вокруг нее все истоптано кем-то, и на дубу воронье. А вот и это переменилось и ускочило далеко назад, все опять завалило, река перестала куриться и скрылась под снегом. Но, когда река скрылась, дрова скрылись и небольшие кусты потонули в суметах, собака почему-то поднялась над снегом и лежала вся на виду. Как же это могло случиться?

Алпатов ходит из угла в угол и думает об этом странном явлении день, другой и третий. Ему иногда кажется, что на пути к северному

полюсу он так много передумал, такие большие сделал открытия. Но что же это значит, если вот уже третий день он засгает себя на одной мысли: „Как поднялась убитая собака из-под глубокого снега?“. И что, если все передуманное им в тюрьме тоже вертится около чего-нибудь одного и не движется с места, время летит, и от этого кажется мысли летят. Растут сильно волосы, что если только и есть, что волосы растут, и в этом весь смысл тюремного времени?

Последнее открытие было сделано над месяцем. Солнце всегда солнце, хотя бы и в пасмурный день, но месяц пропадает совершенно, неделю, две иногда он растет невидимо, незнаемо под тучами, и вдруг показывается, весь сияющий над огромной своей волчьей равниной. Раньше всегда думалось о месяце по календарю в виде чередом следующих фаз луны, а в действительности, оказывается, часто бывает, что месяц появляется вдруг и сверкает—в этом и есть открытие заключенного.

Алпатов поднимается к окну, любит белую волчью равнину и замечает под дубом две какие-то мелькающие тени. Он догадывается: кто-то хлопчет по ночам над мертвой собакой. А утром новое небывалое событие: собака немного от'ехала от дуба. Собака, оказывается, путешествует.

Приходит вечер, ранняя большая бледная луна укрепляется, разгорается и совершенно овладевает ночью. И опять являются какие-то тени. Сделано наблюдение: собака едет влево от дуба.

Тусклый свет лампы с потолка освещает наблюдателю через волчок бледное лицо молодого заросшего волосами путешественника к северному полюсу, а когда подходит к окну, лунный свет заливает его спину. И тут же рядом за стенкой, всего в каких-нибудь четверти аршина, точно так же из угла в угол ходит лучший друг его, Ефим Несговоров. Стучал Ефим не раз, но ответа не получил от Алпатова. И так оба ходят, не зная друг о друге ничего. Если бы знали?

Тихо. Бархатно в лакированных башмаках прогуливается по залу товарищ прокурора Анацевич и время от времени поглядывает через волчки на маниаков, забравших в голову неподвижную идею мировой катастрофы. Анацевич сегодня собирается сделать интересный эксперимент над Алпатовым. Берет ключ у Кузьмича, открывает, внезапно входит.

— Здравствуйте, как вы поживаете, не нужно ли что-нибудь вам от прокурорского надзора?

— Книг не пропускают, дайте мне книг.

— Я захватил для вас самую интересную, только на немецком языке, но вы, конечно, владеете?

Алпатов молчит. Он подозревает предательство. Ведь он с немецкого языка переводил и на допросе дал показания, что с языком незнаком.

— Бросьте,—говорит Анацевич,—мы же все теперь знаем, ваше сознание нам нужно исключительно для оформления дела и скорей-

шего решения. Будьте немного деловым человеком, пока вы не дадите письменного показания, все наши разговоры не имеют для дела никакого значения. Я принес вам новую, интереснейшую книгу Бернштейна.

— Социал-демократа?—спросил Алпатов.

— Да, этих социал-демократов теперь называют ревизионистами. Они доказывают, что мелкое производство не очень страдает от концентрации капитала, что оно очень даже устойчиво, и, значит, концентрация капитала вовсе не имеет того значения, как у Маркса. Словом, мировая катастрофа, на которую вы уповаете, вовсе даже не имеет научного основания. Ревизионисты сильно ее отсрочили. Заметьте, ревизионисты—настоящие социал-демократы. Но чем же мы, буржуазия, гарантированы, что при такой быстрой эволюции партии новые вожди ее не согласятся с нами: дело, может быть, обойдется и совсем без катастрофы.

Анацевич оставляет книжку на столике и уходит из камеры.

Алпатов поднимает на стол табуретку, забирается вверх к лампе и читает. Все, конечно, оказывается не так остро, как сказал Анацевич, но все-таки тон книги и общий смысл ее, действительно, ставят читателя в раздумье о возможности близкой мировой катастрофы. И Алпатову на время ясно теперь видится своя собственная зарубка в уме о мировой катастрофе: он не может опровергнуть Бернштейна, потому что он пришел к идее мировой катастрофы от сердца своего. В раннем детстве он слышал чей-то голос, строго предупреждающий: „Деточки, деточки, по краешку ходите, затрубит архангел, загорится земля и небо“. На место сказки стала теория, и сердечный поток закрепился железной формулой. Теперь коварная книга размывает постройку, потому что самое дело, питающее формулы, ускользнуло из рук.

Вдруг падучая звезда перечеркнула решетку тюрьмы. Какое-то небесное тело чиркнуло по земной атмосфере. А может быть и потому оно накалилось, что земля слишком скоро мчалась?

Алпатов радостный вскочил и подумал, забывая о диалектическом движении истины:—„А вот же это верно, земля вертится и движется, как можно это опровергнуть?“. Но сейчас же захотелось это и доказать такому же Антропке Невеющему, вроде Бернштейна.

— Сначала опровергну Антропку,—сказал Алпатов,—а потом примусь и за Бернштейна.

И вдруг Антропка, оказывается, не такой уж дурак, он отвечает Алпатову, что, может быть, земля и круглая, и вертится, да ему в этом нет никакой надобности: он живет постоянно на плоской и неподвижной земле. Да и сам-то он, Алпатов, разве на шаре живет? Если бы на шаре жил, то шар бы непременно ему пригодился на что-нибудь, а между тем он до того ему ненужен, что даже забылось школьное доказательство круглой поверхности земли, помнилась только мачта, на морском горизонте выползающая раньше самого корабля, но это

же чисто детское доказательство. А жить можно совершенно одинаково, если принять, что земля круглая или плоская.

Тогда вдруг все перевернулось, и Алпатов ответил Бернштейну, как бы став на сторону Антропки:

— Не могу ничего, товарищ, сказать о вашей ревизии Маркса; для всякой научной гипотезы существует практический корректив, а я человек, заключенный в тюрьме, лишенный всякого дела.

Но после такого ответа и путешествие к полюсу, наблюдения и думы в пустоте представились таким жалким бредом, таким болезненным кошмаром. Все провалилось куда-то, и Маркс, и Галилей, и Антропка, только бесчисленные лилипуты стали колоть не только душу, но даже и тело, булавками. Есть ведь у человека такая пята, что уколешь в нее, и никак не поймешь, в душу это или в тело попало. Алпатов место боли даже пальцем прижал, и тут болеть перестало, но зато боль душевная началась с новой силой.

В изнеможении сел он на табуретку, облокотился на стол и держал голову руками, как постороннее тело. Из множества прочитанных когда-то путешествий к северному полюсу перед ним встали теперь картины последних усилий замерзающих людей.

Вот, укрываясь от бури, путешественник сел между двумя огромными ледяными горами. Через короткое время он тоже обратится в ледяной комок, прикрытый лохмотьями. И он уже готов отдаться потоку обратному, становится легче, встает даже мысль, что вся жизнь, вся борьба—сплошная ошибка, и гораздо легче просто отдаться смерти, что люди оклеветали смерть, и на самом деле, как ясно видно теперь, она вовсе даже не зло, а милость природы. Но когда самому хорошо, то хочется, чтобы и другим хорошо было, жалко стало бедных людей, и вроде того вышло, как если бы чей-то умоляющий дружеский шопот начался во льдах. А это был не друг от людей, это южный ветер ласкал, тот самый, который дальше и дальше к северу угонял ледяные поля. Но путешественник это принимает за ласковый шопот, поднимается и, как отец делает завещание сыну, так он наносит на карту последнюю свою цифру широты и долготы в дар новому путешественнику, которому дано открыть северный полюс.

Явственный шопот раздался в одиночной камере:

— Что, худо вам?

Алпатов встал, подошел к волчку и ответил:

— Худо, Кузьмич!

— Ничего, потерпите, это пройдет, значит, так надо.

— Зачем же надо, кому?

— А как же, вот нынче еще привезли пять человек, каждый день везут, вы не один, это надо понять.

— Да как же понять-то?

— Так и понимать надо, вы же никого не убивали, не грабили и сидите вместе с разбойниками. А что ни день, то все больше и больше везут. Это значит: Израиль вышел.

Алпатов уже не раз слышал от Кузьмича о каких то сроках, назначенных людям и земле их в библии, и потому сразу догадался, что значит: вышел Израиль.

— Из Египета в Палестину? — спросил он.

— Да, — ответил Кузьмич, — вы знаете, и еще надо вам вспомнить, что не отцы, а только дети их придут в обетованную землю.

Кузьмич быстро закрыл волчок. Верно, проходил кто-нибудь из начальства. Но Алпатову вдруг стало светло и тепло: он идет к северному полюсу, рядом идет, наверно, еще кто-нибудь, и еще, и еще, и каждый день прибывает таких все больше и больше, и с ними со всеми старый Кузьмич тоже плетется в свою какую-то землю обетованную.

Расстрел васильков

Невозможная жуть бывает, когда вдруг неожиданный дождь ломает лед, растопит снега, и земля, уже однажды умершая, кажется, второй раз умирает. Собираются на кончину мутные самые короткие дни, и господствует вдали над городом рыжее электрическое небо. Страшны эти русские ночи, у того, кто их пережил, рука бы опустилась взять свою юность назад и повторить все еще раз. Только одно и утешает, что и южному жителю от чего-нибудь другого приходится так же, как и северному, что каждому, если только он мало-мальски на что-то похож, приходится хоть раз в жизни испытать то же самое, что испытывает настоящий путешественник в полярных льдах.

Алпатова это и поддерживало, что другого нет выхода, что так надо непременно. Только временами встает соблазн, какая-то угадка что если бы...

Вот, что значит это если бы не?

Если бы не..., то встает перед ним какая-то сладостная и недозволенная высота. Если бы не..., то свои собственные мысли взлетели на вулкане огненной страсти, а не ложились бы на спину где-то эти чужие формулы, как отпечатки шагов ступающего куда-то вперед человека. Вот бы хоть раз взлететь самому на всю свою высоту!

Бывает, смутно мелькает безумная радость, когда поднимаются снежные вихри, и потом на утро солнце встает над снегами, и через форточку пахнет как-то вместе и морозом и солнцем. Может быть это бывает от того, что великое множество людей в горе своем жаловались морозу и солнцу, в радости, как людей приглашали на пир, и так у них там много накопилось всего человеческого, что достается и заключенному через форточку камеры. Раз в сумерках показалось Алпатову, будто кто-то остановился у окна и светит не последними остатками короткого зимнего дня, а сам от себя. Вспомнилось из раннего детства такое же: он был у Марьи Моревны, Голубой так же стал у окна, и Марья Моревна сказала: „Это, милый мой мальчик, день прибывает“.

Больше двух недель после того стояла хмурая оттепель, и прибавка дня была незаметна. Утро в тюрьме всегда начиналось не светом, а хлопаньем замков и потом шарканьем туфель уголовных, убирающих свои матрацы. Потом, когда это смолкало, раздавались одиночные выстрелы замков политических камер, и уже потом, долго спустя, за чаем начинался рассвет. Но и шарканье туфель уголовных далеко до рассвета после глухой ночи бывало почти так же радостно, как настоящий рассвет. Пришел же наконец и такой день, что еще до шарканья туфель Алпатов открыл глаза и увидел: там, наверху, за железной решеткой, стоит Голубой.

Не одеваясь, бросился заключенный к окну, а там после первого света начались перемены. Над землей опрокинулось небесное море из малиновых волн. В тишине поднимались дымы, как столбы, и всем своим множеством поддерживали над слободой небольшое серое небо. Летела ворона. Не простая, казалось, ворона начинала торжественный день. Впрочем, она не была простою вороной, но она летит клевать мертвую собаку. Но там две лисицы. Ворона делает круг и садится на дуб. Верно, что-то было такое и прошлый год, тоже после долгих пасмурных дней внезапно на свету ночные звери сходились с утренней птицей. Ворона знает порядки, тихо слетает с дуба на снег и начинает к лисицам подпрыгивать. Лисицы оглядываются на ворону и, поняв, что день начинается, бросают собаку и отправляются в лес.

Так, новое утро с прибавкой света открыло Алпатову тайну движения собаки: лисицы спорили за нее, тащили каждая в свою сторону и так, понемногу, собака двигалась в левую сторону, потому что одна лисица была сильнее другой.

Заключенный стоит и не слышит шарканья туфель уголовных и после отдельные повороты ключа на той стороне у народников, и тут постепенное к нему приближение. Наконец, Кузьмич открыл дверь и велит скоро и чисто вымыть камеру: сегодня на поверку с начальником придет доктор и ротмистр.

Нельзя знать, зачем придут все начальники, но хуже не будет от них: вот тем и хорошо в тюрьме, что хуже нет ее ничего, и если что случится, то уж скорее в хорошую сторону. Конечно, думать о чем-нибудь хорошем все-таки очень опасно, но мыть камеру очень весело. Захлопали двери, вот подходит сюда ближе и ближе. Алпатов готовится. В тот раз, когда начальник сказал: „Руки по швам“, он опустил только правую руку, левую он оставил на столе, и, если бы начальник велел ему и эту руку опустить, он бы не послушался. Начальник понял и не настаивал. С тех пор и установилась определенная поза, одна рука у кармана, другая на столе.

Дверь открывается. На пороге начальник, ротмистр и доктор.

— Здоровы? — спрашивает доктор.

— Часто болит голова.

— Стул?

— Ничего.

Начальник сказал:

— Вам письмо.

И подал.

Жандарм спросил:

— Есть невеста?

Алпатов подготовлен к вопросу.

— Есть.

— Это вам от невесты.

Чуть-чуть не сорвалось „благодарю“, но доктор велел:

— Покажите язык.

Вынул книжку и записал.

Выслушал. Ощупал живот. Все записал.

Последние слова были:

— Вам дадут пузырек, пришлите мочу.

И все двинулось дальше.

Теперь Алпатов опять совершенно один, но в письме милый и ты. Ни одна девушка ему еще не говорила милый и ты.

Конечно, это какая-то неизвестная девушка разыгрывает роль тюремной невесты. Но пьеса прекрасна в тюрьме, особенно если из форточки пахнет морозом и солнцем.

„Милый мой, — пишет невеста — я по пути к нашей маме, скоро заеду к тебе на свидание и потом передам ей все о тебе. А после пасхи я непременно за границу. Очень надеюсь, что прямо после пасхи тебя выпустят. Встретимся за границей и там мы будем жениться. Любящая тебя Ина Ростовцева“.

С крыши льется капель. На дворе часовые поставили ружья к стене, и один подсаживает другого ставить скворешник. Откуда-то взялась старая согнутая старуха с бородкой, выпускает Фомку-журавля и, слышно, там говорит:

— Ну, погуляй, погуляй, Фомушка, теперь уж ты не замерзешь.

Фомка вытягивает шею, глядит наверх, и оттуда прямо на него падает золотая капель. Выпивает немного из лужицы, чистится, подбирается и начинает шагать.

Возле дуба явилась новая живая большая собака. К этому большому рыжему псу подскочила маленькая пестрая и лапкой ударила по носу. Большой не понял. Она еще раз, и побежала. Он все стоит. Она возвращается, становится на задние лапы, обвивает передними шею, тербит за ухо и бросается. Понял! Она от него. Он настигает. Она же вдруг обертывается и кусает его по настоящему. Он обижается, зализывает рану, а она опять начинает играть, и опять он бежит и получает новую рану. Так весь день до вечера она заманивает, и он в дураках.

Зачем это так?

Теперь от раннего утра и до вечера Фомка с каким-то планом шагает по двору, совершенно так же, как и Алпатов, вымеривая ша-

гами длину места своего заключения. Кажется, будто и он получил весть от своих журавлей с таинственными словами, о которых, шагая по двору, нужно долго думать, чтобы понять.

Каждый день Алпатов вчитывается в письмо и непременно открывает в нем что-нибудь новое. Ведь не может этого быть, чтобы в письме невесты без всякого смысла были подчеркнуты два раза слова: после пасхи.

На белой бумаге таинственные следы фиолетовыми чернилами, на белом снегу голубые следы различных зверюшек. Теперь все идет заодно. Стало против тюремного замка солнце. Плывут теплые облака, а мороз сверкает на снегу всеми своими звездами. Солнце склоняется вправо, и на этой же правой стороне всякого следа человека, собаки, лисицы ложится в левую сторону тень и непременно голубая. А когда солнце село, и скрылись следы на земле, голубые звезды на небе показались следами разных небесных зверюшек.

Есть ли там человек?

Таинственные фиолетовые слова на белой бумаге нашептали Алпатову, что везде человек, что мороз не старик, а молодой охотник, бродит днем по голубым следам на снегу, а ночью по небесным следам. Луна — это морозова Прекрасная Дама. Только молодой охотник, переходя с земных следов на небесные, перенес, наверно, свои земные страсти с собой: вдруг закрылась луна и все звезды. Не потому ли все и закрылось, что охотник посягнул на свою невесту: детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано.

Настал великий праздник весны света. Ранним утром все сошло вместе. Солнце вставало в красном, мороз в белом, луна в бледно-зеленом, звезда без одежды: утренняя звезда была сама голубая. Когда солнце, разгораясь, скинуло свою первую красную рубашку, мороз спустился на деревья и густо покрыл их инеем. Подымаясь из-за деревьев, солнце скинуло вторую красную рубашку — дунул ветер, с деревьев стали слетать снежинки, как лепестки у отцветающих яблонь. И когда, наконец, солнце скинуло последнюю рубашку весь мороз на деревьях обдался росой.

Тогда внезапно открылась дверь тюремной камеры, и Кузьмич сказал:

— Одевайтесь!

Алпатов прыгнул вниз, но и там не перестали чудеса весны света.

— Кузьмич, куда же это меня?

— На свиданье, — ответил Кузьмич, — невеста приехала.

Знал ли Кузьмич, что невеста не настоящая? Едва ли он думал об этом: для заключенного каждая девушка будет невестой, дали бы только свидание.

Она вошла в дверь комнаты свиданий под густой вуалью и стала по ту сторону частой двойной решетки. Он вошел со стороны тюрьмы. Их разделяла двойная железная решетка. Возле него у окна стал

жандармский ротмистр, возле нее за решетками сел на подоконник начальник тюрьмы, вынул часы и сказал:

— Десять минут!

Жених и невеста молчат. Жандарму захотелось помочь:

— Пользуйтесь, всего десять минут.

Начальник тюрьмы прибавил:

— Две минуты прошло.

Она делает шаг к решетке, другой шаг — и решается:

— У вас тут, я вижу, на дворе журавль ходит, это настоящий дикий журавль?

Сразу явились слова:

— Да, это просто журавль, меня вначале тоже это больше всего удивило.

— Почему же он не улетает?

— У него заживает крыло.

— А когда заживет—улетит?

— Непременно.

И все кончилось. Осохла земля. Долго молчали.

Она повернулась к окну и сказала:

— Вон опять идет.

Он ответил:

— Журавли природные часовые, я сам видел в полях: часовые.

Начальник тюрьмы зевнул и сказал:

— Вам остается всего четыре минуты.

— Да, надо спешить, — решила девушка под густой вуалью: — я тебе писала, что еду за границу учиться.

— Почему же не здесь?

— Потому что я с детства слышу, что настоящая жизнь за границей, а у нас только перенимают.

— Я тоже так слышу.

— Поезжай же и ты за границу.

— Как?

— Просто поезжай после пасхи. Там не дороже учиться.

— Я догадывался о после пасхи из письма, — это верно?

— Верно. Тебе будут предлагать на выбор разные города, но можно и за границу. Это можно.

Жандарм остановил:

— Прошу перестать говорить намеками.

Начальник:

— Остается только одна минута.

Жених и невеста умолкли. Журавль подошел близко к окну.

— У него, наверно, есть какое-нибудь тюремное имя? — спросила она.

— Его зовут Фомкой, — ответил Алпатов.

Начальник прекратил разговор:

— Свидание кончено.

— До свиданья!

Она подчеркнула зачем-то слогами:

— За гра-ни-цей.

Единым многоцветным кристаллом просверкал весь день. Ночью что-то случилось, и в предрассветный час снегом залепило окно. А когда совсем рассвело, то все стало понятно: весна света кончалась.

Снег матовый, лес шоколадный. Алпатов совсем забыл о своем путешествии к полюсу и разгадывает тайный смысл долетавших на свидании музыкальных слов.

В другую ночь небо опять не открылось. Земля спала под теплым одеялом и надышала. Утром прилетела синица на тюремное дерево, села возле скворешника и запела весенним голосом: „За границей, почему за границей, а не у нас?“.

Сдался мороз. Опустились синие тучи. Пошел мелкий дождь, и на окнах тюрьмы показались первые серые слезы весны.

— Почему — думает Алпатов — мы должны видаться далеко, за границей, а не встретиться здесь и потом поехать вместе?“.

К вечеру небо открылось, и серые слезы весны на тюремном окне стали кристаллами. Закат был раскидисто красный, и когда солнце село, то вырвался вверх красный столб в виде угрожающего перста: — „Погодите, вот я вам дам!“.

В эту ночь перед сном Алпатову вдруг стало стыдно себя самого. Стало ему на душе, как бывает, когда замерзнет сверху вода, а снизу сбежит, между льдом и водой останется пустое место: внизу бурлит холодная черная вода, вверху на пустоте висит лед-тошак.

На одно мгновение во сне показалась девушка за решетками под густой вуалью и стала вдруг где-то далеко за границей. Он едет за ней, конечно, в Италию, и ему говорят: „Русская девушка остановилась в электрической вилле с померанцевыми деревьями“. На улице везде суета, нет никому никакого дела, все встревоженно шепчут: „Начнется в воскресенье в Германии“. Он очень смешон тут со своими расспросами о русской девушке и электрической вилле. И там, на вилле он получает строгий ответ: она, конечно, в Германии. Он садится в экспресс, мчится в Германию и выходит на улицу большого города как раз в воскресенье. Раздаются ужасные взрывы, рушатся дома, но рабочие все идут, идут по развалинам, а там новые, новые взрывы. Почему же Алпатов, ожидавший, как великого счастья, мировой катастрофы, теперь испугался и прячется за камнями? Новые, страшные взрывы, и среди камней мировой катастрофы показывается Бебель. Алпатов хочет спрятаться от него, но Бебель заметил и спрашивает по-немецки: — „Кажется, это вы, Алпатов, переводили мою книгу о всемирной катастрофе и женщине будущего, почему же теперь вы прячетесь?“. Тогда Алпатов, как на экзамене перед учителями, хочет сказать, что не знал: — „А разве это уже мировая катастрофа?“. — „Нет, — отвечает Бебель — это еще не сама катастрофа, это первый

расстрел голубых васильков*. Алпатов встает, он непременно хочет умереть с васильками. Но Бебель грустно по-немецки, покачивая головой, отвечает: „Поздно, их уже расстреляли“.

Алпатов проснулся с ужасной тоской: как будто кто-то железными ногами ломал лед-тощак и текущую под ним живую воду мешал с болотной грязью.

Новая заря открылась тоже красной рукой, из этого родился настоящий небесный пожар, солнце вставало в пышных одеждах и, когда разделось и засверкало, мороз, как в самые лютые зимние дни, встал возле него двумя стражами. Немного упало в этот день с крыши золотых капель, и к вечеру становилось все строже и строже, а закат был в красных мечех.

Всю ночь среди путешествующих звезд метался обрывок луны, не зная, куда бы ему только спрятаться. Алпатов лежал без сна, не расставаясь со своим сновидением. Он узнал, как это часто бывает, в своем сновидении музыкальную сказку, сделанную из его собственной жизни. Бебель на яву переделался в Ефима Несговорова, с которым Алпатов когда-то вместе обещался начать мировую катастрофу. И вот теперь Алпатов больше уже не считает шагами меридиан в славной борьбе с тюрьмой. Стало так больно в душе, что Алпатов захотел заменить эту боль обыкновенной легкой физической болью и сильно, чтобы до крови было, ударил кулаком в каменную стену. Ему сейчас же ответили. Он вспоминает далекую радостную учебу в подпольном кружке, когда Ефим Несговоров учил его азбуке тюремного телеграфа, берет маленький гвоздик, чертит на стене квадратик, вписывает в него рядами буквы и, переведя на счет, выстукивает:

— Кто там?

Ему отвечают:

— Ефим Несговоров.

Тогда сразу вернулось все прежнее, как будто тюрьмы **вовсе** и не было.

Ефим спрашивает:

— Ты не сознался?

Алпатов выстукал:

— Нет, никогда.

Это малое в словах и великое в силе дружья стучали всю ночь. Алпатов утра не видит. День ходит попрежнему, или сидит и дремлет у столика. Вечером ждет тишины, когда все улягутся. Всю ночь стучит и, кажется ему, он снова поднимается на высокую гору, похожую на северные ребра в свете не заходящего солнца. Там нет таинственной тьмы и обманчивой весны с загадками, там лунная земля, закрыт доступ женщине настоящего, все в будущем, и товарищи просто говорят друг другу да-да, или нет-нет.

Новый день. Алпатов дремлет у столика, не зная, что делается там за окном. И ночью опять идет на свою правдивую гору. К утру оба осудили книгу Бернштейна, как буржуазный уклон социал-демо-

кратии. Настал день, они все стучали, стараясь передать друг другу мысль о вреде философии. Но кто-то ходил по залу, заметил.

Ночью стукнул Алпатов. Ему не ответили. Долго, сильно стучал. Пробовал днем. Все кончилось.

Ф о м к а

За те дни, когда друзья, впиваясь в непроницаемую стену глазами, стучали друг другу, великие события совершались на воле. Наконец-то, силы весны догадались, что солнце им изменяет и тайно служит морозу. Взяв в подозрение солнце, силы весны с утра обступили его и закрыли. Тогда сразу стало тепло, снег раскис, забушевали потоки. А птицы, давно уже летевшие с юга, на границе снегов ожидавшие движения потоков, при первых вестниках, в какой-нибудь час, поднялись всей массой и полетели на север. В ожидании журавлей Фомка стал беспрерывно кричать на тюремном дворе. Этот крик через форточку услышал Алпатов, поднялся к окну и увидел, что весна воды началась теперь безобманно.

Тогда вместо радости боль с новой силой подступила к нему, он зажмурил глаза и соскочил на пол. Нет, лучше он уж не будет смотреть в окно а пойдет опять к полюсу, отсчитывая шаги и записывая числа на стене. Но необходимая сказочка всех таких путешествий в этот раз совсем не развертывалась, после десятка шагов Алпатов забывал считать, ловил себя, возвращался к счету, опять забывал, и все его путешествие стало очень похоже на блуждание в темном лесу, когда непременно почему-то всякий возвращается к исходным каким-то роковым трем соснам.

Бывает, что так и пропадает человек в своем заколдованном кругу, но больше все-таки выбирается.

Что же спасает его?

Не расчет, не одумка спасают в лесу человека. Чаще всего свои же жизненные силы начинают работать в последний момент отдельно от помраченного разума. Бывает, вдруг сам глаз остановится на клочке приставшего к кусту сена, разум присоединяется к глазу и выводит из порочного круга. Является такая простая догадка, что если клочок сена пристал с одной стороны куста, значит, воз сена, терявший эти клочки, ехал в другую, и в той стороне должна быть деревня.

Алпатов до того уж запутался в своем путешествии, что начал дергаться, взмахивать руками, вскрикивать, с испугом оглядываться, не подсмотрел бы кто-нибудь, как он сходит с ума, опять вскрикивать и мелко дрожать от нарастающей злобы. Но совершенно так же, как в лесу глаз отдельно кинулся к клочку сена, так и тут животные силы принудили его постучать в дверь. В этих особенных случаях разрешалось стучаться. Надзиратель слышит стук, но не сразу открывает камеру. Ему надо пройти по залу и справиться,

не выпущен ли в отхожее место еще какой-нибудь заключенный. Случилось, что старик, когда постучался Алпатов, забыл справиться и прямо после стука выпустил. Когда же Алпатов вошел в отхожее место, там на двух крайних местах сидели два человека, закованные в цепи. Омерзительно было сесть между ними, но Алпатов преодолел это в себе и опустился между двумя разбойниками. Левый разбойник в упор разглядывал юношу. Правый глядел вверх и что-то выслушивал из открытой форточки.

— Бумажка есть? — спросил левый.

Алпатов оторвал кусочек и подал. Разбойник свернул цыгарки и одну подал Алпатову. Закурили. Правый разбойник сказал:

— Утки свистят и кулики, скоро пойдет и журавль.

Алпатов страшно обрадовался, что разбойники обыкновенные люди и даже интересуются птицами. Он сказал:

— Весна задержалась, птицы сразу все полетят. Фомка очень беспокоится.

— Улетит, — сказал левый разбойник. — Ему забыли крылья подрезать, если не вспомнят, улетит непременно.

Правый разбойник присоединился:

— Стена высока, если плохо разбежится, хватит о стену и курвырком.

— Он не дурак, — сказал левый. — места хватит ему разбежаться вот как полетят журавли, так и подыметя.

— Неужели догонит? — спросил Алпатов.

— Подождут. У них, брат, дружно: услышат, заметят, закружатся и подождут.

И вдруг в это время явственно послышалось курлыканье журавлей.

Разбойники вскочили.

— Лезь по мне, — велел Алпатову левый.

Правый подсадил.

Алпатов стал на плечо левому разбойнику, и оттуда сказал:

— Низко летят.

Спросили снизу:

— А это Фомка кричит?

— Кричит Фомка. Бежит. Машет крыльями. Подымается...

Тут сильная рука сбросила Алпатова вниз. Четыре молодых надзирателя стояли с наганами, вынутыми из чехлов. Но в присутствии разбойников Алпатов сделался смелым и дерзким. Он закричал надзирателям:

— Как вы смеете, негодяи, драться, вот погодите, я пожалуйюсь Анашевичу.

Вышел в зал и дальше к своей камере. Кузьмич стоял у него на окне. Весело подмигнув Алпатову, старик прошептал на-ходу:

— Фомка-то улетел!

— Слава богу, — ответил Алпатов.

И бросился к окну.

Далеко мелким бисером, расстроив свой деловой треугольник кружились на месте журавли, присоединяя нового товарища, и, какой из них Фомка, было невозможно понять. У раскрытых ворот тюремного замка стояли оба часовые и тоже глядели, как будто счастливые.

Как только журавли скрылись из глаз, сразу почему-то легко явился ответ, который раньше столько дней не поддавался решению. То было еще весной света, она сказала, разделяя слога: „за-гра-ницей“. Вопрос был:—почему они должны увидиться за границей, а не здесь? „Весна света прошла, теперь бушевала вода. И верно, потому, что на расстоянии стало видней, ответ теперь явился такой ясный:—тебя выпустят после Пасхи, она же раньше уедет, и ты ее догоняй“.

На волю

С полей вода хлынула сразу, реки пошли, началось наводнение, дуб затопило до самой кроны и выше. Проходящие льдины много унесли неподатливых дубовых ветвей. Но одну льдину дуб удержал, и она осталась висеть на дубовых ветвях, как на могучих руках.

Много лет, много льдин проходило, а вот случилось, самая большая, небывалая вода захватила ветви высокого дуба, и льдина повисла. Крепко будет держать ее дуб: ведь такое в жизни случается раз. Будет изнывать в лучах солнца холодная льдина, а когда начнется движение сока в дубу, в самое желанное время она вдруг скользнет в реку и станет просто водой.

С утра до вечера теперь смотрит Алпатов, как изнывает льдина на солнце, как многие золотые капли падают прямо на землю, но все множество их стекает с малых ветвей на большие, с больших потоком бегут кругом по стволу и льются на землю. Весь огромный ствол дуба золотым солнечным днем сверкает, как серебро.

Началась неслышная в тюрьме песня воды.

Но у Алпатова в душе еще от весны света осталась своя музыка. Ничего, что лицо ее было закрыто темной вуалью, что явилась она за двумя железными решетками. Он слышал голос... и навсегда будет помнить, как под эту музыку танцевали в лучах солнца многоцветные летающие кристаллы мороза.

Странно было думать, что если встретиться с ней на улице, то не узнать лица. Но музыкальная мелодия чудесней лица.

Где-то в большом городе осенью в холодном тумане многие люди, как рыбы, плывут. У всех серые лица и рыбы глаза. Но вот в этой мутной, неразличимой толпе где-то рожок проиграл, и кажется это сестра вызывает на помощь из мертвой толпы своего родного, милого брата. А разве, если тот голос позовет его в мутной воде, разве, он не узнает, и не все ли равно, какое будет лицо, ему только голос и нужен. Лицо само сделается таким, как велит голос. Он узнает лицо непременно по голосу.

Что за счастье, казалось вначале, отсчитывать проходящие дни до после-пасхи. Но скоро стало, что лучше бы не знать, когда выпустят. Если не знать, то время, набегая из неизвестного будущего, очень скоро переползает через сегодня и пропадает. Но если ждать впереди намеченный день, то время начинает ползти от того самого желанного дня через каждый день, как через сегодня, чем ближе, тем труднее. Конца бы и не было ожиданию, и человек бы остановился в своем уме, если бы там где-то, за форточкой, ничего не случилось и не помогало забыть о себе.

Желтые цветы показались.

Сверкающая льдина скользнула по дубу и скрылась в реке. Прошел жаркий день, позеленели березки, а дуб все стоял и не понимал, что такое случилось, как быть ему не одетому среди весны зеленых покровов и всяких цветов. После великих дней, проходящих, как девушки в хороводе, вдруг похолодело, замерло, перестали пахнуть цветы. Это значило, что, наконец-то, старый дуб стал в себя приходить и зеленеть. Недолго было прохладно... Теплой ночью даже в тюрьму через форточку ветер нагнал аромат, смолистый аромат березы и тополя. В полночь грянул звон.

В день пасхи утром к овсянке прибавили коровьего масла, в обед дали щи с мясом и уголовным разрешили весь день звонить в церкви. А на другой день подкрался неслышными шагами ужасный вопрос:— что это значит после-пасхи? Первый день прошел, а второй не значит ли уже после-пасхи? Нет, надо пропустить всю пасхальную неделю. Прошла и неделя, как обратному путешественнику, все растерявшему, прошел весь ледяной океан до лунящего мыса какой-то земли. Но лунящий мыс желанной земли бывает началом огромной пустыни, на которой не растет даже мох. Так и время после-пасхи не имело предела.

Все потерялось в новой безбрежности, но время без перегородок стало опять пробегать, как поток.

И это утро пришло обыкновенно с шарканьем туфель и с глиняным горшком горячей воды. Алпатов насыпал в горшок щепотку чая. Дождался настоя, сел за столик. И в этот неурочный час вдруг дверь открывается, и помощник начальника велит:

— Соберите свои вещи.

Алпатов велел себе думать:—куда-то переводят, в другую тюрьму или крепость.

Он завязывает все в одеяло большим узлом, одевается, взваливает узел на плечи, выходит в зал.

— На волю!—сказали, увидев его с узлом, два подметавших полуголовных.

И дальше, в другой кучке работавших арестантов, сказали тоже:

— На волю!

И на верхней площадке лестницы, и на средней, и внизу, везде, где только ни встречались люди, слышалось:

— На волю!

Ни зависти, как при счастливых выигрышах и всяких удачах, ни обманчивого восторга толпы при шествии триумфатора не было в этих словах, тут было самое лучшее, чего может желать человек: теплое, радостное сочувствие. Это пленило Алпатова и заставило бросить сомнения.

В конторе жандармский ротмистр с большими рыжими прокуренными усами спокойно готовит бумагу, что-то читает Алпатову, велит выбрать ему город на три года, любой, кроме столичных и университетских.

— Я хотел бы учиться,—ответил Алпатов.

Жандарм улыбнулся. И Алпатов в этой улыбке понял, что мундир и аксельбанты жандарма висели как бы не на теле, а на вешалке, что человек этот служит и делает не сам, ему все это велят, а сам он многосемейный и очень добрый.

— А если поехать за границу,—спросил Алпатов,—это можно? Добрый человек ответил:

— Можно-то можно, да трудно будет возвращаться.

— Ничего,—сказал Алпатов,—вернусь как-нибудь.

— Конечно, вернетесь,—ответил добрый человек.

И протянул ему лист.

Алпатов подписал: „Обязуюсь выехать через неделю за границу“.

После того к другому столу позвал его начальник тюрьмы, тот самый, кто кричал ему: „Руки по швам“. И начальник тоже преобразился, как и жандарм, это не был признанный всеми политическими изувер, а честнейший служака, какие выходят только из латышей. Вот он даже теперь, когда Алпатову уже только бы поскорее уйти из тюрьмы, все-таки в строгом порядке разложил на столе все отобранные у него вещи, берет опись их, дает копию Алпатову. Добрый человек читает:

— Четыре сорочки есть?

— Есть,—радостно отвечает Алпатов.

— Где же вы их видите?

Видеть их Алпатов не может, они лежат на стуле за столом. Добрый человек, исполняя закон, строго приказывает:

— Прошу относиться к делу серьезно.

— Портсигар с шестью папиросами есть?

Алпатов открывает портсигар, и в нем действительно сохранилось шесть папирос. Догадка его подтверждается: начальник не изувер, а честнейший служака. Вот бы хорошо теперь на радостях и закурить, вот и коробок спичек лежит, да не дошло до него.

— Коробок спичек есть?

— Есть.

Алпатов закурил папиросу, и от этого сразу голова у него закружилась. Он говорил только есть и начальник больше не придирался.

— Вы свободны.

Тюк получился очень большой. Папироса кружит голову, ароматный даже на тюремном дворе воздух пьянит. Качаясь, с огромным узлом на плече, подходит Алпатов к калитке, и часовой его выпускает.

Освобожденный после года одиночного заключения не знает, что первые дни свободы — опасные дни. Не думает, какое это жестокое дело выбросить заключенного сразу без подготовки, без помощи на свободу с узлом. Даже выпущенная из клетки птица не может лететь и садится одуматься на ближайшее дерево. Но не о жестокости людей думает теперь Алпатов, а, встречая их на дороге, перед каждым замирает от удивления: какие все люди внутри себя прекрасные. Поражает его, что они все такие скромные и до того преданные какому-то делу, что совсем даже и забыли о себе и не знают своего истинного величия. Вокруг лица каждого встречного человека он видит незримый для всех нимб, как у святых на иконах.

Этим же внутренним взглядом он посмотрел и на дуб, с которым весь этот год жил, беседуя с ним через форточку своей камеры. Но, что он видел через форточку, было только слабым отблеском действительного великолепия и славы земной. Эти зеленые граждане на тонких черенках в отдельности едва были различимы в окошке тюрьмы, теперь же все они были видны до мельчайших подробностей и все ликовали и манили к себе. Подчиняясь их ласковой воле, Алпатов хотел-было свернуть немного с дороги и подняться к ним, но голова его закружилась, и он понял, что туда он не дойдет.

Та березовая роща, откуда выходили к дубу лисицы, была на пути к вокзалу, и когда Алпатов вошел в эту светящуюся ароматную рощу, то сразу же выбрал тут из всех чудес музыку, исходившую от какой-то знакомой, но забытой птицы. Придерживаясь за стволы частых берез, чтобы не упасть, Алпатов тихо движется, слушая песню, и выходит на поляну с высокой елью. Дальше он не может идти, да и незачем: управляющий всем большим музыкальным птичьим участком леса певчий дрозд сидит на самой верхней, последней, поднятой, как указательный палец, еловой ветке и поет свою милую, очень знакомую Алпатову, песню. Тут, на краю поляны, под березой, освобожденный человек садится отдохнуть. Только одно слово в песне дрозда узнается, как человеческое: „люби“, но голоса других маленьких птиц понятны только в связи с этим главным словом управляющего музыкальным участком леса. Человек начинает искать себе своего слова, чтобы тоже присоединиться ко всей славе земли. Ему теперь все помогает, и слово, которого напрасно пришлось бы всю жизнь искать у мудрецов мира, оказывается бессмысленно маленькой частицей.

— Лю-би! — поет дрозд.

К этому человек прибавляет „те“, и вместе выходит:

— Лю-би-те!

Так освобожденный человек присоединяется к хору.

(Конец 5-го звена „Кащеевой цепи“.

Дальнейшие звенья — в след. книгах журнала).

О садовнике и о плодах

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

Если б сердце было черной глыбой
И тогда бы удалось едва ль
Вместо счастья, радости, улыбок —
На лицо мое плеснуть печаль...

Песни есть нужней и интересней.
Но сегодня у меня в строках
Почему-то засверкала песня
О садовнике и о плодах.

Он идет по влажным тропам сада,
Полным белой крови лебеды.
Перед ним
Склоняются наградой
Наливающиеся плоды...

На село идет садовник поздно,
В час причала хрупкой темноты.
Девушкам он носит из совхоза
Каждый вечер
Речи и цветы,

Прибаутки, шутки... Все такое...
А потом расскажет про совхов,
И чарует запахом левкоев
Да душистым дымом папирос...

А когда предутренней прохладой
Нарумянит щеки горячо, —
За цветы
Склоняются наградой
Руки милой на его плечо.

На заре, в кругу деревьев старых,
За работою садовник вновь.
Сладок труд,
Когда бесценным даром
За него нам—девичья любовь.

Сладок труд, когда в просторах сада
Над застывшей кровью лебеды
С новых яблонь
Свесились наградой
Наливающимися плоды...

Оттого сегодня куралесит
В этой песне мой веселый стих,
Оттого лишь,
Что без этих песен
Нам, конечно, не сложить других.

Культура и социализм¹⁾

Л. ТРОЦКИЙ

1. Техника и культура

Напомним, прежде всего, что культура означала некогда вспаханное, обработанное поле,—в отличие от девственного леса и целины. *Культура* противопоставлялась *натуре*, т.-е. приобретенное усилиями человека — естественным дарам природы. Это противопоставление — в основе своей—сохраняет силу и сейчас.

Культура—это все то, что создано, построено, усвоено, завоевано человеком на протяжении всей его истории,—в отличие от того, что дано природой, в том числе и естественной историей самого человека, как животного вида. Наука, изучающая человека, как продукт животной эволюции, называется антропологией. Но с того момента, как человек выделился из животного царства,—а произошло это приблизительно тогда, когда он впервые взял в руки примитивные орудия—камень, палку—и вооружил ими органы своего тела,—с этого времени и началось совидание и накопление культуры, т.-е. всех видов знания и умения в деле борьбы с природой и покорения природы.

Когда мы говорим о накопленной прошлыми поколениями культуре, мы мысленно опираемся, прежде всего, на материальные ее приобретения, в виде орудий, машин, зданий, памятников и пр. Культура ли это? Несомненно, культура, вещественные ее отложения,—материальная культура. Она создает—на фундаменте природы—основную опору нашей жизни, нашего быта, нашего творчества. Но драгоценнейшей частью культуры являются ее отложения в сознании самого человека—те наши приемы, навыки, сноровки, благоприобретенные способности, которые выросли из всей предшествующей материальной культуры и, опираясь на нее, перестраивают ее. Будем же, товарищи, считать установленным твердо: культура вырастает из борьбы человека с природой за существование, за улучшение условий жизни, за увеличение своего

¹⁾ Настоящая статья представляет собою литературную обработку доклада в клубе «Красная площадь» 3 февраля 1926 г. «О культуре» и некоторых других выступлений автора.

могущества. Но на этой же основе вырастают и классы. В процессе приспособления к природе, в борьбе с ее враждебными силами, человеческое общество складывается в сложную классовую организацию. Классовое же строение общества определяет собой в решающей степени содержание и форму человеческой истории, т.-е. ее материальные отношения и их идеологические отражения. Этим самым сказано, что историческая культура имеет классовый характер.

Рабское общество, феодально-крепостническое и буржуазное порождали и соответственную культуру—на разных этапах разную, со множеством переходных форм. Историческое общество есть организация эксплуатации человека человеком. Культура служит классовой организации общества. Эксплуататорское общество порождает эксплуататорскую культуру. Но тогда, значит, мы против всей культуры прошлого?

Получается, в самом деле, глубокое противоречие. Все, что завоевано, создано, построено усилиями человека и что служит для повышения мощи человека, есть культура. Но так как дело идет не об индивидуальном человеке, а об общественном; так как культура есть явление общественно-историческое по самому своему существу; так как историческое общество было и остается обществом классовым, то культура раскрывается как основное орудие классового угнетения. Маркс сказал: «Господствующие идеи эпохи суть идеи господствующего класса данной эпохи». Это относится и к культуре в целом. А ведь мы говорим рабочему классу: овладей всей культурой прошлого, иначе не построишь социализма. Как же это понять?

На этом противоречии многие спотыкаются и спотыкаются так часто потому, что подходят к понятию классового общества поверхностно, полу-идеалистически, забывая, что в основе своей это—организация производства. Каждое классовое общество слагалось на определенных способах борьбы с природой, и способы эти изменялись в зависимости от развития техники. Что является основой основ: классовая организация общества или его производительные силы? Несомненно, производительные силы. Ведь именно на них, на известном уровне их развития складываются и перестраиваются классы. В производительных силах выражается овеществленная хозяйственная сноровка человека, его историческое умение обеспечить свое существование. На этой динамической основе вырастают классы, которые своими взаимоотношениями определяют характер культуры.

И вот, прежде всего, относительно техники мы должны себя спросить: является ли она *только* орудием классового гнета? Достаточно поставить так вопрос, чтобы тотчас же ответить: нет, техника есть основное завоевание человечества; хотя она и служила доселе орудием эксплуатации, но она является в то же время основным условием освобождения эксплуатируемых. Машина душит наемного раба. Но освободиться можно только через машину. В этом корень всего вопроса.

Если не будем забывать, что движущей силой исторического процесса является рост производительных сил, освобождающих человека

из-под власти природы, то мы поймем, что пролетариату необходимо овладеть всей совокупностью знаний и умений, выработанных человечеством в течение его истории, чтобы подняться вверх, перестроив жизнь на началах солидарности.

«Культура ли двигает технику или техника культуру?»—спрашивает одна из лежащих предо мною записок. Такая постановка вопроса неправильна. Техника не может быть противопоставлена культуре, ибо является ее основной пружиной. Без техники нет и культуры. Рост техники движет культуру вперед. Но и поднимающиеся на основе техники наука и общая культурность оказывают могущественное содействие росту техники. Тут диалектическое взаимодействие.

Товарищи, если нужен простой, но выразительный пример противоречия, заложенного в самой технике, то не найдешь лучшего, чем железные дороги. Если взглянете на европейские пассажирские поезда, то увидите там вагоны разных «классов». Эти классы напоминают нам о классах капиталистического общества. Первый класс—для привилегированных верхов, второй—для средней буржуазии, третий—для мелкой буржуазии и четвертый—для пролетариата, который недаром назывался раньше четвертым сословием. Сами по себе железные дороги представляют собою колоссальное культурно-техническое завоевание человечества, весьма изменившее в течение одного столетия облик земли. Но классовая структура общества влияет и на структуру средств сообщения. И наши советские железные дороги еще далеки от равенства. И не только потому, что они пользуются вагонами, унаследованными от прошлого, но и потому, что нэп только подготавливает равенство, но не осуществляет его.

До железных дорог цивилизация теснилась по берегам морей и больших рек. Железные дороги приобщили к капиталистической культуре целые континенты. Одной из основных, если не самой основной, причиной отсталости и заброшенности русской деревни является недостаток железных и шоссейных дорог и под'ездных путей. В этом отношении большинство наших деревень находится в до-капиталистических условиях. Нам необходимо преодолеть великого нашего союзника и вместе величайшего противника—пространство. Социалистическое хозяйство есть плановое хозяйство. План предполагает прежде всего связь. Важнейшим средством связи являются пути сообщения. Каждая новая железнодорожная линия есть путь к культуре, а в наших условиях и путь к социализму. Опять-таки, с повышением техники путей сообщения и благосостояния страны изменится и социальный облик железнодорожных поездов: деление на «классы» исчезнет, все будут ездить в мягких вагонах... если к тому времени вообще еще будут ездить в вагонах, а не предпочтут переноситься в самолетах, доступных всем и каждому.

Возьмем другой пример—орудия милитаризма,—средства истребления. В этой сфере классовая природа общества выражается особенно ярко и отвратительно. Но нет такого разрушительного взрывчатого

и отравляющего вещества, открытие которого не было бы само по себе ценным научно-техническим завоеванием. Взрывчатые и отравляющие вещества применяются и для созидательных, а не только для разрушительных целей и открывают новые возможности в области открытий и изобретений.

Овладеть государственной властью пролетариат может, только разбив старый аппарат классового господства. Мы проделали эту работу так решительно, как никогда в мире. Однако, уже при постройке нового аппарата, обнаружилось, что пользоваться приходится в известной, довольно значительной, степени элементами старого. Дальнейшая социалистическая перестройка государственного аппарата уже неразрывно связывается с политической, хозяйственной и культурной работой вообще.

Технику разбивать не приходится. Оборудованными буржуазией заводами пролетариат овладевает в том виде, в каком их застигает революционный переворот. Старое оборудование служит нам еще и по сей день. В этом ярче и непосредственнее всего обнаруживается тот факт, что мы не отказываемся от «наследства». Да и как иначе? Ведь революция для того, в первую голову, и совершалась, чтобы овладеть «наследством». Однако старая техника в том виде, в каком мы ее взяли, совсем непригодна для социализма. Она представляет собою кристаллизованную анархию капиталистического хозяйства. Конкуренция разных предприятий, погоня за прибылью, неравномерность развития отдельных отраслей, отсталость отдельных районов, раздробленность сельского хозяйства, расхищение человеческих сил,—все это нашло в технике свое чугунное и медное выражение. Но если аппарат классового гнета можно разгромить революционным ударом, то производственный аппарат капиталистической анархии можно лишь постепенно перестроить. Завершение восстановительного периода—на базе старого оборудования—только подводит нас к порогу этой грандиозной задачи. Не мы должны разрешить во что бы то ни стало.

2. Наследство духовной культуры

Духовная культура так же противоречива, как и материальная. И, как из арсеналов и складов материальной культуры мы пускаем в оборот не лук с колчаном, не каменные орудия и не орудия бронзового века, а берем по возможности совершенные орудия новейшей техники,—так же мы должны подходить и к духовной культуре.

Коренным элементом в культуре старого общества была религия. Она являлась первостепенной важности формой человеческого знания и единения; но в этой форме выражалась прежде всего слабость человека перед природой и бессилие его внутри общества. Религию, со всеми ее суррогатами, мы отматаем совершенно.

Иначе обстоит дело с философией. Из созданной классовым обществом философии мы должны усвоить два неценных ее элемента—материализм и диалектику. Именно из органического сочетания мате-

риализма и диалектики родился метод Маркса, и возникла его система. Этот метод лежит в основе ленинизма.

Если перейдем, далее, к науке в собственном смысле, то здесь уж станет совершенно очевидно, что перед нами огромный резервуар знаний и умений, накопленных человечеством за всю его долгую жизнь. Можно, правда, указать, что в науке, цель которой—познание сущего, есть много тенденциозных классовых примесей. Совершенно правильно! Если даже железные дороги отражают в себе привилегированность одних и нужду других, то тем более относится это к науке, материал которой гораздо более гибок, чем металл и дерево, из коих строятся вагоны. Но мы должны отдать себе отчет в том, что научное творчество, в основе своей, питается потребностью познать природу, чтоб овладеть ее силами. Хотя классовые интересы вносили и вносят ложные тенденции даже в естественные науки, но все же эта фальсификация ограничивается теми пределами, за которыми она начинает непосредственно мешать успехам технологии. Если окинете естественные науки взглядом снизу доверху, от области накопления элементарных фактов до наиболее высоких и сложных обобщений, то увидите, что, чем эмпиричнее научное исследование, чем ближе оно к своему материалу, к факту, тем более несомненные результаты дает. Чем шире область обобщений, чем ближе естествознание подходит к вопросам философии, тем больше оно поддается воздействию классовых внушений.

Сложнее и хуже обстоит дело с науками общественными и так называемыми «гуманитарными». И здесь, конечно, в основе действовало стремление познать то, что есть. Благодаря этому, мы имели, к слову сказать, блестящую школу классиков буржуазной экономики. Но классовый интерес, который в общественных науках сказывается гораздо непосредственнее и повелительнее, чем в естествознании, скоро приостановил развитие экономической мысли буржуазного общества. В этой области мы, коммунисты, вооружены, однако, лучше, чем в какой бы то ни было другой. Пробужденные классовой борьбой пролетариата социалистические теоретики, опираясь на буржуазную науку и критикуя ее, создали, в учении Маркса и Энгельса, могущественный метод исторического материализма и его непревзойденное применение в «Капитале». Это не значит, конечно, что мы застрахованы от влияния буржуазных идей в области экономики и социологии вообще. Нет, вульгарнейшие профессорско-социалистические, мещански-народнические тенденции на каждом шагу врываются в наш обиход из старых «сокровищниц» познания, ища для себя питательной среды в неформленных и противоречивых отношениях переходной эпохи. Но в этой области у нас есть незаменимые критерии марксизма, проверенные и обогащенные в работах Ленина. И мы будем давать тем более победоносный отпор вульгарным экономистам и социологам, чем меньше будем замыкаться в опыте сегодняшнего дня, чем шире будем охватывать мировое развитие в целом, выделяя его основные тенденции из-под конъюнктурных изменений.

В вопросах права, морали, идеологии вообще, положение буржуазной науки еще более плачевно, если можно, чем в области экономики. Найти в этих областях жемчужное зерно действительного познания можно, лишь перерыв десятки навозных профессорских куч.

Диалектика и материализм образуют основные элементы марксова познания мира. Но это вовсе не значит, что их можно, в качестве всегда готовой отмычки, применять в любой области познания. Диалектику нельзя навязать фактам, надо ее извлечь из фактов, из их природы и их развития. Только кропотливая работа над необозримым материалом дала Марксу возможность воздвигнуть диалектическую систему экономики на понятии ценности, как овеществленном труде. Так же построены марксовы исторические работы, даже и газетные статьи. Применять диалектический материализм к новым областям познания можно, только овладевая ими изнутри. Очищение буржуазной науки предполагает овладение буржуазной наукой. Ни огульной критикой, ни голой командой ничего не возьмешь. Усвоение и применение идет тут рука об руку с критической переработкой. Метод у нас есть, а работы хватит на поколения.

Марксистская критика науки должна быть не только бдительной, но и осторожной, иначе она может выродиться в прямое сикофанство, в фамусовщину. Взять хотя бы психологию. Рефлексология Павлова целиком идет по путям диалектического материализма. Она окончательно разрушает стену между физиологией и психологией. Простейший рефлекс физиологичен, а система рефлексов дает «сознание». Накопление физиологического количества дает новое, «психологическое», качество. Метод павловской школы экспериментален и кропотлив. Обобщения завоевываются шаг за шагом: от слюны собаки к поэзии, т.-е. к ее психической механике (а не общественному содержанию), при чем путей к поэзии еще не видать.

По-иному подходит к делу школа венского психоаналитика Фрейда. Она заранее исходит из того, что движущей силой сложнейших и утонченнейших психических процессов является физиологическая потребность. В этом общем смысле она материалистична,—если оставить в стороне вопрос о том, не отводит ли она слишком много места половому моменту за счет других, ибо это—уже спор в границах материализма. Но психоаналитик подходит к проблеме сознания не экспериментально, от низших явлений к высшим, от простого рефлекса к сложному, а стремится взять все эти промежуточные ступени одним скачком, сверху вниз, от религиозного мифа, лирического стихотворения или сновидения—сразу к физиологической основе психики.

Идеалисты учат, что психика самостоятельна, что «душа» есть колодезь без дна. И Павлов и Фрейд считают, что дном «души» является физиология. Но Павлов, как водолаз, спускается на дно и кропотливо исследует колодезь снизу вверх. А Фрейд стоит над колодцем и проницательным взглядом старается сквозь толщу вечно колеблющейся замутненной воды разглядеть или разгадать очертания дна. Метод Пав-

лова—эксперимент. Метод Фрейда—догадка, иногда фантастическая. Попытка об'явить психоанализ «несовместимым» с марксизмом и попросту повернуться к фрейдизму спиной слишком проста или, вернее, проставата. Но мы ни в каком случае не обязаны и усыновлять фрейдизм. Это рабочая гипотеза, которая может дать и, несомненно, дает выводы и догадки, идущие по линии материалистической психологии. Экспериментальный путь принесет в свое время проверку. Но мы не имеем ни основания, ни права налагать запрет на другой путь, хотя бы и менее надежный, но пытающийся предвосхитить выводы, к которым экспериментальный путь ведет лишь крайне медленно¹⁾.

На этих примерах я хотел хоть отчасти показать и многообразие научного наследия и сложность тех путей, при помощи которых пролетариат может вступить во владение им. Если в хозяйственном строительстве дело не решается приказом и приходится «учиться торговать», то в науке одно лишь голое командование, кроме вреда и сраму, ничего принести не может. Здесь надо «учиться учиться».

Искусство есть одна из форм ориентировки человека в мире; в этом смысле наследство искусства не отличается от наследия науки и техники,—и не менее их противоречиво. Однако, в отличие от науки, искусство есть форма познания мира, не как системы законов, а как группировки образов, и в то же время способ внушения известных чувств и настроений. Искусство прошлых веков сделало человека более сложным и гибким, подняло его психику на более высокую ступень, все-сторонне обогатило ее. Обогащение это есть неоценимое завоевание культуры. Овладение старым искусством является, поэтому, необходимой предпосылкой не только для создания нового искусства, но и для построения нового общества, ибо для коммунизма нужны люди с высокой психикой. Способно ли, однако, старое искусство обогащать нас художественным познанием мира? Способно. Именно поэтому же оно способно давать пищу нашим чувствам и воспитывать их. Если бы мы огульно отреклись от старого искусства, мы сразу стали бы духовно беднее.

У нас наблюдается теперь кое-где тенденция выдвигать ту мысль, что искусство имеет свою цель лишь внушение известных настроений, а вовсе не познание действительности. Отсюда вывод: какими же такими чувствами может нас заражать дворянское или буржуазное искусство? Это в корне неверно. Значение искусства, как средства познания—в том числе и для народных масс, для них особенно,—никак не меньше «чувственного» значения его. И былина, и сказка, и песня, и пословица, и частушка дают образное познание, освещают прошлое, обобщают опыт, расширяют кругозор, и только в связи с этим и благодаря этому способны «настраивать». Это относится ко всей вообще литературе—не

¹⁾ Разумеется, с этим вопросом не имеет ничего общего культивирование много фрейдизма, как эротического баловства или озорства. К науке такого рода чтение языком отношения не имеет, а знаменует лишь упадочные настроения: центр тяжести переносится с головного мозга на спинной.

только к эпосу, но и к лирике. Это относится и к живописи и к скульптуре. Исключение составляет, в известном смысле, только музыка, действие которой могущественно, но односторонне. Конечно, и она опирается на своеобразное познание природы, ее звуков и ритмов. Но здесь познание настолько скрыто под спудом, результаты внушений природы настолько преломлены через нервы человека, что музыка действует, как самодовлеющее «откровение». Попытки приблизить все, виды искусства к музыке, как к искусству «заражения», делались не раз и всегда означали принижение в искусстве роли разума в интересах бесформенной чувственности и в этом смысле были и остаются реакционными... Хуже всего, конечно, такие произведения «искусства», которые не дают ни образного познания, ни художественного «заражения», зато выдвигают непомерные претензии. У нас таких произведений печатается немало, и, к сожалению, не в ученических тетрадках студий, а во многих тысячах экземпляров...

Культура есть явление общественное. Именно поэтому язык, как орган общения людей, является важнейшим ее орудием. Культура самого языка—важнейшее условие роста всех областей культуры, особенно науки и искусства. Как техника не удовлетворяется старыми измерительными приборами, а создает новые, микрометры, вольтметры и пр., добываясь и достигая все высшей точности, так и в деле языка—умения выбирать надлежащие слова и надлежаще сочетать их—необходима постоянная систематическая кропотливая работа над достижением высшей точности, ясности, яркости. Основой этой работы должна быть борьба с неграмотностью, полуграмотностью и малограмотностью. Следующая ступень той же работы—овладение классической русской литературой.

Да, культура была главным орудием классового гнета. Но она же, и только она, может стать орудием социалистического освобождения.

3. Наши культурные противоречия

Город и деревня

Особое положение наше заключается в том, что мы—на стыке, капиталистического Запада и колониально-крестьянского Востока—впервые совершили социалистическую революцию. Режим пролетарской диктатуры впервые установился в стране с громадным наследием отсталости и варварства, так что у нас между каким-нибудь сибирским кочевником и московским или ленинградским пролетарием пролегал века истории. Наши общественные формы являются переходными к социализму, следовательно, неизмеримо более высокими, чем формы капиталистические. В этом смысле мы, по праву, считаем себя самой передовой страной в мире. Но техника, которая лежит в основе материальной и всякой иной культуры, у нас чрезвычайно отсталая по сравнению с передовыми капиталистическими странами. В этом—основное противо-

речие нашей нынешней действительности. Вытекающая отсюда историческая задача заключается в том, чтобы технику поднять до общественной формы. Если бы мы не сумели это сделать, то общественный строй наш упал бы неизбежно до уровня нашей технической отсталости. Да, чтобы понять все значение для нас технического прогресса, надо прямо сказать себе: если бы советскую форму нашего строя мы не сумели заполнить надлежащей производственной техникой, мы закрыли бы для себя возможность перехода к социализму и вернулись бы назад, к капитализму—да какому?—полукабальному, полуколониальному. Борьба за технику есть для нас борьба за социализм, с которым неразрывно связана вся будущность нашей культуры.

Вот свежий, очень выразительный, пример наших культурных противоречий. На днях в газетах появилась заметка о том, что наша Публичная Библиотека в Ленинграде заняла первое место по количеству томов: в ней сейчас 4.250.000 книг! Первое наше чувство—законное чувство советской гордости: наша библиотека—первая в мире! Чему мы обязаны этим достижением? Тому, что экспроприировали частные библиотеки. Путем национализации частной собственности мы создали богатейшее культурное учреждение, доступное всем. На этом простом факте бесспорно обнаруживаются великие преимущества советского строя. А в то же время наша культурная отсталость выражается в том, что у нас процент неграмотных больше, чем в какой-нибудь европейской стране. Библиотека—первая в мире, а читает книги пока еще меньшинство населения. И так почти во всем. Национализованная промышленность с гигантскими и отнюдь не фантастическими проектами Днепростроя, Волго-Донского канала и пр.,—а крестьяне молотят цепями и катками. Брачное законодательство проникнуто социалистическим духом,—а в семейной жизни побои занимают еще не малое место. Эти и подобные противоречия вытекают из всего строения нашей культуры—на стыке между Западом и Востоком.

Основой нашей отсталости является чудовищное преобладание деревни над городом, сельского хозяйства над промышленностью; при чем в деревне преобладают опять-таки наиболее отсталые орудия и способы производства. Когда мы говорим об историческом крепостничестве, мы прежде всего имеем в виду сословные отношения, закабаленность крестьянина помещику и царскому чиновнику. Но, товарищи, крепостничество имеет под собой более глубокую базу: закрепощение человека земле, полную зависимость крестьянина от стихий. Читали ли вы Глеба Успенского? Боюсь, что молодое поколение его не читает. Надо бы его переиздать, по крайней мере лучшие его вещи, а у него есть превосходные. Успенский—народник. Его политическая программа насквозь утопична. Но Успенский—бытописатель деревни—не только превосходный художник, но и замечательный реалист. Он сумел понять быт крестьянина и его психику, как производные явления, вырастающие на хозяйственной базе и ею целиком определяемые. Хозяйственную базу деревни он сумел понять, как кабальную зависимость крестьянина в трудовом

процессе от земли, вообще от сил природы. Надо непременно прочитать хотя бы только его «Власть земли». Художественная интуиция заменяет Успенскому марксистский метод и по результатам может во многих отношениях соперничать с ним. Потому-то Успенский-художник находился постоянно в смертельной борьбе с Успенским-народником. У художника мы еще и сейчас должны учиться, если хотим понять могучие крепостнические пережитки в крестьянском быту, особенно в семейном, переклестывающие нередко и в городской быт: достаточно вслушаться хотя бы в иные ноты развертывающейся ныне дискуссии по вопросам брачного законодательства!

Капитализм во всех частях света довел до крайнего напряжения противоречие между промышленностью и сельским хозяйством, городом и деревней. У нас, в силу запоздалости нашего исторического развития, это противоречие имеет совершенно чудовищный характер. Как-никак, наша промышленность уже тянулась по европейским и американским образцам, в то время как наша деревня уходила в глубь XVII и более отдаленных веков. Капитализм даже в Америке явно неспособен поднять сельское хозяйство на уровень промышленности. Эта задача целиком переходит к социализму. В наших условиях, с колоссальным преобладанием деревни над городом, индустриализация сельского хозяйства составляет важнейшую часть социалистического строительства.

Под индустриализацией сельского хозяйства мы понимаем два процесса, которые только в сочетании своем могут, в конце концов, окончательно стереть грань между городом и деревней. На этом важнейшем для нас вопросе остановимся несколько дольше.

Индустриализация земледелия состоит, с одной стороны, в отделении от деревенского домашнего хозяйства целого ряда отраслей по предварительной переработке промышленного и пищевого сырья. Ведь вся вообще индустрия вышла из деревни, через ремесло, через кустарничество, путем отпочкования от замкнутой системы домашнего хозяйства отдельных отраслей, путем специализации, создания надлежащей выучки, техники, а затем и машинного производства. Наша советская индустриализация должна будет, в значительной мере, пойти по этому именно пути, т.-е. по пути обобществления целого ряда производственных процессов, стоящих между сельским хозяйством в собственном смысле и индустрией. Пример Соединенных Штатов показывает, что здесь перед нами открываются неизмеримые возможности.

Но сказанным вопрос не исчерпывается. Преодоление противоречий между сельским хозяйством и промышленностью предполагает индустриализацию самого полеводства, скотоводства, садоводства и пр. Это значит, что и эти отрасли производственной деятельности должны быть поставлены на основы научной технологии: широкое применение машин в правильном их сочетании, тракторизация и электрификация, удобрения, правильный плодосмен, лабораторно-опытная проверка методов и результатов, правильная организация всего производственного процесса с наиболее целесообразным использованием рабочей силы и пр.

Разумеется, и высоко организованное полеводство будет иметь свои отличия от машиностроения. Но ведь и внутри самой промышленности отдельные ее отрасли глубоко отличаются друг от друга. Если ныне мы имеем право противопоставлять сельское хозяйство промышленности в целом, так это потому, что сельское хозяйство ведется раздробленно, примитивными способами, при рабской зависимости производителя от условий природы и в архи-некультурных условиях существования производителя-крестьянина. Недостаточно обобществить, т.-е. перевести на фабричные рельсы, отдельные отрасли нынешнего сельского хозяйства, как маслоделие, сыроварение, крахмально-паточное производство и пр. Необходимо обобществить само сельское хозяйство, т.-е. вырвать его из его сегодняшней раздробленности, и на место нынешнего жалкого ковыряния земли поставить научно-организованные пшеничные и ржаные «фабрики», коровьи и овечьи «заводы» и пр. Что это возможно, показывает частично уже имеющийся капиталистический опыт, в частности, сельско-хозяйственный опыт Дании, где даже куры подчинились плану и стандарту, несут, по предписанию, яйца в огромном количестве, притом одинакового размера и одинакового цвета.

Индустриализация сельского хозяйства означает устранение нынешнего коренного противоречия между деревней и городом, а, следовательно, между крестьянином и рабочим: по роли в хозяйстве страны, по условиям жизни, по культурному уровню они должны сблизиться в такой мере, чтобы самая грань между ними исчезла. Такое общество, где механизированное полеводство составит равноправную часть планового хозяйства, где город вберет в себя преимущества деревни (простор, зелень), а деревня обогатится преимуществами города (мощные дороги, электрическое освещение, водопровод, канализация), т.-е. где исчезнет самое противопоставление города и деревни, где крестьянин и рабочий превратятся в равноценных и равноправных участников единого производственного процесса,—такое общество и будет подлинным социалистическим обществом.

Путь к этому долгий и трудный. Важнейшими вехами на этом пути являются мощные электро-силовые станции. Они понесут в деревню свет и преобразующую силу: против власти земли—власть электричества!

Недавно мы открывали Шатурскую станцию, одно из лучших наших сооружений, воздвигнутое на торфяном болоте. От Москвы до Шатуры сто с лишним километров. Казалось бы—рукой подать. А между тем, какая разница условий! Москва—столица Коммунистического Интернационала. А от'едешь несколько десятков километров—глушь, снег да ель, замерзшие болота да звери. Черные, бревенчатые деревеньки, дремлющие под снегом. Из окна вагона виден иной раз волчий след. Там, где ныне стоит Шатурская станция, несколько лет назад, когда приступали к стройке, водились лоси. Сейчас расстояние между Москвой и Шатурой покрыто изящной конструкции металлическими мачтами, поддерживающими провода для тока в 115 тысяч вольт. И под этими мачтами лисы и волчицы будут этой весной выводить своих щенят.

Такова и вся наша культура—из крайних противоречий, из высших достижений техники и обобщающей мысли, с одной стороны, и из таежной первобытности—с другой.

Шатура живет на торфу, как на подножном корму. Поистине все чудеса, созданные ребяческим воображением религии и даже творческой фантазией поэзии, бледнеют перед этим простым фактом: машины, занимающие ничтожное пространство, жрут вековое болото, превращают его в незримую энергию и возвращают ее по легким проводам той самой промышленности, которая создала и установила эти машины.

Шатура—красавица. Ее создавали преданные своему делу и одаренные строители. Это красота не накладная, не сусальная, а вырастающая из внутренних свойств и запросов самой техники. Высшим и единственным критерием техники является целесообразность. Проверка целесообразности дается экономностью. А это предполагает наиболее полное соответствие частей и целого, средств и цели. Хозяйственно-технический критерий полностью совпадает с эстетическим. Можно сказать—и это не будет парадоксом: Шатура—красавица потому, что киловатт-час ее энергии дешевле киловатт-часа других станций, поставленных в однородные условия.

Шатура стоит на болоте. Много у нас болот в Советском Союзе, гораздо больше, чем станций. Много у нас и других видов топлива, ждущих своего превращения в двигательную силу. На юге протекает по богатейшему промышленному району Днепр, расходуя могучую силу своего напора впустую, играючи по многовековым порогам, и ждет, когда мы обуздаем его течение плотиной и заставим освещать, двигать, обогащать города, заводы и пашни. Заставим!

В Соединенных Штатах Северной Америки на жителя приходится в год 500 киловатт-часов энергии, а у нас—всего лишь 20 киловатт-часов, т.-е. в 25 раз меньше. Механической двигательной силы вообще у нас в 50 раз меньше на человека, чем в Соединенных Штатах. Советская система, подкованная американской техникой, это и будет социализм. Наш общественный строй даст американской технике иное, несравненно более целесообразное, применение. Но и американская техника преобразует наш строй, освободит его от наследия отсталости, первобытности, варварства. Из сочетания советского строя и американской техники родится новая техника и новая культура—техника и культура для всех, без сынков и пасынков.

«Конвейерный» принцип социалистического хозяйства.

Принцип социалистического хозяйства—гармоничность, т.-е. непрерывность, основанная на внутренней согласованности. Технически этот принцип находит свое высшее выражение в конвейере. Что такое конвейер? Бесконечная движущаяся лента, которая подает рабочему или уносит от него все, что требуется ходом работы. Сейчас уже общеизвестно, как Форд пользуется комбинацией конвейеров, как сред-

ством внутреннего транспорта: передачи и подачи. Но конвейер нечто большее: он представляет собой метод регулирования самого производственного процесса, поскольку рабочий вынужден соразмерять свои движения с движением бесконечной ленты. Капитализм пользуется этим для более высокой и совершенной эксплуатации рабочего. Но такое пользование связано с капитализмом, а не с самим конвейером. В какую сторону идет, в самом деле, развитие методов регулирования труда: в сторону сдельной платы или в сторону конвейера? Все говорит за то, что в сторону конвейера. Сдельная плата, как и всякий вид индивидуального контроля над работой, характерна для капитализма первых эпох развития. На этом пути обеспечивается полная физиологическая нагрузка отдельного рабочего, но не обеспечивается согласованность усилий разных рабочих. Обе эти задачи разрешает автоматически конвейер. Социалистическая организация хозяйства должна стремиться к тому, чтобы снижать физиологическую нагрузку отдельного рабочего, в соответствии с ростом технического могущества, сохраняя в то же время согласованность усилий разных рабочих. Таково именно и будет значение социалистического конвейера, в отличие от капиталистического. Говоря конкретнее, все дело здесь в регулировке движения ленты при данном числе рабочих часов, или, наоборот, в регулировке рабочего времени при данной скорости ленты.

При капиталистической системе конвейер осуществим в рамках отдельного предприятия, как метод внутреннего транспорта. Но принцип конвейера сам по себе гораздо шире. Каждое отдельное предприятие получает извне сырье, топливо, вспомогательные материалы, дополнительную рабочую силу. Отношения между отдельными предприятиями, хотя бы и гигантскими, регулируются законами рынка, правда, во многих случаях ограничиваемыми путем всякого рода длительных соглашений. Но каждый завод в отдельности, а еще более общество в целом, заинтересованы в том, чтобы сырье доставлялось в-время, не залеживаясь на складах, но и не создавая перебоев в производстве, т.-е., другими словами, чтобы оно подавалось по принципу конвейера, в полном соответствии с ритмом производства. При этом нет необходимости представлять себе конвейер непременно в виде бесконечной движущейся ленты. Формы его могут быть бесконечно разнообразны. Железная дорога,—если она работает по плану, т.-е. без встречных перевозок, без сезонного нагромождения грузов, словом, без элементов капиталистической анархии,—а при социализме она будет работать именно так,—явится могущественным конвейером, обеспечивающим своевременное обслуживание заводов сырьем, топливом, материалами и людьми. То же самое относится к пароходам, грузовикам и т. д. Все виды путей сообщения станут элементами внутри-производственного транспорта, с точки зрения планового хозяйства, как целого. Нефтепровод представляет собою вид конвейера для жидких тел. Чем шире сеть нефтепроводов, тем меньше нужно запасных резервуаров, тем меньшая часть нефти превращается в мертвый капитал.

Конвейерная система вовсе не предполагает скученности предприятий. Наоборот, современная техника делает возможным их рассеяние, разумеется, не хаотическое и случайное, а со строгим учетом выгоднейшего места (штандорт) для каждого отдельного завода. Возможность широкого рассеяния промышленных предприятий, без чего нельзя растворить город в деревне, а деревню в городе, обеспечивается в огромной степени электрической энергией, как двигательной силой. Металлический провод представляет собою наиболее совершенный энергетический конвейер, дающий возможность дробить двигательную силу на мельчайшие частицы, пускать ее в дело и выключать простым поворотом кнопки. Именно этими своими свойствами энергетический «конвейер» наиболее враждебно сталкивается с перегородками частной собственности. Электричество в его нынешнем развитии является наиболее «социалистической» частью техники. И немудрено: это наиболее передовая ее часть.

Гигантские мелиорационные системы—для правильного притока или стока вод—являются, с этой точки зрения, водными конвейерами сельского хозяйства. Чем больше химия, машиностроение и электрификация будут высвобождать полеводство из-под действия стихий, обеспечивая высшую его планомерность, тем полнее нынешнее «сельское хозяйство» будет включаться в систему социалистического конвейера, который регулирует и согласует все производство, начиная с подпочвы (добыча руды и угля) и с почвы (вспашка и засев полей).

Старик Форд пытается на своем конвейерном опыте построить нечто вроде общественной философии. В этой его попытке крайне любопытно сочетание исключительного по размаху производственно-административного опыта с нестерпимой узостью самодовольного филистера, который, став миллиардером, остался лишь разбогатевшим мелким буржуа. Форд говорит: «Если хотите богатства для себя и блага для сограждан, поступайте, как я». Кант требовал от каждого человека такого поведения, чтоб оно могло стать нормой для других. В философическом смысле Форд кантианец. Но практически «нормой» для 200.000 рабочих Форда является не поведение Форда, а скольжение его конвейерного автомата: он определяет ритм их жизни, движение их рук, ног и мыслей. Для «блага сограждан» нужно отделить от Форда фордизм, обобществить и очистить его. Это и сделает социализм.

«А как же быть с однообразием труда, обезличенного и обездушенного конвейером?»—спрашивает меня одна из поданных записок. Это опасение не серьезно. Если его додумать и договорить до конца, то оно направится вообще против разделения труда и против машины. Это путь реакционный. Социализм с машиноборчеством ничего общего не имел и иметь не будет. Основная, главнейшая, важнейшая задача состоит в том, чтобы убить нужду. Нужно, чтобы труд человеческий давал как можно большее количество продуктов. Хлеб, сапоги, одежда, газеты,— все, что нужно, должно быть в таком количестве, чтоб никто не боялся,

что нехватит. Нужно убить нужду и с ней—жадность. Нужно завоевать довольство, досуг и с ними—радость жизни для всех. Высокая продуктивность труда недостижима без механизации и автоматизации, законченным выражением которых является конвейер. Однообразие труда окупится его сокращающейся продолжительностью и возрастающей легкостью. В обществе всегда будут такие отрасли промышленности, которые требуют личного творчества,—сюда пойдут те, которые в производстве найдут призвание. Речь же идет у нас об основном типе производства в важнейших его отраслях,—до тех пор, по крайней мере, пока новая химическая и энергетическая революция в технике не опрокинет нынешней механизации. Но заботу об этом предоставим будущему. Переезд на весельной лодке требует большого личного творчества. Переезд на пароходе «однообразнее», но удобнее и вернее. Кроме того, на лодке через океан вообще не переедешь. А нам надо пересечь океан человеческой нужды.

Общеизвестно, что физические потребности гораздо ограниченнее духовных. Чрезмерное удовлетворение физических потребностей быстро приводит к пресыщению. Духовные потребности не знают границ. Но для расцвета духовных потребностей необходимо полное удовлетворение потребностей физических. Разумеется, мы не можем откладывать и не откладываем борьбы за повышение духовного уровня масс до того времени, как у нас не будет безработицы, беспризорности и нищеты. Все, что можно сделать, должно быть сделано. Но было бы жалким и презренным фантазерством думать, будто мы можем создать подлинно новую культуру прежде, чем обеспечим *довольство, избыток и досуг народных масс*. Проверять свои успехи мы должны и будем на разрезе повседневной жизни рабочего и крестьянина.

Культурная революция

Сейчас, думаю, уже ясно для всех, что создание новой культуры не есть самостоятельная задача, разрешаемая в стороне от нашей хозяйственной работы и общественно-культурного строительства в целом. Входит ли торговля в «пролетарскую культуру»? С абстрактной точки зрения пришлось бы ответить на этот вопрос отрицательно. Но абстрактная точка зрения не годится. В переходную эпоху, притом в той первоначальной ее стадии, в какой мы находимся, продукты имеют—и еще долго будут иметь—общественную форму *товара*. А с товаром надо как следует обращаться, т.-е. надо уметь его продавать и покупать. Без этого из первоначальной стадии не передвинемся в следующую. Ленин говорил: «учитесь торговать», при чем рекомендовал учиться на европейских культурных образцах. Культура торговли входит, как мы ныне твердо знаем, важнейшей составной частью в культуру переходного периода. Назовем ли мы культуру торговли рабочего государства и кооперации «пролетарской культурой»—не знаю. Но что это ступень к социалистической культуре—бесспорно.

Когда Ленин говорил о культурной революции, он основное ее содержание видел в повышении культурного уровня масс. Метрическая система есть продукт буржуазной науки. Но обучить сто-миллионное крестьянство этой нехитрой системе измерения значит совершить большое революционно-культурное дело. Почти несомненно, что мы этого не достигнем без трактора и без электрической энергии. В основе культуры лежит техника. Решающим орудием культурной революции должна стать революция в технике.

В отношении капитализма мы говорим, что развитие производительных сил упирается в общественные формы буржуазного государства и буржуазной собственности. Совершив пролетарскую революцию, мы говорим: развитие общественных форм упирается в развитие производительных сил, т.-е. в технику. Тем великим звеном, ухватившись за которое можно произвести культурную революцию, является звено индустриализации—отнюдь не литературы и не философии. Надеюсь, что эти слова не будут поняты в смысле недоброжелательного или неуважительного отношения к философии и поэзии. Без обобщающей мысли и без искусства человеческая жизнь была бы оголенной и нищей. Но ведь такой и является ныне в огромной степени жизнь миллионов. Культурная революция должна состоять в том, чтобы открыть им возможность действительного приобщения к культуре, а не к ее жалким отрывкам. А это невозможно без создания величайших материальных предпосылок. Вот почему машина, автоматически выбрасывающая бутылки, является в настоящий момент для нас первоочередным фактором культурной революции, а героическая поэма—только десятичередным.

Маркс сказал когда-то о философях, что они достаточно истолковывали мир, и что задача состоит в том, чтобы перевернуть его. В этих словах отнюдь не было неуважения к философии. Маркс сам был одним из могущественнейших философов всех времен. Его слова значили лишь, что дальнейшее развитие философии, как и всей вообще культуры, материальной и духовной, требует переворота в общественных отношениях. И поэтому Маркс от философии апеллировал к пролетарской революции,—не против философии, а за нее. В этом же самом смысле можно сейчас сказать: хорошо, когда поэты поют революцию и пролетариат; но еще лучше поет мощная турбина. Песен среднего достоинства, остающихся достоянием кружков, у нас много. Турбин ужасно мало. Я не хочу этим сказать, что посредственные стихи мешают появлению турбин. Нет, этого утверждать никак нельзя. Но правильная ориентировка общественного мнения, т.-е. понимание действительного соотношения явлений—что к чему,—совершенно необходима. Культурную революцию надо понимать не в поверхностно-идеалистическом и не в кружковом смысле. Дело идет об изменении условий жизни, методов работы и бытовых навыков великого народа, целой семьи народов. Только могущественная тракторная система, которая впервые в истории позволит крестьянину разогнуть спину; только стеклодувная машина, выбрасывающая сотни тысяч бутылок и освобождающая легкие «халыв-

щика»; только турбина в десятки и сотни тысяч сил; только общедоступный самолет,—только все они вместе обеспечат культурную революцию— не для меньшинства, а для всех. И только такая культурная революция заслужит этого имени. Только на ее основе процветут новая философия и новое искусство.

Маркс сказал: «Господствующие идеи эпохи суть идеи господствующего класса данной эпохи». Это верно и в отношении пролетариата, но совсем по-иному, чем в отношении других классов. Буржуазия, овладев властью, стремилась увековечить ее. Вся ее культура была к этому приспособлена. Овладевший властью пролетариат должен неизбежно стремиться как можно более сократить период своего господства, приблизив бесклассовое социалистическое общество.

К у л ь т у р а н р а в о в

Культурно торговать значит, в частности, не обманывать, т.-е. порвать с национальной торговой традицией: не обманешь—не продашь.

Ложь, обман—не личный только порок, а функция (действие) общественного порядка. Ложь есть средство борьбы и, следовательно, вытекает из противоречия интересов. Основные противоречия вытекают из классовых взаимоотношений. Правда, можно сказать, что обман старше классового общества. Уже животные «хитрят», обманывают в борьбе за существование. Немалую роль играл обман—военная хитрость— в жизни первобытных племен. Такой обман еще более или менее непосредственно вытекает из зоологической борьбы за существование. Но с того времени, как пошло «цивилизованное», т.-е. классовое общество, ложь страшно усложнилась, стала социальной функцией, преломилась по классовым линиям и тоже вошла в состав человеческой «культуры». Но это та часть культуры, которой социализм не примет. Отношения социалистического общества или коммунистического, т.-е. наиболее высокого его развития, будут насквозь прозрачны и не будут требовать таких вспомогательных средств, как обман, ложь, фальсификация, подлог, предательство и вероломство.

До этого, однако, еще далеко. В наших отношениях и нравах еще очень много лжи—и крепостнического и буржуазного происхождения. Высшим выражением крепостнической идеологии является религия. Взаимоотношения феодально-монархического общества основывались на глухой традиции и восходили к религиозному мифу. Миф есть мнимое, ложное истолкование естественных явлений и общественных учреждений в их связи. Однако не только обманываемые, т.-е. угнетенные массы, но и те, во имя которых обман производился—господствующие,— в большинстве своем верили в миф, добросовестно опирались на него. Об'ективно ложная идеология, сотканная из суеверий, не означает еще необходимо суб'ективной лживости. Только по мере усложнения общественных отношений, т.-е. по мере развития буржуазного порядка, с которым религиозный миф приходит во все возрастающее противоречие,

религия становится источником все больших ухищрений и искусного обмана.

Развернутая буржуазная идеология рационалистична и направлена против мифологии. Радикальная буржуазия пыталась обойтись без религии и построить государство на разуме, а не на традиции. Выражением этого явилась демократия с ее принципами свободы, равенства и братства. Капиталистическая экономика создала, однако, чудовищное противоречие между повседневной действительностью и демократическими принципами. Для заполнения этого противоречия требуется ложь более высокой марки. Нигде так не лгут политически, как в буржуазных демократиях. Это уже не об'ективная «ложь» мифологии, а сознательно организованный обман народа при помощи комбинированных средств исключительной сложности. Техника лжи культивируется не менее, чем техника электричества. Наиболее лживая печать имеется у наиболее «развернутых» демократий, у Франции и Соединенных Штатов.

Но в то же время—это надо открыто признать!—во Франции торгуют добросовестнее, чем у нас, и, во всяком случае, несравненно внимательнее к покупателю. Достигнув известного уровня благосостояния, буржуазия отказывается от мошеннических приемов первоначального накопления,—не из каких-либо абстрактных нравственных соображений, а из материальных: мелкий обман, подделка, рвачество вредят репутации предприятия и подрывают его завтрашний день. Принципы «честной» торговли, вытекающие из интересов самой торговли на известном уровне ее развития, входят в нравы, становятся «нравственными» правилами и контролируются общественным мнением. Правда, империалистская война и в эту область внесла колоссальные изменения, отбросив Европу далеко назад. Но послевоенные «стабилизационные» усилия капитализма преодолели наиболее злокачественные проявления торгового одичания. Во всяком случае, если взять нашу советскую торговлю в полном ее объеме, т.-е. от завода до потребителя отдаленной деревни, то придется сказать, что мы торгуем все еще неизмеримо менее культурно, чем передовые капиталистические страны. Вытекает это из бедности, из недостатка товаров, из экономической и культурной отсталости.

Режим пролетарской диктатуры непримиримо враждебен как об'ективно ложной мифологии средневековья, так и сознательной лживости капиталистической демократии. Революционный режим кровно заинтересован в том, чтобы обнажить общественные отношения, а не в том, чтобы их маскировать. Это значит, что он заинтересован в политической правдивости, в высказывании того, что есть. Не нельзя забывать, что режим революционной диктатуры есть переходной режим, а следовательно, противоречивый. Наличие могущественных врагов вынуждает к военной хитрости, а хитрость неразрывна с ложью. Нужно только, чтобы хитрость в борьбе с врагами не вводила в заблуждение своих, т.-е. трудящиеся массы и их партию. Это основное требование революционной политики, которое красной нитью проходит через всю работу Ленина.

Но если наши новые государственно-общественные формы создают возможность и необходимость высшей правдивости, какая до сих пор достигалась в отношениях между управляющими и управляемыми, то этого вовсе нельзя еще сказать про наши повседневные бытовые и житейские отношения, на которые экономическая и культурная отсталость— и все вообще наследие прошлого—продолжает давить огромной тяжестью. Мы живем много лучше, чем в 20 году. Но недостаток необходимых жизненных благ все еще накладывает и будет накладывать в течение ряда лет тяжкую печать на нашу жизнь и на наши нравы. Отсюда вытекают большие и малые противоречия, большие и малые диспропорции, связанная с противоречиями борьба и связанные с борьбой—хитрость, ложь, обман. Выход и здесь один: повышение техники, как производственной, так и торговой. Правильная ориентировка в этом направлении должна уже сама по себе содействовать улучшению «нравов». Взаимодействие повышающейся техники и нравов будет продвигать нас на пути к общественному строю цивилизованных кооператоров, т.-е. к социалистической культуре.

Заметки о Пушкине

В. ВЕРЕСАЕВ

1. Пушкин и Евпраксия Вульф

В биографии Пушкина теплым и ярким солнечным пятном выделяется прославленное им Тригорское с его милыми обитательницами.

... вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами...

Молодость, веселый девичий смех, песни, музыка. Как живой, рисуется перед глазами Пушкин среди цветника этих девушек,—влюбленный во всех сразу и сам всеми обожаемый, сыплющий им направо и налево свои сверкающие стихи, полные легкого хмеля минутной влюбленности. «И влюблюсь до ноября...». Все так легко и бестрагично. И так светло, чисто и невинно. Совсем как в «Евгении Онегине»,—в нем эта жизнь ведь и отражена. Ленский—жених Ольги; уже признанный жених.

Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят впотемках двое.
И что ж? Любовью упоенный,
В смятении нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.

Онегин об'ясняется с Татьяной и благородно предостерегает ее:

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.

И даже непонятно как-то: к какой беде? «Обольстит» и бросит беременной? Ну, как здесь до этого может дойти!

В 1915 году в академическом издании «Пушкин и его современники» (вып. XXI—XXII) был опубликован дневник Алексея Вульфа, сына владетельницы Тригорского, П. А. Осиповой. Знакомство с этим дневником производит прямо ошеломляющее впечатление,—в таком новом и неожиданном свете являются там любовные отношения молодежи в тогдашней «патриархальной» дворянско-помещичьей среде. Окончивши

дерптский университет, Вульф в 1827 г. приезжает в Петербург. Там он знакомится с недавно приехавшею с отцом своим из провинции двоюродною своею сестрою Лизою Полторацкою, хорошенькою 20-летней девушкою, и «решается избрать ее предметом своего первого волокитства». Вульфу удается совершенно покорить сердце девушки. «Я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представляются роскошному воображению, однако не касаясь... Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу,—ибо она сама, кажется, желала быть совершенно моею: и, вопреки моим уверениям, считала себя такою». В таких отношениях они прожили около года. У него—постоянные головные боли, которые он приписывает «густоте крови». Об ней он то и дело отмечает в дневнике: «Лиза нездорова, грустна», «Лиза больна, у ней были нервические припадки». Он к ней очень быстро охладел и был весьма рад, когда осенью 1828 года отец увез ее в Тверскую губернию. Там Лиза встретила с Сашею Осиповою,—падчерицею матери Алексея. Этой Саше Осиповой Пушкин написал свое стихотворение «Я вас люблю, хоть я бешусь». Оказывается, у Вульфа были с нею раньше совсем такие же отношения, как с Лизою Полторацкою. «Лиза,—записывает он,—знав, что я прежде волочилсЯ за Сашей, рассказала тотчас свою любовь ко мне и с такими подробностями, которые никто бы не должен знать, кроме нас двоих. Я воображаю, каково Саше было слушать повторение того же, что она со мною сама испытала. Она была так умна, что не отвечала подобною же откровенностью».

На святки Алексей Вульф приезжает в те же края. Не обращая внимания на двух прежних своих «любовниц», он начинает ухаживать за несколькими новыми красавицами (в том числе за Катенькою Вельяшевой, которой Пушкин посвятил стихи: «Под'езжая под Ижоры...»). «Я слегка волочилсЯ за ними,—рассказывает Вульф,—ибо ни одна из них не делала сильного впечатления на меня, может быть, оттого, что недавно еще пресыщенный этой приторной пищей желудок более не варил... Так как волочилсЯ я слегка, зевая, то и ничем не кончал». Через год он с сожалением вспоминает, что красавицы эти у него «прошли между пальцев». Для Алексея Вульфа серьезная, стоящая цель при ухаживании за барышней, это, говоря его словами,—«незаметно от *платонической* идеальности переходить до *эпикурейской* вещественности», оставляя при этом девушку «добродетельною (!), как говорят обыкновенно». Курсивы и восклицательные знаки принадлежат здесь Вульфу. Вот что значит доводить дело до конца, вот что значит ухаживать по-настоящему. Но нам тут интересен не Вульф. Интересна и ошеломляюще-неожиданна роль Пушкина в любовных предприятиях Вульфа, как она вырисовывается в этом же дневнике. Характер этой роли, странным образом, совершенно не обращает на себя внимания исследователей.

«В Крещение приехал к нам в Старицу Пушкин,—продолжает рассказывать Вульф.—С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, от чего его и прозвали сестры Мефисто-

фелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катенька Вельяшева), *несмотря ни на советы Мефистофеля*, ни на волокитство Фауста, осталась холодной; все старания были напрасны» (стр. 50). Мы теперь знаем, что составляет цель этих стараний. Пушкин поощряет Вульфа, стыдит его. — «Дурно, дурно, брат Александр Андреич!»¹⁾ (стр. 96). Предметом этих стараний Вульфа, поощряемых Пушкиным, является Катенька Вельяшева, 16-летняя двоюродная сестра Вульфа; незадолго до этого Пушкин писал ей:

Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красотой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.

Лишний, между прочим, пример отличия пушкинской Wahrheit от Dichtung.

Пушкин называл Вульфа «*filius meus in spiritu*» (сын мой в духе). Раньше было непонятно, в каком смысле употреблял Пушкин эти слова в применении к Вульффу, — слишком он мало был похож на духовного сына Пушкина. Но Л. Н. Майков, например, и многие другие понимали это в самом серьезном смысле (*Л. Майков, «Пушкин»*, стр. 166). После дневника Вульфа становится совершенно несомненным смысл пушкинских слов. Перед нами живьем вырисовывается этот уездный Фауст, а за его плечами — островзглядное, озорное лицо Мефистофеля, посвящающего его во все таинства «науки страсти нежной». Через год, уже будучи гусарским офицером и стоя с эскадроном в Польше, Вульф записывает одно из новых своих приключений. «Молодую красавицу трактира вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методу Мефистофеля (т.-е. Пушкина), надо ее воображение занять сладострастными картинками; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, которой им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности» (стр. 141). В другом месте своего дневника Вульф вспоминает, как он ухаживал еще за одною своею двоюродною сестрою, замужнею, Екатериною Ивановною Гладковой. «Приехав в конце 27 года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание этой добродетельной красавицы. Кат. рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, так же, как бы и Пушкина... Я первые дни был застенчив с нею и волочил, как 16-летний юноша. Я никак не умел постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность» (87—88).

Вот что значит «сын мой в духе», вот в чем ученичество Вульфа. И свою роль Мефистофеля по отношению к Вульффу Пушкин проводит

¹⁾ Эх! Александр Андреич, дурно, брат!

весьма последовательно и постоянно. Когда Лиза Полторацкая, с опоганенною душою и опоганенным телом, уехала в Тверскую губернию, а Алексей Вульф на свободе ухаживал в Петербурге за женою поэта Дельвига, Пушкин писал Вульфу из Тверской губернии: «Честь имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приняли с достоюдолжным почитанием и благосклонностью. Утверждают, что вы *гораздо хуже меня* (в моральном отношении). И потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуемые от меня пояснения на счет вашего петербургского поведения дал я с откровенностию и простодушием, от чего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания, как, например: *какой мерзавец! какая скверная душа!* Но я притворился, что их не слышу» (27 окт. 1828 г.).

Чрезвычайно своеобразно отношение Алексея Вульфа к Пушкину. Пушкин все время говорит с ним его языком в его стиле, поощряет его и благословляет на поступки, к которым Вульфа тянет и самого. Казалось бы, отношение к Пушкину должно быть самое дружелюбное,—такое же, как и Пушкина к нему. Между тем, в отзывах Вульфа о Пушкине все время ощущается весьма ясная нота затаенной вражды и насмешки, как будто Пушкин причинил ему большой какой-то ущерб. 15 февраля 1830 года, уже в Польше, Вульф записывает: «Пушкин, величая меня именем Ловласа, сообщает мне известия очень смешные о старицких красавицах, доказывающие, что он не переменялся с годами и возвратился из Арзерума точно таким, каким и туда поехал,—весьма циническим волокитою» (115). 28 июня 1830 года, получив известие о предстоящей женитьбе Пушкина на Гончаровой, он пишет: «Желаю ему быть щастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов,—это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся» (124). «Так строго судил поэта этот высоконравственный господин, собственные писания которого исключительны по своему цинизму»,—замечает М. А. Цявловский в своем отзыве о дневнике Вульфа («Голос Минувшего», 1916, № 2, стр. 285).—«Вульф оказался недостойным того счастья, какое ему выпало на долю, называться приятелем великого поэта» (283). И П. Е. Щеголев пишет: «Вульф и в жизни остался достойным гнева и жалости эмпириком любви, а Пушкин, для которого любовь была гармонией, изведаль высший восторг небесной любви. Но Пушкин с стыдливою застенчивостию скрывал свои чувства от всех и—от Вульфа» («Дуэль и смерть Пушкина», 2 изд., стр. 49). Все это, конечно, вполне верно. Да, Пушкин знал и восторг небесной любви, да, Алексей Вульф был недостойн Пушкина, да, он был человек чувственный и развратный. Под старость он в этом отношении совсем уж развернулся, завел у себя в деревне крепостной гарем и даже присвоил себе, по рассказам, «право первой ночи». И однако он способен был откликаться на жизнь и другими сторонами души. Он весь начинает светиться, когда вспоминает

о своем университетском товарище Франциусе, пламенном энтузиасте. Уже позже, в 1833 г., узнав о его смерти, Вульф пишет: «Душевно сожалею, что судьба не свела меня еще раз с ним: он бы передал мне снова много прекрасных, возвышенных идей; его бы пламенем согрелась и моя хладающая от ежедневного опыта грудь, я бы освежился духом». Он с неизменною любовью вспоминает о другом своем университетском товарище, поэте Языкове, с глубоким уважением всегда говорит о Дельвиге. А к Пушкину—эта скрытая вражда и насмешка. Одного ли Вульфа в этом вина?

Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях,—обычная поза биографов. Скучно и нецелесообразно. Он и без того, сравнительно с нами, большой, а мы еще опускаемся на колени, делаем себя еще меньше, еще менее способными что-нибудь видеть. По отношению к Пушкину это особенно вредно, потому что его все мы как-то особенно горячо полюбили, особенно всем он стал теперь нужен и незаменимо-дорог, и поэтому здесь особенно трудно удержать требуемую холодность. А между тем в сознании нашем уже оформился и застыл канонический образ личности Пушкина,—фальшивый и совершенно не соответствующий действительности. Светлый, гармонический и жизне-радостный «гуляка праздный», с простодушием гения, с благоволением к людям, детски-очаровательный в самом своем озорстве и шалостях. Пушкин был натура очень сложная и вовсе не годился в герои нраво-учительного романа. Повидимому, в душе его немало было упадочничества и даже разложения, зияли чернейшие провалы, много было и хаоса, и зверя. Чтобы понять его, нужно к нему подходить не с благоговейным трепетом поклонника, а с несмущающеюся смелостью исследователя.

Один ли Вульф был виновен в том, что он воспринимал Пушкина так, как его описывает,—или Пушкин, действительно, поворачивался к нему именно эту свою стороною, и не вина была Вульфа, что он видел то, что видел? Пушкин не только в дневнике Вульфа говорит с ним почти исключительно о женщинах и любовных делишках. Почти об этом одном говорит он и в подлинных своих письмах к Вульфу (см., напр., письма от 7 мая 26 г., 27 окт. 28 г., 16 окт. 29 г.). А ведь Пушкин был на пять лет старше Вульфа, от него зависело давать тон их беседам, о Вульфе же сам он отзывался так: «Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял». Пушкина самого интересовали те дела, о которых он говорил и переписывался с Вульфом,—и именно в той как раз плоскости, как и Вульфа. Повидимому, общий стиль обращения Пушкина с псковскими и тверскими барышнями был приблизительно такой же, как у Вульфа,—да на это прямо и указывает Вульф: он только ученик Пушкина, он только робко применяет к делу уроки опытного учителя. И заподозривать правдивость Вульфа решительно невозможно: дневник свой писал он только для себя и не думал, что он сможет попасть в печать.

Для нас все это слишком неожиданно, слишком трудно это принять в душу,—и однако это, повидимому, так. Только в таком свете становится понятным кое-что и в письмах Пушкина. Напр., совершенно новый, цинично-озорной смысл получает непонятное без того бон-мо, которым хвалится Пушкин в письме к цинику-Вяземскому: «Ради соли, вообрази, что это было сказано девушке лет 26:—Что более вам нравится? запах розы или резеды?—Запах селедки». Речь идет, очевидно, об Анне Николаевне Вульф, старшей из тригорских барышен, которой в то время было как раз 26 лет, и отношения с которой у Пушкина были довольно близкие,—в одном из ее писем к нему встречается итальянская фраза: «*ti (подчеркнуто) mando un bacio, mio amore, mio delizie*» (посылаю тебе поцелуй, моя любовь, моя прелесть) (*Переп. Пушкина, акад. изд., I, 354*). 10 сент. 1836 г. баронесса Е. Н. Вревская писала брату своему Алексею Вульфу про младшую их сестренку, 16-летнюю Машу Осипову: «6-го уехал от нас Ник. Игн. (соседний помещик Шениг). Он заменил Пушкина в сердце Маши. Она целые три дня плакала об его отъезде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: *Ник. Игн. никогда не воспользуется этим благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать*» (*«Пушкин и его совр-ки», XIX—XX, 108*).

Ясно из всего этого, что прозвище губернского «вампира», данное Пушкину в тверских дворянских гнездах, имело вовсе не такой уж невинный смысл. Владетельница Тригорского, П. А. Осипова, горячо (и, повидимому, не только дружески-горячо) любившая Пушкина, старается держать от него своих дочерей подальше,—и навряд ли из одной только ревности, как думала ее дочь Анна Н. Вульф (см. ее письмо к Пушкину,—*Переп. Пушкина, I, 333*). Алексей Вульф записывает в своем дневнике под 11—12 окт. 1828 г.: «Пушкин хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя сестры (Анны) и матери, а сестре и другим ради причин это вредно». Он называет Пушкина «неотразимым», а баронесса Вревская, говоря об одной дальней их родственнице, Лизе Ермолаевой, в особую заслугу ставит ей, что Пушкин «не мог свести Лизу с ума, хоть и старался» (*«Пушкин и его совр-ки», XXI—XXII, 413*).

Евпраксия Николаевна (Зина, Зиви) Вульф—младшая из двух сестер Вульфа, дочерей П. А. Осиповой от первого ее брака. Она была почти на десять лет моложе Пушкина. Ей Пушкиным посвящены стихи: «Если жизнь тебя обманет» и «Вот, Зина, вам совет». Ее он имеет в виду в пятой главе «Онегина», говоря об узких, длинных рюмках,

Подобных талии твоей,
Зиви, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

Любители отыскивать прототипы художественных образов утверждают, что Евпраксия служила для Пушкина оригиналом,—одни говорят—Татьяны, другие—Ольги.

Каковы были отношения между Пушкиным и Зизи? М. Л. Гофман полагает, что это было «легкое увлечение, перешедшее в дружбу» («Пушкин и его совр-ки», XXI—XXII, 413). «Когда Пушкин приехал в Михайловское,—пишет он,—Евпраксии было пятнадцать лет, и веселый резвый подросток порой развлекал его» (выражение *увлекал* представляется нам неуместным и несоответствующим действительным отношениям Пушкина). «На-днях,—пишет Пушкин брату в октябре 1824 г.,—я мерялся поясом с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаковы. Следственно, из двух одно: или я имею талию 15-летней девушки, или она—талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила, с Анеткою бранюсь; надоела». Тон, которым Пушкин говорит об Евпраксии и об Анетке,—Анне Николаевне Вульф,—свидетельствует о разных отношениях Пушкина к ровеснице своей «Анетке», которая уже «надоела», и к «милому» подростку. На глазах Пушкина Зизи выростала, и в 1826 году она превратилась уже в 16—17-летнюю девушку, считавшую, что «нравиться есть необходимость, чтобы провести приятно время», и старавшуюся принимать участие в праздниках молодежи. Шутливо-влюбленные отношения установились между Пушкиным и Языковым с Зизи Вульф летом 1826 г., когда приехал в Тригорское Языков. Весело-беспечное дитя, Зизи участвовала в пирушках Пушкина, Языкова и Вульфа. Но дальше «чистого хмеля» и веселых пирушек, дальше простых дружеских, шутливо-влюбленных мадригалов не шли отношения поэтов и Зизи. Вскоре Пушкин получил свободу, и как-то мгновенно расстроились, распались его отношения с Евпраксией Николаевной, с которой он и не переписывался. В 1828 году вышли IV и V главы «Онегина» (где находится вышеприведенное обращение к Зизи), и Пушкин послал Евпраксии экземпляр с надписью: «твоя от твоих». Осенью этого же года (а может быть, и в январе 1829 г.) Пушкин увиделся с Евпраксией и, как Вульф писал в своем дневнике, «по разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем». Но Пушкин недолго пробыл в Тригорском и уехал, а Евпраксия Николаевна продолжала подчиняться «необходимости нравиться» и приятно проводить время. В 1831 году она вышла замуж за барона Б. А. Вревского (*там же*, стр. 224—226).

М. Гофман думает, что отношения Пушкина и Евпраксии Вульф исчерпывались легким увлечением и шутливою влюбленностью. Но в таком случае совершенно непонятно, как могла она попасть в «донжуанский список» Пушкина. Пушкин сам говорит про себя: «Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых я знал». Это же подтверждает в своих воспоминаниях и кн. М. Н. Волконская. Каким же длинным должен бы быть пушкинский донжуанский список, если бы Пушкин вносил в него все свои легкие увлечения! Список оказался бы не короче, чем у моцартовского Дон-Жуана: mille e tre! А в нем

всего 34 имени. Притом, Евпраксия внесена в первый из списков, в котором всего 16 имен,—и имен женщин, которых Пушкин любил всего глубже и сильнее. Тут и Екатерина (Бакунина), и Амалия (Ризнич), и Элиза (гр. Воронцова), и Екатерина (Ушакова?), и Анна (Оленина?), и таинственная NN., и, наконец, Наталья (Гончарова), заключающая список. Ясно,—если в этот список Пушкин внес и «Евпраксею», то его увлечение ею выходило далеко за пределы шутливой влюбленности.

И мы имеем этому много подтверждений. Анненков сообщает, что, по слухам, Пушкин был равнодушен к Евпраксии Николаевне (*«Пушкин в алекс. эпоху»*, 280). Алексей Вульф говорил М. И. Семевскому, что Пушкин был «всегдашним и пламенным обожателем» ее (*«Спб. Ведомости»*, 1866, № 139. *«Прогулка в Тригорское»*). Слухи о любви Пушкина к Евпраксии дошли даже до молодой жены поэта, и Анне Николаевне Вульф приходилось успокаивать ревнивую Наталью Николаевну. «Как вздумалось вам,—писала она ей в 1831 году,—ревновать мою сестру, дорогой друг мой? Если бы даже муж ваш и действительно любил сестру, как вам угодно непременно думать,—настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится тению» и т. д. (*Анненков, «Пушкин в алекс. эпоху»*, 280). Любовь, несомненно, была,—и со стороны Евпраксии Николаевны, повидимому, еще более сильная, чем со стороны Пушкина; время ее—1828 и начало 1829 года. Ал. Вульф, как уже было указано, отмечает в своем дневнике: «По разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем». В. Колозов в статье своей «Пушкин в Тверской губернии» (*«Русск. Стар.»*, 1888, т. 60, стр. 91) приводит воспоминания старушки Сеницыной, дочери берновского священника. Сообщения ее получили неожиданное и весьма точное подтверждение в опубликованных значительно позже воспоминаниях Алексея Вульфа. Сеницына спутала только время. То, что она описывает, происходило не в 1827 г., как она говорит, а в начале 1829. Пушкин гостил в Бернове у одного из многочисленных в тех местах Вульфов, Павла Ивановича. «Когда пошли мы к обеду,—рассказывает Е. Е. Сеницына,—Пушкин предложил одну руку мне, а другую дочери Прасковьи Александровны, Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мной. За столом он сел между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди,—протанцует с ней, потом со мной, и т. д. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот день ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Ал. Серг-ч после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту; все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее,—она на него все глаза проглядела». Наконец, сама Евпраксия, уже в сентябре 1837 г., после смерти Пушкина, писала своему брату, как об обстоятельстве, всем им известном: «Наш приятель (Пушкин) умел занять чувство у трех сестер» (*«Пушкин и его сов-ки»*, XXI—XXII, 413). Здесь разумела она, очевидно, старшую свою сестру Анну, себя и, повидимому, младшую сестру Машу Осипову.

Все это в целом, кажется мне, должно нас убедить в том, что отношения между Пушкиным и Евпраксией Вульф были гораздо серьезнее «легкого увлечения» и «шутливой влюбленности». Другой вопрос,—каков был характер этих отношений. Многоликий Протей-Пушкин и в любви к женщинам был Протеем. Перед нами—то дерзкий и бесстыдный сатири, то застенчивый до смешного мальчик, то «рыцарь бедный», пламенеющий чистою любовью к той, «кого назвать не смеет». Какова же была его любовь к Евпраксии? В первой половине этой статьи освещен был общий характер отношения Пушкина к барышням из псковских и тверских дворянских гнезд. Одно загадочное место в дневнике Вульфа, только в этом же освещении делающееся понятным, заставляет неуверенно догадываться, что Евпраксия в этом отношении не представляла исключения. В декабре 1828 г. Алексей Вульф, приехав из Петербурга в родное гнездо, увидел сестру свою Евпраксию. «Она,—пишет он,—страдала еще нервами и другими болезнями наших молодых девушек. В год, который я ее не видал, очень она переменялась. У ней видно было расслабление во всех движениях, которое ее почитатели называли бы прелестною томностью,—мне же это показалось похожим на положение Лизы (Полторацкой, см. начало этой статьи), на страдание от не совсем счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся» (стр. 45).

Опытный в этих делах глаз Вульфа видит то, что отмечено было еще юношею-Пушкиным в стихотворении (впрочем, взятом у Парни):

Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей...
Твой бог неполною отрадой
Своих поклонников дарит...

Прав ли был Вульф в этих своих догадках, мы не знаем. Но вот что замечательно. Позднейшие отношения Пушкина с баронессою Вревскою были самые дружеские. Она отзывается о нем в письмах с большою приятностью, весьма волнуется по поводу его столкновения с графом Соллогубом или истории с Дантесом. Однако, как только заходит речь об отношении Пушкина к женщинам, в тоне Евпраксии Николаевны начинает звучать та же затаенная насмешка и скрытая вражда, как и в дневнике ее брата, Алексея Вульфа. В октябре 1835 г. она пишет брату: «Поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал попрежнему, но теперь, кажется, впал опять в хандру. Он ждал Сашеньку (Беклешову, урожденную Осипову, дочь второго мужа их матери от первого его брака) с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие мужа разогреет его состаревшие физические и моральные силы» («Пушкин и его совр-ки», XIX—XX, 107). Через год она писала брату о младшей их сестре, 16-летней Маше Осиповой (отзыв этот полностью приведен выше): «Маша отдает Николаю Игнатьевичу такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: Николай Игнатьевич никогда не воспользуется этим благорас-

положением, что об Пушкине никак нельзя сказать». Такие вещи и таким тоном может говорить только женщина, горько на своем собственном опыте познавшая с этой стороны любимого когда-то человека. И она-то, перечитывая «Онегина», вероятно, не испытывала недоумения, к какой такой «беде» ведет девичья неопытность.

II. Княгиня Нина

23 января 1829 года кн. П. А. Вяземский писал в Петербург Пушкину: «Мое почтение княгине Нине. Да смотри, непременно, а не то ты из ревности и не передашь» (*Переп. Пушкина, акад. изд., II, 86*).

Мы ничего не знаем об увлечении Пушкина женщиною с таким именем; имени «Нина» мы не находим также ни в одном из «дон-жуанских списков» Пушкина. Кто такая княгиня Нина? Ответа на это в пушкинской литературе не имеется.

За три-четыре месяца перед тем Пушкин писал Вяземскому: «Я пустился в свет. Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер,—но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники» (*Переп., II, 74*). Из письма кн. Вяземского от 25 сент. 1828 г. узнаем, что Пушкин воспел эту даму в стихах, где сравнивает ее с «беззаконною кометою» (*Переп. Пушкина, II, 78*). Это—известные стихи Пушкина «Портрет», посвященные Аграфене Федоровне Закревской. О ней, значит, Пушкин в своем письме и говорит.

Эта же А. Ф. Закревская выведена Боратынским в его поэме «Бал», вышедшей в 1828 году. Что здесь выведена именно Закревская, видно из письма Боратынского к его другу Н. В. Путяте: «В поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления. Она моя героиня» (*Полн. собр. соч. Е. А. Боратынского, акад. изд., 1915, т. II, 245*). В Гельсингфорсе Боратынский, как известно, сильно увлекался Закревскою. В поэме же «Бал» Закревская выведена под именем княгини Нины.

Пушкин был в восторге от поэмы Боратынского; хорошо, конечно, знал ее и Вяземский. И ясно, что в письме своем под княгинею Ниною Вяземский разумеет Закревскую.

«С своей пылающей душой, с своими бурными страстями»,—А. Ф. Закревская яркою беззаконною кометою проносилась в 20-х годах по небосклону чинного и лицемерно-добродетельного «большого света». Все стихи, проза и письма как Пушкина, так и Боратынского, рисуют ее дерзко презирающею мнение света, бешено-сладоострастною и порочною, внушающею прямо страх заразительною силою сатанинской своей страстности. Пушкин: «Таи, таи свои мечты: боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты!» И Боратынский: «Страшишь прелестницы опасной, не подходи: обведена волшебным очерком она; кругом нее заразы страстной исполнен воздух»... И еще вот как Боратынский: «Кого в свой дом она манит,—не записных ли волокит, не новичков ли милосвидных? Не утомлен ли слух людей молвой побед ее бесстыдных и соблазнительных связей? Но как влекла к себе всеильно ее живая красота!».

Живьем встает образ Клеопатры, как ее представлял себе Пушкин и как воплотил в «Египетских Ночах».

Ну, и вот: Онегин, возвратясь из своих странствий, встречается в Петербурге на великосветском балу Татьяну.

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

Если искать за персонажами Пушкина живых прототипов,—занятие, по-моему, в общем достаточно бесплодное,—то, конечно, естественнее всего в этой *Нине* Воронской, *Клеопатре Невы*, видеть именно Закревскую. «Мраморная краса» ее великолепно видна на портрете, приложенном к брокгаузовскому изданию Пушкина (II, 493).

В черновиках к «Онегину» находим изображение ослепительного выхода Нины в балльную залу в соблазнительном костюме, вполне подходящем к Клеопатре и—к Закревской:

Смотрите,—в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...

У Пушкина есть набросок начала прозаической повести: «Гости с'езжались на дачу». Набросок обычно относят к 1831—1832 гг., но П. Е. Щеголев, по положению наброска в черновых рукописях, доказал, что он написан в 1828 году («Пушкин и его современники», XIV, 190). В наброске этом под именем эксцентрической красавицы Зинаиды Вольской выведена та же Закревская, которою именно в 1828 году увлекался Пушкин. Щеголев отмечает любопытные совпадения в отзывах Пушкина о Закревской и Минского в указанном отрывке—о Зинаиде Вольской. Пушкин пишет Вяземскому о Закревской: «Она утешительно смешна и мила... Она произвела меня в свои сводники». Минский отзывается о Зинаиде Вольской: «Я просто ее наперсник или что вам угодно. Но я люблю ее от души: она уморительно смешна».

Мне несколько раз приходилось высказываться против попыток привлекать художественные произведения Пушкина в качестве непосредственного биографического материала. Следует, однако, указать, что некоторые прозаические произведения Пушкина, в отличие от стихотворных, носят столь непосредственно-автобиографический характер, что

отрицать его совершенно невозможно. Таков образ великосветского поэта Чарского в «Египетских Ночах»; таков прозаический отрывок, яко бы перевод с французского: «Участь моя решена: я женюсь». Таков, по всем данным, и рассматриваемый отрывок: «Гости с'езжались на дачу». Пользоваться и этими произведениями в качестве автобиографического материала можно, разумеется, лишь с крайнею осторожностью, делать прямые из них выводы биографического характера нельзя. Но в них нередко можно найти намек, вдруг вкладывающий нам в руки конец путеводной нити к разрешению того или другого вопроса в биографии Пушкина. Такой конец нити находим мы и в разбираемом отрывке.

Минский получает записку от Зинаиды Вольской. «Самолюбие Минского было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, *если бы он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался бы от своего торжества*, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию». В одном из недавно найденных писем Пушкина к Ел. Мих. Хитрово Пушкин пишет, что больше всего на свете боится женщин *comme il faut* и больших чувств, и что он предпочитает легкие связи с гризетками. Пишет о своем пресыщении любовными интригами, переписками и пр. В об'яснение этого он сообщает, что имеет несчастье быть в связи с одной умной, болезненной и страстной особой, «которая меня приводит в бешенство, хотя я ее люблю всем сердцем. Этого вполне достаточно для моих забот и особенно для моего темперамента». За «болезненность» Закревской говорят все имеющиеся данные,—она, повидимому, была форменной истеричкой. Резкая смена настроений, чисто-детская озорная шаловливость, «судорожное веселье» (Н. В. Путья).

Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь...

(Боратынский)

Все выше развитые соображения, мне кажется, с большою вероятностью говорят за то, что в письме своем к Е. М. Хитрово Пушкин имеет в виду именно Закревскую, и что его отношения с нею некоторое время были весьма близкими

В связи с этим некоторую долю вероятия получает и то, что сообщает о Закревской ее племянница М. Ф. Каменская («Воспоминания», «Истор. Вестн.», 1894, т. 58, стр. 54). Она рассказывает, что, по словам ее тетушки, Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и к каждому. «Еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь». Только навряд ли, конечно, это могло происходить в последние дни жизни Пушкина, как уверяет М. Ф. Каменская. Увлечение Пушкина Закревскую следует относить к лету и осени 1828 года.

Критические заметки

О Бабеле

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

Я подивился искусству живописца,
мрачной его выдумке.

Бабель. — «Пан-Аполек».

I

Читаю и перечитываю «Конармию». Удивительная книга,—едва ли не самая яркая за последние десять лет. Она не потускнеет рядом с выдающимися произведениями европейской литературы,—так прекрасны иные ее страницы. Меня смущает лишь одна мысль: почему книга называется «Конармия»? Разве в самом деле она написана про походы и подвиги буденновцев? Это было первым недоумением, лишь только я пробежал глазами первые ее страницы.

Она очень не велика—эта книга. В ней 168 страниц, включающих 34 рассказа, острых, как спирт, и цветистых, как драгоценные камни. Первый рассказ называется «Переход через Збруч». Начинается он так:

«Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волыньск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе,— по неувядаемому шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым».

Я предвкушал очарование невиданного зрелища. Я с жадностью читал дальше о пурпурных полях мака, цветущего вокруг, и о полуденном ветре, играющем в желтеющей ржи, о жемчужном тумане березовых рощ и об оранжевом солнце, которое катилось по небу, как отрубленная голова, о нежном свете, который загорается в ущельях туч, и о запахе вчерашней крови прочел я. Я торопливо бежал по строчкам, добежал до последней заключительной строки, звучавшей торжественно и мрачно. В рассказе оказалось много замечательного, но, к удивлению моему, «Конармии» в рассказе не было: начдив шесть лишь промелькнул, как сон, и исчез.

«Начдив шесть едится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига и оба глаза его падают наземь».

Не так много для «Конармии»,—подумал я и стал читать «Костел в Новограде». С первой же строки автор «отправился... с докладом к военкому, оставшемуся в доме бежавшего ксендза». «Наконец-то, я увижу военкома»,—подумал я. Но время шло, события проходили мимо, рассказ пришел к эффектному концу, а военком не показался: прождали его напрасно. Он прошел тенью где-то в стороне, за кулисами сцены. Я не говорю, что без военкома было скучно. «Костел в Новограде» оказался превосходным рассказом! В нем не было только Конармии, но зато в приподнятом, патетическом тоне говорилось о пане Ромуальде и о «вкрадчивых соблазнах», обессиливших рассказчика.

«Я вижу тебя отсюда, неверный монах,—в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц».

Все это очень изысканно,—но далеко от Конармии.

Перебрасывая страницу за страницей, вместе с автором «смеюсь и ужасаюсь», я пришел к заключению, что добрая половина рассказов, вошедших в книгу,—суть рассказы не о Конармии. Начдив шесть, которого не нашли мы в «Переходе через Эбруч», и военком, которого тщетно ждали в рассказе «Костел в Новограде», и казак Кудря, осторожно взрезавший шпиона в рассказе «Берестечко», и «Пан Аполек», и «Гедали», и «Рабби», и «Сашка Христос», и ряд других—все это связано с Конармией,—но это не рассказы о Конармии. Конармия появляется на сцену, чтобы дать повод для стремительного повествования, охватывающего, как рамой, военным эпизодом. Этот прием в поэтике называется обрамлением. Обрамление придает всей книге конармейский характер.

Но это только видимость. Конармия не занимает центрального места в книге, хотя большее количество ее страниц действительно изображает труды и дни конницы Буденного. Я выражу свою мысль понятнее, если скажу, что Конармия отразилась в книге, но лишь после того, как прошла сквозь некую призму, быть может, искажившую, быть может, преобразившую, но во всяком случае отделившую от реальности те факты действительности, которые наблюдал автор, разделявший с конармейцами тягости походов.

Я не удивляюсь поэтому резкости, с какой осудил эту книгу вождем той самой Первой Конной, которую, будто бы, Бабель хотел изобразить в своих новеллах. Буденный, подобно многим, был обманут обманчивым названием: он думал найти верное отражение того, что было, с реальным, отвечающим действительности, распределением света и тени. Каково же было его разочарование, удивление и, наконец, негодование, когда в «Конармии» он встретил нечто, лишь в отдаленной степени напоминавшее то, что было.

II

«Конармия», как рисует ее Бабель, не похожа на Конармию, которую знает мир по ее боевым подвигам. В этом еще нет ничего удивительного: художественное воссоздание действительности может разительно отличаться от действительности. Существо вопроса в том: в чем именно заключены эти отличия? Конармия в книге Бабеля *обеднена*, а потому извращена по сравнению с действительностью, более широкой, более богатой и разнообразной. Я не стану здесь повторять того, что неоднократно говорилось по этому поводу. Автор видел много, а перенес на полотно немного. Кое-что, чрезвычайно существенное для Конармии, он отбросил в сторону, сгущал краски там, где ему казалось важным, стирая их в местах, где они казались лишними. Оттого-то картина, которую рисует Бабель, не похожа на историческую действительность. Отдельные элементы ее, эпизоды, факты и люди оказались вырванными из действительности; в книге они стали жить самостоятельной жизнью, как настоящая реальность, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом. Но таково подлинное искусство: деформируя свои прототипы, извращая их, оно кажется более реальным, чем они: прототипы умирают, искусство остается. С этой стороны справедливы упреки читателей, видящих в «Конармии» реальный и реалистический памятник боевой страды наших славных борцов. Но упреки эти бьют мимо цели, потому что автор, мне думается, не ставил своей задачей соорудить такой памятник, это во-первых, а, во-вторых, упрекая автора в отсутствии того, чего в рассказах нет, недовольные не уничтожают упреками ценность того, что в рассказах есть. А ведь именно то, что есть, и должно быть предметом критических суждений. В таком подходе к рассказам Бабеля (как — и ко всяким другим) таится порочность основной посылки. Приняв за доказанное, будто героем новелл, об'единенных именем «Конармии», является именно армия Буденного, — читатель вправе требовать и упрекать. Но ведь то, что почитается доказанным, — требует доказательств. Ведь буденновской-то армии в «Конармии» и нет. В книге есть, конечно, «герой», некий стержень, вокруг которого происходит движение. Но стержень этот — не Конармия. В книге имеется главное действующее лицо. Но лицо это не боец, защищающий Республику Советов. Или, если хотите, он только отчасти занимается этим революционным делом. Бежит мимо река жизни, великая борьба и малые дела идут рядом, люди убивают других, или погибают сами, совершаются подвиги и злодеяния, текут ручьями слезы и кровь, — все течет, все меняется — лишь этот герой незримой тенью пребывает на страницах, с первой и до последней. Не о Конармии, а о себе написал эту замечательную книгу человек, прошедший увлекательный и жестокий путь боевой страды. Оттого-то все, что сказал он о Конармии, и все, что ухитрился о ней позабыть, все это говорит о нем самом, об авторе, о его точке зрения на мир.

III

«Человек—это стиль»,—любил говорить Плеханов.

Стиль Бабеля оригинален. Своеобразие способов выражения отражает, разумеется, своеобразие той призмы, сквозь которую он видит мир. Одной из особенностей этой призмы является гиперболизм. Бабель не может без преувеличений. Сравнения его необычайны. Если на страницах «Конармии» появляется жеребец,—этот жеребец «невиданной» красоты; если на курганах валяются трупы,—трупы эти «чудовищные», а курган «тысячелетний»; заходит речь о сараях,—они «неописуемо» мрачные. Все у Бабеля необыкновенно:—рессоры на тачанке «небывалые»; улы «неописуемы», шоссе—«неувядаемое», блеск луны льется с «неиссякаемой» силой; букеты у налетчиков «чудовищные», плечи у них «стальные», глаза «горящие»; стаи птиц в заповедных водах «несметные», рыба плодится там в «непередаваемом» изобилии и даже грудь у эскадронной дамы Сашки столь «чудовищная», что закидывалась за спину—так неимоверна эта грудь.

Люди у него говорят с «ужасной» силой или с «необыкновенной» силой, и если в «Солнце Италии» рассказчик хочет придавить рукой оплывший огарок свечи, то делает это с «необыкновенной» задумчивостью, и так далее, и так далее.

Все это, разумеется, не случайность. Гиперболизм—особенность духовного зрения Бабеля. Такова его способность видеть мир. Эта особенность сказывается не только на эпитетах, но в характере его пейзажа, в действиях его героев, в самом их характере.

Если Бася из «Одесских рассказов» шьет себе приданое,—по ее раскояченному «могущественным» коленям ползут «груды» холста, хотя всей этой «груды» хватает на шесть рубашек и шесть панталон,—но без «груды» и «могущественных» колен Бабель не может никак,—это для него необходимо, как воздух. Он и в самом деле видит все в таких преувеличенных формах. Когда впервые на его страницах появляется эта самая Бася, дочь «прославленного» налетчика Грача, занимающегося, однако, извозным промыслом,—она оказывается «исполинского» роста. Если старухи в рассказе «Отец» купают младенца, Бабель не может удержаться, чтобы не подчеркнуть, что младенцы «жирные» и старухи шлепают их по «сияющим» ягодицам. Все у него небывало, неимоверно, неописуемо, невероятно, как невероятно вся карьера Бени Крика, как невероятен язык Бени, настолько художественно-очаровательный, что его нельзя услышать в действительной жизни. Приподнятая патетика языка, жажда необычайного, пряная красочность описаний, постоянные преувеличения выдают, разумеется, основную черту мировосприятия Бабеля. Это—романтика.

«Одесские рассказы»—не кажутся «Одесскими сказками» только потому, что сделаны писателем, обладающим магической силой очарования. Сила художественного внушения (а без способности заражать—нет искусства), какую обладает Бабель, исключительна; оттого-то бес-

прекословно веришь в фантастические похождения одесского налетчика, не сомневаясь в действительности этой нереальной реальности.

В свете романтической призмы становятся понятными лирические отступления Бабеля, экзотическая насыщенность описаний, парадоксальная изощренность фантазии. Можно без труда подметить случайные признания автора, которые обнаруживают романтическое беспокойство его души:

«По городу слонялась бездомная луна. И я шел с нею вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни». На постое, в Будятичах, между боями, валяясь на прелой подстилке среди конармейцев, он слушает песню эскадронного певца: «Мечта ломала мне кости, мечта трясла под мной истлевшее сено». «Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо кому, и воображение, слекая счастливая баба, клубилось впереди июльским туманом».

Романтичен пейзаж Бабеля, такой странно-стильный, почти театральный, рядом с тачанками, пулеметами и серой солдатской шинелью «Обгорелый город — переломленные колонны, врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, — атласного Ромео, поющего о любви в то время, как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

«Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей».

Можно было бы привести много образцов, но достаточно напомнить лишь «Пана Аполека», — романтический стиль здесь выражен с яркой законченностью. Романтикой дышат каждая строка описаний, каждая картина Аполека, каждое слово, бросаемое им.

К числу романтических новелл, кроме «Пана Аполека», должны быть отнесены: «Костел в Новограде», «Солнце Италии», «Кладбище в Козине», «Берестечко», «У святого Валента», «Замостье» и, прежде всего и после всего, три замечательных миниатюры: «Гедали», «Рабби» и «Сын Рабби». Последняя, как концовка, замыкает книгу. Эти три новеллы — самые замечательные произведения романтика Бабеля.

IV

Романтический характер творчества Бабеля не дает, разумеется, никаких оснований для внимания, которое мы этому автору оказываем. Романтика, сама по себе, не говорит ничего ни за, ни против. Ибо есть «романтика» и «романтика». Романтика упадка и романтика под'ема, романтизм революционный и романтизм, обращающий взоры назад. Интерес Бабеля в том, что он начинает с реакционной романтики, — кончает же бурной романтикой революции. А это существенный успех нашей молодой литературы. Ей нехватает именно романтики, преодо-

ления бытового реализма, копирующего действительность, неизбежно вырождающегося в натурализм скучный и мертвый, бескрылый и косный. Нам нужен полнокровный реализм, растущий на нашей земле, питающийся ее соками, но вместе с тем окрыленный стремлением к далеким и большим целям. Пафос нашей современности в таком именно устремлении. Сама революция, низвергающая обыденность, романтична по природе. Где борьба — там и романтика. Что именно такого окрыленного реализма ищет наш молодой советский читатель — можно заключить по успеху, выпавшему на долю «Цемент» Гладкова. Я не принадлежу к числу тех, кто не замечает некоторых композиционных и стилистических грехов этого большого произведения. Но у «Цемент» есть великолепное достоинство, преодолевающее недостатки: романтика будничного строительства нашей эпохи. Опоэтизировать каждодневный труд, убедительно показать увлекательность идеи восстановить цементный завод, увлечь читателя картиной борьбы на трудовом фронте, — это значит преодолеть скучную косность мелких дел, найти в них великое общее, создать романтику буден.

В «Конармии» звучит музыка прошлого, романтика, питающаяся томительными мечтами о невозвратном, но еще громче звучит в ней музыка будущего: романтика борьбы и победы. Это — два берега, между которыми пролегает путь Бабея. Великая роль армии Буденного в литературной (и житейской) истории Бабея заключалась в том, что «Конармия» была мостом, по которому он перешел к нам с «того берега». Оттого так значительны и уместны его романтические новеллы в книге, имя которой «Конармия». Они не близки только при поверхностном знакомстве. На самом деле связь их с военными походами органична. «Гедали», «Рабби» и «Сын Рабби», такие чуждые остальному содержанию книги, на самом деле связаны с нею невидимыми, но прочными и кровными нитями. «Гедали» еще целиком на том берегу. «Рабби» — прикоснулся к революции. «Сын Рабби» — в революции целиком, всем соком нервов и кровью сердца.

V

Ни в одном из других произведений Бабея не звучит так внятно расставание с прошлым, как в рассказе «Гедали». В ритме каждой строки, в подборе слов, в конструкции фраз, в библейской напыщенности диалога звенит уходящая, уплывающая, исчезающая музыка прошлого.

«В субботние кануны — так начинается «Гедали» — меня томит густая печаль воспоминания. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха моя в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечей и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний!

«Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых равнодушных стен, старые евреи продают мел, синьку и фи-

тили,—евреи с бородами пророков, с страстными лохмотьями на впалой груди...

«Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа избитая. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет—робкая звезда...».

Лавка Гедали показана лаконично, но с той способностью говорить многое в немногих словах, которые превращают Бабеля в несравненного мастера. Это почти реальная лавчонка старого еврея,—но из-за бытовых мелочей она возникает, как символ уходящего еврейства. Старый Гедали изучал когда-то талмуд, любит комментарии Раше и книги Маймонида. Тень прошлого, живой обломок дремучей старины, в дымчатых очках и зеленом сюртуке до полу, в высоком цилиндре, как черная башенка,—он погребен в лавчонке, похожей на коробочку любознательного мальчика. Мальчик вырос и ушел, коробочка сохранилась, а в ней, позабытый, Гедали. Базар вымер, Гедали остался. «И он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов». Маленький еврей, изучавший талмуд и любящий книги Маймонида, ходит по своей коробочке, потирает белые ручки, щиплет сивую бороденку и беседует. О чем беседует Гедали? О III Интернационале и о великой пролетарской революции, которой он кричит «да», но революция прячется от него и «высылает вперед одну только стрельбу». Он тоже хочет революцию, но он хочет сладкую революцию, этот маленький Гедали, он хочет Интернационала добрых людей, и он хочет также итти молиться в синагогу, потому что как же старому еврею быть без синагоги? Гедали не хочет отказаться от синагоги, он хочет признать «сладкий» Интернационал и еще хочет он, чтобы ему не мешали наслаждаться его собственным граммофоном—так как Гедали любит музыку. Но революция, настоящая, живая, говорит ему:

«— Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я революция».

Его собеседник, тоже маленький еврей, также изучавший талмуд, любивший когда-то комментарии Раше и книги Маймонида, этот маленький еврей, вместе с Конармией исходивший вдоль и поперек испепеленные войной бескрайные пространства России,—подтвердил ему:

«— Она не может не стрелять, Гедали,—потому что она—революция».

И еще сказал он старику:

«— В закрывшиеся глаза не входит солнце,—но мы распорем закрывшиеся глаза».

А на вопрос: «Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают?».

«— Его кушают с порохом,—ответил он старику,—и приправляют лучшей кровью».

Два еврея, старый и молодой, пошли в разные стороны. Вот повесть об «отцах и детях», рассказанная на трех страницах! «Гедали, основатель несбыточного Интернационала, ушел в синагогу молиться».

Молодой пошел другой дорогой. Мы встречаем его в новелле «Рабби», где переплелись два враждебных мира. Здесь звучат еще древние слова, как тысячу лет назад. А «за окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном». Из тесной комнаты молодой ушел к себе на вокзал.

«Там на вокзале, в агитпоезде 1-й Конной армии, меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в топографии и недописанная статья в газету «Красный Кавалерист».

VI

Два мира—умирающий, древний, и новый, мир борьбы, с кровью и пороком,—они живут рядом в этой странной и очаровательной книге. Они отражают друг друга, изредка соприкасаясь, как бы переходя один в другой, застывая в этом противоестественном сплетении. Гедали—и смерть Долгушева, «Рабби»—и «Эскадронный Трунов»—они не похожи, как день не походит на ночь, как черное не похоже на белое. Тем не менее—в книге они показаны рядом, и нельзя было их показать порознь.

«... Помнишь ли ты эту ночь, Василий...—за окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Мотале Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкафа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завероченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торами безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына Рабби, последнего принца в династии... («Сын Рабби»).

Его подобрали на ходу, этого «последнего принца», «потерявшего штаны, переломленного надвое солдатской котомкой». Армии открыли фронт у Ковеля, лавина людей скреблась о подножки уходящего поезда. В них швырнули грудой листовок Троцкого—и только один протянул за листовкой грязную руку. Его подобрали, и он умер в поезде. Он был партийцем, этот «последний принц», сын черныбыльского цадика. Он любил мать и не мог раньше оставить ее для революции.

«— А теперь, Илья?

«— Мать в революции эпизод,—прошептал он, затихая.—Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт.

«— И вы попали в Ковель?

«— Я попал в Ковель,—закричал он с отчаянием.—Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня нехватило артиллерии»...

В сундучке, оставшемся после него, были свалены вместе—«мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древне-еврейских стихов».

Какое странное собрание—так удивительно напоминающее книгу, имя которой «Конармия», точно автором ее был Илья Брацлавский. Но Брацлавский умер, а Бабель, «едва вмещающий в древнем теле бури своего воображения», принял «последний вздох» своего брата.

Брат, или двойник, или «сочиненный» персонаж—нас это не интересует. Мы знаем только, что в «Конармии»—так же, как в сундучке Брацлавского, живут рядом «узловатое железо ленинского черепа» и «тусклый шелк портретов Маймонида». Но они жить в мире не могут. «Железо ленинского черепа» отрицает «шелк Маймонида». Маймонид не примирим с Лениным.

VII

Немногочисленные произведения Бабеля, опубликованные за последние годы, можно разделить на три цикла: 1) «Одесские рассказы», 2) романтические новеллы «Конармии» о прошлом и 3) конармейские рассказы в той же книге. «Одесские рассказы» представляются нам как бы исходной точкой творческого пути Бабеля. Здесь царит атмосфера самой разнузданной романтики. Автор пленен легендами о головокружительных похождениях рыцарей Молдаванки. Бенья Крик, представитель мира романтического, в окружении таких же, как он прекрасных, неустрашимых, живописных, как картинка, бандитов, посрамляет представителей мира мещанского. В этот период рассказы Бабеля далеки от реализма. В них господствует гипербола; язык их пряс и напыщен. Они по существу невероятны. В них имеется зерно действительности,—но события утрированы, деформированы. Только магия искусства, делающая и невозможное возможным, заставляет читателя не замечать «чарованья вымыслов».

Романтика «Одесских рассказов» своеобразна. Она родилась в еврейском предместье большого города, в быту, придавленном пятой тирании, в нищем быту мелких торговцев, ремесленников и бедноты, где так сладки мечты о смелости, об отваге, о широком жесте. Ведь только здесь, в гнезде скорби, унижения и нищеты, могла родиться «сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения». В этом смысле в Бене Крике есть что-то «бабелевское». Потому что какой же Бенья Крик—бандит: ведь это герой, рыцарь, мститель за поруганную честь, это почти миф, сладостная легенда—недаром само солнце встает над его головой, как часовой с ружьем! Теперь нет уже того местечкового еврейства, мечты которого опоэтизированы Бабелем. Но если бы оно было—с каким восторгом читались бы там эти «Одесские рассказы», дававшие выход мечтательной злобе и горькому презрению. Ведь в «Одесских рассказах», кроме Бени Крика, действуют его антиподы—«господин пристав», олицетворение страшной «железной пяты», и «Тартаковский»—такое же олицетворение «капитала». Деньги и власть, вот с какими страшными врагами ведет победоносную борьбу налетчик Бенья Крик. Власть жестокая, могучая, перед которой мелкой дрожью дрожал бед-

ный еврей,—власть, где же сила твоя? Ведь Бенья Крик на страницах этого своеобразного эпоса ведет постоянное наступление и побеждает! Бенья победил, «господин пристав» посрамлен!

Для современного читателя «господин пристав»—это пустяки, даже вместе с околоточным надзирателем! Но пусть спросит он об этом старого провинциального еврея. «Господин пристав»—всемогущ, как царь. А околоточный надзиратель—перед ним сам господь-бог склонил свою голову. В том-то ведь и заключен общественный смысл легенды о Бене Крике,—что Бенья смело идет против «господина пристава», бросает ему вызов, издевается над ним под незримые аплодисменты восхищенной Молдаванки. Ведь это она, обиженная и притаившаяся, устами Бабеля прокричала о себе миру, о тоске своего местечкового бытия, о сладости влобы, которая может быть только мечтательной. Если этого не понять—ничего нельзя понять в «Одесских рассказах», в героическом облике доброго вора, неустрашимого рыцаря, защитника бедных, жестокого гонителя богатых.

Как великолепен Бенья Крик, когда, на горячей улице, бесстрашно отдает приставу честь по-военному и говорит сочувственно:

«—Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, что вы скажете на это несчастье! Это же кошмар...».

Что из того, что это мечты! Мечтами этими преодолевался мир, где еврейский мальчик с бьющимся сердцем обходил за версту господина пристава, который так велик, что может устроить погром—и ему за это ничего не будет.

Мир был «мал и ужасен» и походил на «длинный детский сон отчаяния». Об этом нам рассказал Бабель в «Истории моей голу-бятни». Здесь рождалась потребность в романтическом преодолении его. В данном случае это вполне соответствовало мещанскому естеству местечкового еврейства. *Романтическое* преодоление «ужасного» мира—путь слабых. Пролетариат не искал и не мог искать забвения в «чарованьи красных вымыслов». И «злоба» пролетариата не могла быть «мечтательной». Он стремился преодолеть «ужасный мир» не силой мечты, а разрушением его, в порядке не романтическом, а реальном. Здесь лежит основная черта пролетарской романтики. Но у мещанства нет сил, нет и веры в победу. Его терзают страх и испуг—оттого-то бросается он в мир мечты, чтобы из «длинного сна отчаяния» впасть в «длинный сон» радости. Печать этой мещанской, сентиментальной романтики и лежит на «Одесских рассказах». Ее корни—в протестующей мечтательности еврейского мальчика, которого когтями взяла за сердце жизнь, сурово и без жалости. Она обернулась к нему таким страшным ликом, что даже сейчас, когда «детский сон отчаяния» кажется далеким сном—даже сейчас он не может освободиться от ее гнетущих черт. В Бабеле есть кое-что от Достоевского, от его мучительства, от сладостей самоистязания, от безжалостного экспериментаторства над душой человека. Подобно Достоевскому, такой на него непохожий, Бабель задумывается над оправданием мирового зла. Пародией именно на Достоевского мне пред-

ставляется замечательный рассказ «Иисусов грех». Достоевский искал оправдания зла в боге. Вот как отвечает на это Бабель в диалоге Арины, истоптанной и замордованной господом богом («Иисусов грех»).

«— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойдить?—возомнил тут спаситель.

«— Околоточный, небось, потащит,—отвечает Арина.

«— Околоточный,—поник головою господь,—я об ем не подумал. Слышь, а ежели тебе в чистоте пожить?

«— Четыре-то года,—ответила баба,—тебя послушать—всем людям разживотиться надо. У тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи».

У господина наворачиваются на щеки румянец; посрамленный, он смолкает. Иначе ведь и быть не могло: Арина, которой «ни свету ни выходу», обратилась не по адресу.

«Перед тем, как родить, потому что время три месяца уже отчеканило, выпшла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

«— Вишь, господи, вот дузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое—не пойму. И понять этого, господи, не желаю...

«Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

«— Прости меня, Аринушка, бога грешного, что я это с тобой исделал...

«— Нету тебе моего прощенья, Иисус Христос,—отвечает ему Арина,—нету».

VIII

Но если не в боге оправдание зла, и не в романтическом преодолении его, то где же подлинные пути для разрешения этого вопроса вопросов?

«Конармия» оказалась тем чистилищем, где вопрос получил уже не романтическое разрешение. Тут-то и появляется Бабель, которого мы знаем. В зареве гражданской войны, где эскадронный Трунов расстреливает пленного, где Долгушев приподымает рубаху и делается видным биение его сердца в развороченной груди; где папаша «режет» сына, а другой сын «кончает папашу»; где надо быть бесчеловечным, чтобы разбудить человечность; где жалость—убивает; где валяются трупы и льется кровь; где нет слез, потому что они выплаканы; где героизм сопутствует жестокости, а над слезами и кровью вьется великое знамя борьбы за человека и человечность,—именно здесь, среди противоречий, в крови и дыму, умирает мечтательный романтик и рождается попутчик пролетарской революции. Книга о «Конармии» и есть повесть о том, как великая и суровая эпоха переплывала мещанскую романтику в романтику революции.

«Конармия» показывает извилистый и трудный путь, каким ее главное действующее лицо пришло к Ленину от Маймонида.

Назовите мне еще одного буржуазного интеллигента, который, по доброй воле, потому что «хочется», прошел сквозь гражданскую войну так, как это сделал Бабель. Мелко-буржуазная интеллигенция отшатнулась от пролетарской революции, клеймя ее за кровь и жестокость. Бабель отбросил интеллигентское чистоплюйство. Правда, ему это сделать было легче, чем другим: мир, который разрушала революция, был его врагом. Революция—вот где разгорался огонь молчаливого и упоительного мщения. Бабель не мог отказаться от сладости уже не в мечтах, а на деле разрушать его. Остаться «вне схватки»—Бабель не захотел, или не смог. Он оказался среди буденновцев.

«Конармия» была для Бабеля той мифической рекой, из которой он вышел возрожденным. Романтизм, становившийся назойливым, однообразная бедность материала, пряность языка, преувеличения, начинавшие приедаться,—все это исчезло. Новая тематика, новые впечатления, новая точка зрения на мир придали некоторую суровость языку, оставив цветистость сравнений. Романтизм, как господствующее настроение, отошел в сторону, уступив место реализму, острому, крепкому, четкому. От былой романтики остался лишь пафос, приподнятость тона, эффектные сравнения, гиперболизм эпитетов, изысканность языка да лирические отступления. Все это пришлось очень «кстати» в новых его вещах. Все это и придает особую прелесть «Конармии», которая ведь «этап» в творческом пути нашего автора. Она еще лишена цельности. Она двойственна: в ней борются романтик и реалист. Бабель, друг Гедали, и Бабель, соратник Афоньки Биды; философствующий о хасидизме интеллигент и сотрудник газеты «Красный Кавалерист»; Бабель, хранящий памяти еврейского поэта, и Бабель с мандатом агитатора; Бабель, любующийся портретом Маймонида, и Бабель—повесивший у себя портрет Ленина; Бабель, повторяющий строфы «Песни Песней» и Бабель, вкладывающий патроны в обоймы своего нагана. Здесь два Бабеля,—оттого в книге два стиля, два мира, две эпохи. Один мир утверждает: все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. Другой говорит: «мать в революции—эпизод», т.-е. другими словами: революция—выше матери, больше чем мать, революция—и есть настоящая мать.

В прославлении революции—над бренностью всего остального,—пафос «Конармии». Несмотря на то, что Бабель, как соглядатай, подсмотрел в ней самое жестокое, кровавое и беспощадное, он не походит на библейского Хама, посмеявшегося над наготой отца своего. Даже дегенерат Кикин и угрюмый кретин Курдюков, даже Прищепа с кровавой печатью его подошв и много других, свирепых и жестоких,—даже они—не хула на революцию. Не потому ли Бабель стучал краски, чтобы самому себе оправдать ее? Не потому ли он делает ее такой горькой, чтобы испытать силу своей решимости итти до конца? Бабель когда-то вместе с Гедали думал, что революция—это же удовольствие!.. «Хорошие дела делает хороший человек»,—размышлял Гедали.—«Революция—это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит—революцию делают злые люди». Бабель в свое время не мог

не согласиться с Гедали. Он пошел в революцию и смотрел, как ее «кушают с порохом». Он увидел, что революцию делают хорошие люди, что ее делают также и злые люди, но все-таки революция—хорошее дело, революция—все-таки «это же удовольствие», и ошибка Гедали заключалась в том, что он хотел революции «сладкой», когда она для него не могла не быть горькой. Но оттого, что горькая, она не делается плохой. Не походит ли Гедали на бородатого ребенка, вздумавшего лечить человечество леденцами? Кто же виноват, если он искал мармелада в хирургии?

Не следует думать, что путь Бабеля быть прямым, как полет вороны. Он был зигзагообразен и не прям, он был кривым и запутанным—таков вообще путь человека, который плутал; даже найдя дорогу, он не всегда верит, что она именно та самая.

Если Бабель создал «Конармию», то, с другой стороны, именно «Конармия» создала нынешнего Бабеля. «Одесские рассказы» неизмеримо слабее конармейских новелл. Легенды о Бене Крике родились в крошечном мирке, в той самой «коробочке», где, задыхаясь, умирает Гедали. Бабель разделил бы его судьбу: его задушили бы «шелковые ремни дымчатых глаз». Художник зачах бы без того света, ветра и солнца, которые глотал он в годы гражданской войны. В эти годы Бабель нашел настоящую тематику для своего дарования, а без тематики «Конармии», без опыта, вынесенного из скитаний с казаками, среди стихов, филактерий и портянок, на развалинах сел и городов, в окружении тифозных и умирающих, расстрелянных и изнасилованных, растоптанных и повешенных—без такой тематики не было бы Бабеля. «Конармия» дала ему материал, поистине драгоценный: это были слезы и кровь. Но, как всякая драгоценность, он—давался дорогой ценой.

IX

В новелле «Замостье», в дождливую ночь, когда «над землей летели ветер и тьма», и «звезды были задушены раздувшимися чернилами туч»—в тишине слышно было «отдаленное дуновение стога».

«— Бьют кого-то,—сказал я,—кого это бьют?»

«— Поляк тревожится,—ответил мне мужик,—поляк жидов режет...»

«Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем на бок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

«— Длинные эти ночи в цепу. Конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то».

Ищет «человека» и автор «Конармии». Оттого так пристален его интерес к отдельной личности. В книге, названной собирательным именем, нет массы. Автор рассматривает людей порознь, поодиночке. Не случайно наиболее замечательные вещи озаглавлены: «Афонька Бида», «Начальник конзапаса», «Смерть Долгушева», «Комбриг 2», «Сашка Христос», «Конкин», «Прищеп», «Эскадронный Трунов», «Рабби», «Ге-

дали», «Сын Рабби», «Вдова» и т. д. Повествование связано у Бабеля с отдельным человеком, которого он поворачивает во все стороны, рассматривает, изучает. Бабель жадно любопытен к человеку и человеческой судьбе, обязательно страшной и жестокой судьбе человека. Перебросьте страницы, просмотрите рассказы со стороны их тематики, подсчитайте убийства и насилия—можно притти в ужас: так их непропорционально много в этой небольшой книжке. И просто непонятно, почему тов. Г. Горбачеву, автору очень интересной и ценной статьи о Бабеле, кажется, будто новеллы Бабеля *«обычно возбуждают смех»*. Бабель— юмористический писатель!—вот заключение, поразительное по своей случайности. Жестокость чаще всего привлекает внимание Бабеля. Какая уж тут юмористика, если запах «сырой крови»—самый обычный запах на страницах «Конармии». В обилии ужасов, нагроможденных в книжке, сказался боевой дух гражданской войны. Здесь просвечивает подлинная беспощадность революции, не знающая ни отца, ни мать, все приносящая в жертву борьбе.

У Бабеля беспощадность подчеркнута, потому что революция предстала ему в виде мстительной, испепеляющей стихии. Он увидел ее с *«одного боку»*. Подобно Гедали, мечтал он о сладкой революции. Но когда дотронулся до ее роз—они кололи в кровь. Он мог вновь уйти к тусклым шелкам Маймонида, но не захотел—оттого-то путь его тернист и кровав, но какая цена попутчику революции, который без боли срывает ее розы? О, если бы революция в самом деле была подобна кондитерскому пирогу—весь мир мгновенно сделался бы ее попутчиком—и как славили бы ее буржуазные певцы и художники! Но революция сладка только тем, кто, теряя в ней цепи, приобретал все. Она сладка пролетариату и горька буржуазии. Но ведь Бабель пришел не из гущи рабочего класса, а из «гущи» мелко-буржуазного, провинциального еврейства—и как много должен был он стянуть с себя, чтобы перейти на наш берег. Естественно, что прежде, чем почувствовать сладость революции, он вкусил ее горечь—недаром он учил, что революцию кушают с порохом. Бабель шел в революцию с открытыми глазами, заранее дав себе слово ничему не ужасаться, выпить чашу до дна, и что ж тут удивительного, если новеллы его на вкус горьки?

Но вот что достойно внимания: рисуя мучителей, Бабель знает, что они каждую минуту превращаются в мучеников. Жестокость идет рука об руку с состраданием. Существа, лишённые человеческого образа, сменяются образами подлинной человечности. Героизм и сострадание так же просты и обыденны, как холодная жестокость. Они идут рядом— жестокость и героизм.

Х

Тематике Бабеля, исключительной по силе, соответствуют качества его, как рассказчика. По искусству лаконически развернуть сюжет Бабель не имеет равного в современной литературе. В его новеллах нет ничего лишнего: из них нельзя выбросить ни полслова. Сердцевину

новеллы всегда составляет какое-нибудь яркое событие, из ряда вон выходящее происшествие, необычайный поступок, драматическое положение. Момент высшего напряжения приберегается к концу и обнаруживается неожиданно и эффектно. Бабель руководится желанием дать материал так, чтобы он воспринимался свежо и неожиданно—отсюда разнообразие его композиционных схем. Заострить восприятие читателя, вонзиться в его сознание, схватить читателя «за тело, за глотку, за волосы», т.-е. подойти вплотную,—этого достигает Бабель с помощью приема, который является, пожалуй, самым для него характерным—приемом контраста.

Виктор Шкловский заметил как-то, что смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит о звездах и триппере. Это не так или не совсем так. Бабель «ужасается», когда говорит о пустяках, и «смеется», когда говорит об ужасах. Он спокоен, когда надо волноваться, и говорит ледяным голосом, когда волос становится дыбом. Так спокоен он в «Переходе через Збруч», и ведь эффект этого замороженного повествования обрушивается неожиданно на читателя в последних строках, когда еврейка снимает одеяло с «заснувшего» ее папаша. «Мертвый старик лежал там, закинувшись навзничь, глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца». И только в словах еврейки, говорящей о том, как «поляки резали его, а он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру»—только в ее словах подчеркивает автор «ужасную» силу. Окаменелое спокойствие перед лицом ужаса составляет существо бабелевского приема. Оттого так потрясают своей «простотой» наиболее страшные сцены «Конармии».

«— И папаша начали Федю резать, говоря, шкура, красная собака, сукин сын, и равно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился.

«— А теперь, папаша, мы будем вас кончать»—говорит Сенька отцу.

Этим приемом построено все письмо Курдюкова. Не в одной лишь языковой изощренности причина его силы. Тот же прием мы найдем в большинстве бабелевских новелл. Искусное пользование им позволяет Бабелю приблизить к читателю предмет изображения, сделать его осязательным—дать почувствовать наощупь, до последнего волоска, до иллюзии. Все это можно охарактеризовать, как стремление к предельной выразительности. Если можно говорить о русском экспрессионизме,—то Бабель наиболее яркий его представитель. Если попытаться самым общим словом охарактеризовать особенность его произведений—этим словом будет экспрессивность, предельная заостренность, максимальная яркость. Образы Бабеля осязаемы до иллюзорности. Нельзя забыть труп Трунов и «рот его, набитый разломанными зубами». Столь же незабываем облик казачки, магически оживленный полнокровной, плотской образностью: «Она пошла к начдиву, неся грудь на высоких банмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке». Телесность вообще характерна для бабелевской образности. «Земля лежала

как кошачья спина, поросшая мехом хлебов». Кто не знает призрачность снов, их выбку эфемерность? Но приходит Бабель и рассказывает нам, как сидел он и дремал, а «сны прыгали вокруг, как котята». Не странно ли—он сделался пушистым, мягким и теплым. Это сравнение неожиданно,—но в этой неожиданности его сила. Таковы почти все образы Бабеля. Они биологичны, физиологичны, животны. От этой животности, от биологии и эротика Бабеля—какая-то первозданная, человеко-звериная.

Человеческая мысль, как правило, предпочитает двигаться по проторенным путям, по гладко укатанной дороге. Закон экономии сил и средств заставляет людей идти по путям наименьшего сопротивления. Но если бы этот закон сделался господствующим в искусстве—развитие искусства остановилось бы. Бабель, как большой художник, предпочитает ходить трудными путями—напрямки, игнорируя истоптанные тропы. Отсюда смелость его сравнений и неожиданность образов.

Сравнения, восхитительные по своей дерзкой необычности, рассыпаны по его страницам. Только Бабель дает понять, как может «отвратительно» *сиять* чудовищная, розовая опухоль. Он оживляет образ, открывая в нем новые и неожиданные черты. «Тело Сашки, *цветущее и сонное*, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные, стройные ноги»... Биологичность, рубенсовская насыщенность, противоречивые (по контрасту) эпитеты—создают осязательность ощущения, оправдывая рискованную парадоксальность образа. В сознание наше в'елось представление об эстетическом безобразии погромщика. Но приходит Бабель, который лучше, чем кто другой, знает, что такое погром, и мы с изумлением видим, «как по переулку пробежала женщина с распалившимся *прекрасным* лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым, отчаянным голосом созывала она потерявшихся детей. Шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившегося за ней на кресле». Эта женщина—погромщица. И другого погромщика встречаем мы у Бабеля. «Он разбивал ее (раму) деревянным молотом, замахивался всем телом, и, вздыхая, улыбался на все стороны *доброй* улыбкой ощущения, пота и *душевной силы*. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева».

Здесь «контрастность» наименее убедительна, может быть, потому, что дерзость мастера дошла до предела. Но бесстрашие, привычку ходить по непроторенным путям следует рекомендовать всякому художнику. Если «смелость»—закон революции, в такой же мере этот закон присущ искусству. Там, где нет отважной готовности прорвать фронт привычных представлений, где нет попыток вырваться из плена канонических заштампованных форм,—там нет движения искусства. Оно живет, когда идет вперед; где нет шага вперед—есть шаг назад. Опасность не только в перепадах предшественников и сверстников; опасны перепады самого себя. У Бабеля остро чувство и этой опасности: оттого он пристрастен к неповторимому. Это можно заметить в разнообразии компо-

зиционных приемов и в разнообразии образной трактовки какого-нибудь явления. Я приведу один пример этого постоянного нахождения новых и новых сравнений, с помощью которого луна, многократно захватанная и оттого потускневшая, приобретает свежий блеск на его страницах.

«Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка». «И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, наверху, как дерзкая заноза». «Над прудом вошла луна, зеленая, как ящерица». «Луна висела уже над двором, как дешевая серьга». «По городу слонялась бездомная луна». «Все убито тишиной, только луна, обхватив синими руками свою круглую, блестящую, беспечную голову, бродяжит под окном». «Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок».

Достоинны внимания не только многообразие и свежесть восприятий. Неразрывна связь конкретного образа с конкретным повествованием. Луна может висеть, как «дешевая серьга», только в рассказе «Мой первый гусь»—и ни в каком другом. Мглистая луна может «шляться по небу, как побирушка», именно в рассказе «Вдова». Здесь образы «луны» связаны с характером, стилем повествования. Луна, «зеленая, как ящерица»—в рассказе «Берестечко»—органически связана с романтическим пейзажем, в центре которого—древний замок графов Радиборских, а вокруг замка «луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек». Появление здесь луны, в образе «побирушки», или «дешевой серьги», или «прыгающего теленка»—немыслимо. Тут вскрывается глубочайшая, органическая связь каждого отдельного образа Бабеля с стилем повествования, с особенностями пейзажа. На этой детали, лишь мимоходом отмечаемой нами, можно видеть, как тщательно проработаны новеллы Бабеля, на первый взгляд простые и незамысловатые. Но это—та самая простота, которая дается талантам после большого труда. Ее по справедливости называют великой.

Насколько значительно его мастерство, можно заключить по тому, как выполнена в «Конармии» самая трудная задача: дать представление о боях. В «Конармии» боев нет, т.-е. они не происходят перед глазами читателя. Тем не менее—напряженное ощущение происходящей битвы живет непрерывно. Но это—иллюзия, достигнутая весьма тонкими средствами. Вот как рисует Бабель штыковую атаку. «Ура смолкло. Каноада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки».

«Великое безмолвие рубки»,—а ведь оно звучней каноады.

Припомните, как воссоздаются сражения нашими баталистами. Сколько шуму! Сколько крови! Назойливо та-та-такают пулеметы, трещат (трещат!) ружейные выстрелы. Читатель, обычно, перебрасывает эти трескучие страницы. У Бабеля есть одна строка, от которой вздрагиваешь: «У Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел». Ведь до чего это просто, а как выразительно! Не оттого ли вздрагиваешь, что это выстрел, в самом деле прозвучавший на страницах, но с помощью художественных средств.

XI

Мои заметки не должны быть поняты, как дифирамб писателю. Не менее, чем кто-нибудь другой, я знаю недостаточную «критичность» нашей критики. Она нередко бранит несправедливо. Еще менее справедливо хвалит, частенько перехваливая и захваливая. Литература наша страдает не столько от критической придирчивости, сколько от некритического добродушия. А ведь критика добродушная, хвалебная, дружеская (о недобросовестной я не говорю)—более вредна, чем полезна. Критика злая, недружелюбная, скорее полезна, чем вредна. Есть доля правды в безоглядной решимости Писарева бить направо и налево: не в самом ли деле,—что выдержит,—то хорошо, что разлетится в прах—туда ему и дорога! Ведь если кое-что «разлетится»—не будет ли это освобождением литературы от суррогатов, от псевдо-литературы, от калек и убогих, которые, как безногий без костылей, не могут жить без дружеских похвал? Но неужели настоящая литература нуждается в протезах?

Потому-то я лично предпочитаю критику нелицеприятную и жестокую. Правда, от нее проиграет иной литератор, зато выиграет литература. Но кто сказал, что критика служит не литературе, а литераторам?

Если, говоря о Бабеле, я много места уделил характеристике его положительных качеств, то потому, что это то, что есть. Дарованием Бабель обладает редким. Мастерство его выдающееся. Не признать этого—никак невозможно. Но такое признание не означает, что Бабель, как художник, непогрешим.

Блеск его произведений мешает, разумеется, заметить их недостатки. Бабель ослепляет и увлекает, а между тем он нередко балансирует на краю пропасти: вот-вот сорвется. От великого до смешного—один шаг. Нередко при чтении его новелл испытываешь боязнь за автора. Его романтический пафос, изысканная книжность, древняя культура, «бури его воображения»—все это иногда перехлестывает через край. Отсюда грозящие ему опасности: холодная патетика, изысканная красота, картинная олеографичность. Эти опасности есть, и о них не следует забывать.

Когда ночь окутывает Левку как «нимбом»—не слишком ли это эстетно? «И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино из беседы»,—ведь это стиль незабвенного Аркадия Кирсанова, напыщенный стиль человека, любящего подглядывать в зеркало. «Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана»—все эти «изыски» не могут скрыть натянутости сравнений. Бывает, эстетическая ужимка понравится Бабелю,—тогда мы с удивлением читаем, как он не просто пил чай и кушал печенье у пани Элизы, но «наслаждался пищей иезуитов». Когда на Бабеля нападает такой стих—его удивительный язык делается витиеватым и манерным. «Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия». В стре-

млении насытить образ до осязательности. Бабель иногда перегружает его, и образ никнет, как перезрелый плод. В такие неудачные минуты батько Махно пропускает «сквозь гнилые зубы длинную змею мужицкой своей усмешки». «Змея усмешки»—это не плохо. Но, когда змея делается длинной и пропускается *сквозь гнилые зубы*,—она умирает.

Вот такие именно срывы и манерность я имел в виду, когда говорил о пропасти. Только балансируя на краю, можно уверять, будто «в обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров».

В композиции новелл Бабеля, в уплотненной конструкции фразы, в стремительном развертывании сюжета, в расчетливом пользовании контрастами чувствуется необычайная воля художника. Это архитектура, точнейшее из искусств. Это не мешает, однако, лиризму, стихии, всегда стремящейся выйти из берегов,—разрывать иногда железо его воли.

«О, Гельсингфорс,—любовь моего сердца! О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица».

«О, Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом».

«О, распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жидетов...».

Здесь лирика беспокоит, как красивая, но назойливая муха.

Можно найти недочеты и в композиционных приемах Бабеля. Стремление к необычному эпизоду не раз вызывало упреки, что Бабелю грозит анекдот. Доля правды в этих упреках есть: неловкое движение, какой-нибудь перегиб, и значительная вещь может превратиться в рассказ для эстрады. Просто непонятно, как «эстрадники» не заметили «Измены»: ведь лучшей юмористики не разыскать. «Измена»—граничит с анекдотом, переходит в анекдот; здесь нарушены пропорции, не уравновешены свет и тени. В результате «забавная штучка». А какой же забавник Бабель!

XII

К счастью, недостатки у Бабеля мелки, достоинства—велики.

Он, кроме того, молод, как писатель, хотя первые его вещи напечатаны в «Летописи» в 1915 году. «По-настоящему» он стал писать лишь после гражданской войны. Значительная часть новелл, составивших «Конармию», написана в 1920 г., а напечатана совсем недавно. Это значит, что Бабель не спешит публиковать свои работы. Из всей плеяды современных писателей—он наиболее ревнивый, заботливый, скупой мастер. Есть в нем что-то от старых гранильщиков драгоценных камней или оптических стекол. Дальний потомок Боруха Спинозы—он не случайно вспоминает однажды «мощный лоб» философа.

Медлителен Бабель не только потому, что—гранительщик алмазов—он не хочет спешить: труд его кропотлив и нескор. Но алмазы-то, кроме того, не валяются на улице. Бабель долго шлифует материал, еще дольше

его ищет. Пресный материал ему чужд. «Конармия» была для него Калифорнией. В годы гражданской войны он пригоршнями на каждом шагу черпал самую острую тематику. Но войны больше нет, подсохли слезы и кровь, и редок нынче случай, когда можно полюбопытствовать, «как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз». А когда под рукой у Бабеля нет «драгоценного» материала—даже его изысканное мастерство не придаст блеска простому стеклу. Оттого так слаба новелла «Ты проморгал, капитан». Столь же бесцветен «Конец св. Ипатия». Поставив рядом с этими стеклянными безделушками такие вещи, как «У батьки нашего Махно» или «Шевелева»—или любую вещь из «конармейской» цепи новелл—можно увидеть, какое огромное значение имеет для Бабеля материал, из которого сделаны его произведения.

Про Гюстава Курбэ рассказывают, будто он не искал эффектных пейзажей: писал то, что перед глазами. Бабель противоположен Курбэ: он не довольствуется тем, что под рукой, ему нужен материал не простой, а особенный, небывалый, исключительный. Чем драгоценней *сам по себе* материал, тем прекрасней будет произведение. Не потому ли после гражданской войны Бабель написал так мало. А то, что он написал—«История моей голубятни» и «Первая любовь»—автобиографично. Но и в этом материале, почерпнутом из детских лет, мы находим те же слезы и кровь, послужившие и «Конармии». О кино-сценарии из «Одесских рассказов» говорить не хочу. Это сосуд, из которого вылито вино.

Трудно сказать, какой зигзаг сделает Бабель завтра. Он ведь еще весь в будущем. Но мне думается, что путь Бабеля лежит не в возврате к материалу, оставленному позади. «Одесские рассказы», так же, как и «тусклые шелка Маймонида», и старые очарования библии вместе с библейской изысканностью речи в творчестве Бабеля—пройденный этап. Все это музыка прошлого, к которой возвращаться нет необходимости.

* * *

В советской литературе Бабель по праву занял выдающееся положение. Самое существование «Конармии» является одним из факторов, определяющих развитие литературного искусства. Манера Бабеля, виртуозное владение языком, его художественные приемы, лаконизм, стремительный темп его вещей—отразили не только степень индивидуального умения и таланта. В быстроте его повествования, в насыщенности изложения, в необыкновенной уплотненности художественной ткани отразился темп нашей индустриальной эпохи, с телефоном, радио, кино, авиацией. Бабель—дитя городской культуры—и его произведения по методам воплощения являются лучшими образцами литературы современного индустриального города. Бабель установил рекорд литературного мастерства, рядом с которым немислимо существование «кислого теста» повестей, неторопливых, как арба, и пузатых, как старый комод. В этом смысле автор «Конармии» подслушал пульс своего времени, и здесь у него есть чему поучиться.

Дома и за границей

1. Л. САБАНЕЕВ. Музыкальный закат Европы.—2. НИК. СМИРНОВ. Заметки о крестьянских писателях.—3. С. ГРЮНБЕРГ. Экспрессионизм и после экспрессионизма.—4. П. МАРКОВ. Театральная жизнь Москвы.—5. П. КОЗЛОВ. Мертвый город Хара-Хото.—6. А. БИБИК. С крыльца сельсовета.

1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАКАТ ЕВРОПЫ

(Письмо из Франции)

Л. Сабанеев

Европейский музыкальный мир погружен в сумерки. Пусть внешним образом это — блестящие сумерки, полные наружного блеска и иногда даже несравнимой с нашим русским музыкальным миром пышности—разве и в сумерках не бывает огней? Здесь дело не во внешнем выражении, а в вырождении основной субстанции музыкального искусства,—той, которая обуславливает его самое существование. Черты этого вырождения, заметные и из нашего русского «издалека», получают особенное, уже трагическое значение, когда смотришь на все явления музыкальной жизни Европы вблизи.

Я далеко не склонен проводить демаркационную черту между Россией и Европой в этом отношении. Географическая граница тут, повидимому, играет второстепенную роль. И в русской музыке можно найти уже симптомы «сумеречности», и в русском музыкальное сознание проникают и уже проникли частицы того микроба, который разлагает сущность музыкального искусства в Европе. В той музыке России, которая есть «Европа», можно найти достаточно сумеречных черт, хотя они и не ясно выражены. Русская музыка постольку еще не подпадает под действие этого процесса, повидимому, всеобщего, «мирового»—поскольку она была предохранена от него изоляционным воздействием годов войны и революции. И несомненно, что теперь,

когда этот изолятор перестал существовать, в той или иной степени процесс разложения коснется и музыки нашей родины, если только не будут найдены *новые* факторы, которые его парализуют.

Сложные социологические причины, очевидно, порождают это своеобразное явление, которое можно назвать «демузыкализацией» общего сознания. Бывают в истории эры «музыкальные», эры менее музыкальные и вовсе не музыкальные. Одной из кульминаций музыкальности была эра христианской культуры, ныне благополучно завершаемая. В эту эру музыкальное сознание проникало глубочайшим образом в массы, обратно оплодотворяя возвратным действием ту надстройку искусства, которой являлась т. н. «культурная музыка». Есть данные предполагать, что предыдущие культуры вовсе не были столь «музыкальны». Не входим ли мы ныне в полосу «отлива музыкальности» в мировом масштабе? Не есть ли тот комплекс явлений, о котором сейчас будет речь,—только проявление этого огромного процесса «изменения культурных станций», благодаря которому не только стили и направления, но и целые искусства способны временно умирать и вновь возрождаться, испытывать периоды оскудения и периоды расцвета?..

Музыка всегда была искусством одно- временно и высоко «аристократическим» искусством «для немногих» и,

одновременно наиболее демократическим искусством для всех. То таинственное свойство наций и народов, которое именуется их «музыкальностью», конечно, не есть *только* физиологическая склонность тех или иных «антропологических единиц» к развитию своего слуха, Условия жизни, социологический строй играют очень значительную роль в преуспевании этой самой «музыкальности». Но мы всегда можем судить о степени ее эмпирически по тому, «что народ поет». Было время и на Руси, когда «народ пел»,—и мы все знаем, что его пение изменилось, мы все знаем, что запел он по-иному, и не недавно, а с тех пор, когда жизнь созидала иные ритмы ощущений, *менее* музыкальные, если под основной стихией музыкальности разумею чистую лиричность. Под влиянием растущей фабрично-заводской промышленности, под непосредственным и прямым воздействием «капитализма» музыкальная душа русского народа, прежде высоко музыкального, стала заметно оскудевать.

Европа в своей главной массе, вообще, уже поет не много, скорее мало. Более певучими остались нации итальянская и германская, совсем не поют в сущности французы и англичане. Народная музыкальная стихия тут как бы замолкла. Можно говорить, конечно, и о прирожденной немзыкальности кельтических наций, и тут некоторая доля истины, быть может, и будет. Но беда в том, что «музыкальный слух» вовсе не конгруентен с просто слухом, и музыкальность на поверку оказывается не столько «слухом» и степенью его развития, сколько жизнеощущением, сколько каким-то строем психики, который только «может» (но не обязательно должен) высказываться в звучащей форме.

Этого психического строя в мире становится все меньше и меньше. Это—явление для музыки более убийственное, чем если бы изменилась «физиология» ушей человеческих «в мировом масштабе», ибо оно подтачивает самый «корень музыки», ту стихию, из которой вообще рождается то «лирическое безумие», та художественная одержи-

мость, которая находит себе дорогу в музыкальном искусстве, в песне, в музыкальных формах поэзии. Происходит некий могучий и непреложный процесс, необоримый и неизбежный, как вековые поднятия континентов, происходит «высыхание истоков музыкального жизнеощущения».

Доказательством этому—весь европейский музыкальный мир сегодня—него дня. Я далек от того, чтобы говорить, что сейчас нет хороших музыкантов, что сейчас все—бездари, что люди лишились слуха и т. п. Ничего подобного: музыкантов не только не нет, но их преизобилие, слух у всех такой, что сам Моцарт многим бы позавидовал в изощренности, масса очень одаренных и, быть может, именно *внешне* гениальных даже людей. Но—источники музыки все-таки сохнут и это сказывается, прежде всего, в изменении основных отношений к самому искусству звуков.

Европейский музыкальный мир—т.-е. та «настройка», которая образуется над музыкальным массовым фундаментом—в значительно большей степени подвергся процессу «капитализации»: чем у нас. Музыкант—свободный или относительно независимый «кустарь»—исчезает: его художественный труд скупается теперь капиталистом. Все музыканты являются в Европе пленниками своих «мессажеров» или антрепренеров. Теперь музыкант—это или парий, нанятый для выполнения работы, имеющей все видимые признаки «тяжелого физического труда»,—обычно нанятый а тяжелых условиях, и во всяком случае не получающий от выполнения сей работы никаких признаков художественного удовлетворения. Или же музыкант—это делец, нечто в роде типа директора торговой фирмы, который проводит жизнь, раз'езжая: с парохода на автомобиль, с автомобиля на аэропдн, с аэроплана на поезд. Жизнь—в вечном «передвижении», но не в стремлении. Если только не наименовать стремлением—жадность к извлечению долларов. Художественные переживания, тот «спецификум» искусства, ради которого вообще и стоит заводить это самое искусство,—

выветрены: музыкант—это работник в определенной сфере, более или менее счастливый и удачливый, но всегда «деловой человек», и психология у него деловая, коммерческая. Он окружен секретарями и имеет часто штат агентов. Его жизнь проходит в деловой переписке об ангажементах и в передвижениях по земной поверхности, в вечном и привычном парадировании перед публикой во фраке и в педантичной и тонкой дипломатической игре с «конкурентами», которых надобно изводить и морить. Деятельность эта, как и всякая коммерческая, требует хладнокровия, выдержки и «капитала». Без капитала—ни шагу ступить. Капитал надо затратить, чтобы получить «прессу», чтобы иметь успех, чтобы выдвинуться на полголовы выше соседа, такого же музыканта. Американская пресса, как и европейская, отличается удивительным эпическим спокойствием в усвоении «капиталистических» воззрений на природу искусства. Все отзывы расценены и все выражения апробации таксированы. Но без прессы не двинешься: слушатель европейский не похож на русского. Русский слушатель любит сам себе составлять мнение о музыканте, о игре его, о сочинении. Европейец слишком занят разными делами, чтобы самому вращать мозгами по такому незначительному, в сущности, поводу. Он предпочитает, чтобы ему все это изложили люди, которые к этому на то и приставлены—критики. И чужое «критическое» мнение он охотно потом возьмет за свое, но никогда не даст себе труда сам его составлять. Отсюда—огромное значение прессы и ее отзывов в европейском музыкальном мире, значение, совершенно несравнимое с тем, которое музыкальная критика имеет у нас. У нас это значение—«идеологическое», а тут оно—реально практическое, коммерческое. Артист расхваливает себя в тех же выражениях, как и парфюмер—свои мыла и духи,—неприкрытое желание «набить аудиторию» сказывается в этих, столь принятых в Европе, книжечках-рекламах, содержащих сборники хвалебных рецензий, многие из которых могут показаться сокру-

шительными, если бы не было слишком хорошо известно, какими средствами все это достигается, и как, в сущности, «недорого» все это стоит, все эти «гениальные» и иные спюлерлативные эпитеты.

Но—в массе, конечно, все это производит впечатление и создает *и.и.и.* Этого только и надо.

Не надо думать, однако, что чисто «коммерческая сторона» этого оригинального предпринимательского мира находится в блестящем состоянии. Нет, только немногие счастливые доходят в этом деле до той кульминации, после которой затраченные капиталы начинают приносить хорошие проценты. Обычно—приходится довольствоваться разменной монетой «славы», но не доллара. Не будем скрывать от других, как сильно и умышленно преувеличиваются оклады и гонорары артистов—только хитрые и молчаливые «менажеры» хорошо знают, сколько на самом деле платят они артистам, и какова истинная доходность их предприятий.

Вот тут-то и начинается трагическое раздвоение музыкальной психологии. Артист не выступает ради того, чтобы получить какое-то удовольствие от «общения с аудиторией»—он выступает или для доллара, или для славы, или для того и другого. Житейская проза смело вторглась в «Храм искусства». Но и публика-то сама весьма не склонна рассматривать свои музыкальные экскурсии, как что-то такое «особенное», романтически - необычайное, исключительное, как бывало ранее. Интерес к музыке в огромных массах *среднего класса* и высшего катастрофически слабеет. Следуя какой-то традиции или привычке, некоторые обыватели все-таки ходят на концерты, но это не есть хождение от восторга, хождение «жадное». Нет, тут играет главную роль *мода*—этот всепожирающий властитель европейской культуры. Раз артист «модный», раз на него «принято» ходить, раз в обществе стыдно сказать, что «я не был на концерте Крейслера»—то будет давка и билетов отбою не будет.—Но это—исключения и очень, очень редкие. Нам хорошо известны

закулисные стороны выступлений даже очень «знаменитых» артистов. Не всякий наполненный зал наполняется в Европе «нормальным» образом. Европейский менажер—такой же виртуоз, как и те, которых он держит у себя в сладко плену: он артистически умеет нагнать публику какими-то способами, которых у нас в России, очевидно, еще не успели узнать—и концерт имеет вид «самого успешного», и только сам артист и его антрепренер знают, во сколько это «обошлось». Я не видел тут, в Европе, настоящего горячего интереса к артисту, как у нас в СССР и в России прежнего времени. Заинтересован в публике и в концерте обычно сам исполнитель. Если бы русские артисты знали, сколько приходится тут рассылать бесплатных и полуплатных билетов «для наполнения зала», то они не стремились бы так в европейское артистическое эльдорадо. Мы были недовольны ненормальным функционированием наших концертных учреждений в Москве и Ленинграде. Не надо отдавать справедливость, что они функционируют много нормальнее, чем в Европе, что «экономический фундамент» под ними прочнее, что *интереса* в публике у нас к серьезной музыке без сравнения больше, и захватывает он несравнимо большие круги. Холодом и расчетом веет от европейской публики, пришедшей по приглашению и все время смотрящей на дверь, чтобы куда-то улизнуть с концерта. И аплодисменты, на которые тут тароваты, как-то плохо радуют и звучат не так—не от увлечения, а из вежливости, от того, что «принято так».

Конечно, западно-европейская и американская публика вовсе не может быть обвинена в особенной «холодности». Нет, это только к музыке такая холодность. Кинематографы переполнены «настоящему», музик-холлы и дансинги, кабаре и спортивные увеселения собирают стихийные массы людей. Их никто не загоняет и никаких скидок им никто не дает. Газеты уделяют массу места переплываниям чрез Ламанш, «бегу через бочки» (есть и такое увеселение), избиванию друг друга под формой «бокса». Чемпионы переплыва-

ния Ламанша получают сотни тысяч долларов за свои «выступления», а чемпион бокса заработал даже около двух миллионов рублей за один сеанс «мордобития». Вот тут настоящий интерес, настоящее увлечение—тут составляются мировые известности и всемирные славы. Никакой Шалапин не мечтает о таких гонорарах, как киноартисты и, особенно, как боксеры. Трюк и цирковое отношение к искусству вторгаются и в музыку, стимулируя *низкий уровень развития публики*. Публику можно привлечь и к пианисту, если он будет одновременно балансировать на канате или выступать «в клетке с тиграми», как это недавно сделали в Австрии. Музыка сама по себе, лишенная всех этих пряных и грубых приправ, уже лишилась способности привлекать народ. Старые силуэты «падающего Рима», гладиаторских боев и христианских травль выступают в памяти, когда видишь это торжество настоящей черни и ее вековых инстинктов. Это—психологическая, сознательная чернь, воспитанная на хорошей закваске прочной капиталистической культуры, в которой все принесено в жертву богу наживы и мимолетного грубого удовольствия.

Историк и социолог задается когда-нибудь, конечно, изучением *причин* этого одичания вкуса, постигшего когда-то культурную Европу. Вкус черни налюдается вовсе не в «низших слоях общества», а преимущественно в высшем и в среднем. Жизнь, исчерпывающаяся интересом к добыванию средств, отсутствие всяких иных интересов, занятой и размеренный строй жизни, сутолока современного города, стремительный темп цивилизованной жизни—все это создает атмосферу физиологического *утомления*, при которой отдых мыслится только как *развлечение*, а не как углубление и утончение переживаний. Современный европеец ищет такого отдыха, в котором голова бы меньше работала, нервы бы получали возмуждение для нового «трудового дня». Музыкальная стихия мало возбуждательна и мало успокоительна для таких людей, утомленных и издерганных все умножающимся

шумом столицы. Нет сомнения в том, что *внешний звуковой и бытовой фон* оказывает огромное влияние на конструкцию психики человека и на его музыкальное жизнеощущение в частности. Песня пахаря может родиться только в обстановке созерцательно-трудового общения с природой. Музыка романтиков, вроде Шопена, немислима в современном городе, исполненном шумов и автомобильных воплей, немислима в веке, в котором скорость передвижения достигает уже 200 километров в час. Психические бури романтизма несозвучны новой жизни, которой вовсе не нужны никакие «бури», а нужны все возрастающие в интенсивности *раздражения* обедненной и задержанной жизнью нервной системы. Нужен *допинг* для того, чтобы как-то доскакать свой жизненный путь, не упавши посередине его; и этот допинг менее всего находится в музыкальной сфере.

Композитор современности тоже перестал быть похожим на старого композитора. И он—член этого человеческого «коллектива задержанных», и в его голове звучат автомобильные гудки и вой аэроплана, и ему нужно не созерцание, а какое-то хроническое раздражение нервов, чтобы как-то не смочь посмотреть на этот механически-взбудораженный мир со стороны и не ужаснуться ему. Как военные ритмы вторгались в музыку Бетховена, современника великих войн, так в музыку наших современников вторгается какофония автомобильных хоров, ритм аэроплановых сообщений. Ухо привыкает уже в самой жизни к самым диким сочетаниям, а известно, что человеческое ухо ко всему способно привыкнуть. И в музыке отзвуками слышны эти ритмы, эти созвучия, которые *тут*, в Европе, ясны и логичны, неизбежны, ибо тут же рядом с этой музыкой гуляют в колоссальном числе и самые «причины» всей этой новой музыки—бесчисленные автомобили, светят раздражающие светящиеся вывески и вообще весь арсенал современной цивилизации.

Но этого мало. Композитор современности—такой же делец и коммерсант, как и исполнитель. Он тоже весь

погружен в борьбу за существование на этом фронте. Он ищет новых *трюков*, чтобы поразить ими мир. Иначе он не будет замечен. Прошло время, когда композитор величественно и гордо, спокойно раотал для оудущего, с наивной уверенностью, что «весь я не умру». Теперь, в наш скептический век, ставка на бессмертие устарела, и векселя на будущую жизнь плохо котируются на рынке. Нам при жизни подавай всю причитающуюся нам славу с процентами. Композитор *стал заискивать в публике*. Модернист и сочинитель пошлых банальных пьесок идут рука об руку, оперируя разными средствами. Один просто угождает вкусу и примитивному музыкальному ощущению толпы. Другой *пугает* ее чем-то необычайным и невероятным и этим заинтересовывает. И тот и другой достигают цели—публика заинтересована, она уже снабжает автора известностью,—этого только и надо ибо известность—это один из векселей, которые уже имеют учет на мировой бирже ценностей. Но если мы подумаем о том, где больше «музыкальной стихии»,—у сочинителя пошлой песни на потребу ночного кабака или у модного новатора, ежемесячно пугающего обывателя новым изобретенным им трюком,—то еще придется много поломать голову в ожидании «справедливого» приговора.

Внемузыкальная стихия внедряется все больше в музыку, в творчество, которое инстинктивно учитывает малый наличный интерес к музыке в тесном смысле слова. В поисках спасения творчества и оправдания его, в сущности, *быть может, уже вовсе и ненужного*, композиторы то становятся спортсменами звуков и стараются побивать те или иные музыкально-звуковые рекорды (Стравинский), то изобретают специальные трюки для привлечения публики и ее симпатий, то вступают в союз, не совсем естественный, с музыкой ночных кабаков и дансингов (Мило, Вьенер), чтобы их освежающим влиянием спасти свое положение и «честь» композитора. *Простая* музыка, как ее раньше писали, музыка без трюка, без устрашения слушателя, без

улыбок в сторону кабака—не будет *замечена*, мимо нее пройдут. Чтобы быть замеченным в этом хаотическом и шумливом мире, надо чем-то о себе кричать, надо стать дико непохожим на соседей. Властитель музыкальных дум европейских, наш соотечественник Стравинский—один из наиболее типичных представителей современного европейского композиторства,—меняет стили свои со скоростью парижских мод. Причина этого ясна: в одном стиле теперь нельзя оставаться, не рискуя быть заоштытым. *Сезонная* мода пройдет, и горе тому, кто не успел выдумать новую. Не удивительно, что «изобретательская» мысль или выдумка обычно идет по «ассоциации контрастов»—после одного стиля впадают в иной, с атрибутами по возможности противоположными. Так, Стравинского потянуло к Баху и к искаженному XVIII веку; так, сейчас в Париже среди бывших крайних модернистов пошла мода на русскую музыку «доглинкинского» периода, как наиболее гонимую ранее, и как наиболее далеко отошедшую от нашего века; так, новые французские композиторы с особым остервенением отрицают Дебюсси и пишут музыку, нарочито первобытную и грубую, подчеркивая свое «отличие» от великого композитора.

Другие изобретают более «сильные средства». Американец Кауэлл пишет музыку для фортепиано, но играть надо на нем локтями, а не пальцами. Другой пишет для оркестра из механических фортепиан. Стремление сделать музыку *механизированной*, автоматической по своему внутреннему содержанию, этот *механизирующий ритм* глубоко проникает современного композитора.

Западно-европейская критика не может спасти положения. Да и вообще, когда критики спасали положения?... Их дело—вторичное, и они ничего не могут поделать, когда «первичные» причины властно разрушаются. Им остается только поспевать за новизной, чтобы не показаться отсталыми и не потерять заработка. Музыкальное творчество все упорнее становится в ряд тех «полуискусств», которые фабри-

куются без ставки на долговечность тех полухудожественных фабрикатов, которые имеют значение в *быту*, но не в *культуре*. Ни одному «кинооператору» не придет в голову идея о «вечности» его постановки, он знает, что все это явления «сезонные». Так они и фабрикуются, с расчетом на быстрый износ. Музыка ранее претендовала на более долгие сроки своей жизненности. Теперь еще не говорят об этом вслух, но вряд ли каждый из композиторов убежден в сколько-нибудь длительном существовании своих творений? Это его мало интересует. Важно, чтобы они прозвучали, прошумели, оставили след в слушателе и принесли бы *требуемые славу* и деньги. На небольшие запросы следуют и маленькие ответы. И мы видим картину полного *измельчания* творчества, при огромном увеличении его количественной стороны.

Когда-то старый Рубинштейн безнадежно поникал своей львиной головой и думал о «сумерках богов». Тогда как преждевременны были эти все-таки пророческие думы старого музыканта! Тогда были живы и творили Вагнер, Лист, Брамс, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Григ,—кажется, не мало. Правда, Рубинштейн относил свои «сумерки богов» к *последующему* поколению и едва ли не был он прав, ибо именно в этом поколении *началось разложение* основных предпосылок музыкального искусства, ныне завершающееся стихийным процессом гниения.

Теперь мы имеем уже настоящие сумерки, настоящие—несмотря на блистательное явление Стравинского, на горячий и сильный талант Прокофьева, на интересные опыты Хиндемита и Шенберга в Германии, на сильные в своем роде композиторские дарования Казелла, Онеггера и Респиги. Все это в той или иной степени относится уже не к прежней «музыке психологической», а к новой «музыке орнаментальной». Мне могут сказать,—как что же, и это имеет право на существование, может быть, это-то и есть *настоящая*, чистая музыка. В ее чистоте я не сомневаюсь, поскольку эта чистота не есть последствие биржевого курса,

но меня просто-напросто не интересует это звуковое искусство побрякушек—это—действительно вещь глубоко «беспольная» и ненужная—и это творчество великолепно отражает ненужность музыки в наше время; вследствие свершившегося факта ее ненужности, и творчество музыкальное таково стало, что эту ненужность выявляет особенно удачно. Музыка была нужна в системе культурных ценностей как непосредственный язык психических эмоций, язык бездумный, но упорядоченный своими закономерностями. Музыка же как звуковой орнамент есть совершенно лишний придаток к быту, и без того загруженному всякими звучаниями, обычно очень мало-музыкальными. Она только увеличивает «шум жизни», и без того навойливый, и начинает чувствоваться, что и музыканты ею тяготятся, что она страшно надоела, что они, сами ее фабрикуя, сами предпочитают оставаться подальше от нее. Обычный стиль поведения современного музыканта—избегание музыки. Когда-то покойный С. Танеев говорил, что музыканты разделяются на «любителей и специалистов»—первые любят музыку, но не знают ее, а вторые знают, но не любят». Это было шуткой в

устах Танеева, но шутка была таким же пророчеством, как и изречение Теофиля Готье, который уже давно утверждал, что «музыка—только неприятный шум, за который приходится к тому же дорого платить».

Идет огромная волна варварства, волна одичания вкуса, возвращения его к примитивам времен гладиаторов, и дикость эта подчеркивается высотой внешней цивилизации. Пройдет немного времени—и в Европе и в Америке музыка останется только приправой к увеселениям в «холлах» и кабаре, театр исчезнет под напором кинематографа, и повальное увлечение спортивным элементом приведет к тому, что все искусство «испортится»—механический элемент ловкости уничтожит психологическое содержание окончательно.

Две причины доминируют в этом историческом бедствии музыкального искусства (и, быть может, в скором времени и всего искусства, музыка—только более чувствительный авангард)—эти причины: мировая война, принесшая одичание вкусов и нравов, и капиталистический мир, несущий психологию меркантилизма, разлагающую всякое искусство.

2. ЗАМЕТКИ О КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ ¹⁾

Ник. Смирнов

З последние годы приходится наблюдать непрерывный рост молодой, крестьянской художественной литературы. Л. Завадовский и А. Перегудов принадлежат к числу ее наиболее талантливых представителей.

Завадовский и Перегудов далеки от той крайности, особенно сильной в современной крестьянской литературе, когда «художественное» произведение

напоминает плакат на дверях избы-читальни, или «пастораль», где льняные кудри пастушек заменены алыми платочками, а расписные солнечные лучи—лучами электрического лампона.

Вместе с тем, им органически чужда и другая крайность—мрачность, безнадежность и скептицизм в описании деревни, неверие в ее человеческие силы, — крайность, характеризовавшая литературу предреволюционных лет.

Для Завадовского и Перегудова деревня — не идиллически-причесанный лубок на крышке сергиевского или палехского портсигара, но и не «сфинкс» с азиатскими глазами, водочной бутылкой и православным крестом.

¹⁾ Леонид Завадовский. — «Вражда», рассказы, изд. «Новая Москва» (лит.-худож. библ. «Недра»). 1926 г. Стр. 152. Его же — «Полова», повесть, изд. то же, стр. 64.

Александр Перегудов. — «Человечья весна», рассказы, изд. то же. Стр. 142.

Правда, Завадовский и Перегудов очень часто останавливаются на изучении темных сторон деревенской жизни, но им сопутствуют здесь твердо-рассчитанная уверенность, любовь и вера в будущее.

В этом отношении особенно показательно творчество Л. Завадовского. Многие из его рассказов очень тяжелы и грустны: люди или умирают («На белом озере», «Бурун») или, как в «Никитином счастье», переживают горечь ничем невозградимой потери. Рядом с этим, в творчестве Завадовского не менее сильны и другие начала: упорность борьбы, и цепкая сила труда. Прекрасный рассказ «Корень» наглядно и живо передает муки и радости крестьянина. Музык Василий Корнеев с трудом добыл себе лошадь. Возвращение домой на своей лошади неожиданно пресекается бандитским нападением. Лошадь уводит, Василий оказывается опасно раненым. По счастливому случаю, а, главным образом, благодаря силе своего организма, он выздоравливает, и, кроме того, находит свою лошадь. Он, «белый, страшный, но уже оживший на воздухе в дороге, бодро подкатил на отдохнувшем мерине к избе с кривой ветлой»:

«Корень» — лучший рассказ в книге, в нем нет, как, например, в «Буруне», ненужной кинематографичности — она у Завадовского наивна, нет и той психологически-неоправданной «чувствительности», которая совсем обесценивает интересно [задуманный рассказ «День жизни».

«Корень» полностью выявляет Завадовского. Он писатель спокойный, с обостренной наблюдательностью, умеющий показывать, создавать типы. Завадовский никогда не гонится за аффектированной внешностью рассказа, — все его внимание сосредоточено на сюжете, который у него развивается последовательно и плавно, без всякого маскарадного шума. Элементы юмора и сатиричности ни в какой мере не понижают изобразительности Завадовского. Они лишь придают ей оттенок некоторой солнечности

Жанровые сцены в рассказах Завадовского конкретны и живы, суховатый

и бережно-скупой язык — точен и прост. Но небрежность в языке у писателя, все-таки, есть. Есть у Завадовского и неприятное пристрастие к уменьшительным именам, и к таким утрированно-звучащим словам, как: «нашшот» «товаришши» и т. д.

Нам думается, что в словаре Завадовского они излишни: он — писатель с большим тактом, вкусом и — огромным знанием деревни.

Только зная деревню, только живя в ней, можно написать «Полову». «Полова» — крепкое и прочное завоевание Завадовского. Повесть, по справедливости, заслуживала бы отдельного статейного разбора. Здесь же отметим, что повесть является подлинно-художественным отражением деревни со всеми ее бытовыми противоречиями и столкновениями. Героиня повести Любка останется в современной литературе, как цельный и яркий тип.

«Полова» — повесть о деревенской женщине, переросшей старые бытовые устои, но не встречающей в окружающих ни поддержки, ни ответного отклика. Парень, любивший и обманувший ее, Васька, находится целиком во власти старых условностей и предрассудков. Из столкновения этих двух разнородных сил и проистекает трагедия Любки. Написана повесть просто и сжато, в ней нет ни одной лишней страницы, ни одного лишнего слова. Заметна усиленная и кропотливая работа писателя над языком. Нежны и скромны эпитеты и сравнения: «как тихое лето жизнь прожили»; — хороши, как всегда, у писателя зарисовки животных:

«Только один рыжий, как солнце, жеребенок нарушил печальную дорогу. Отстал от матери, с колокольчатым ружаньем промчался мимо, повернулся и, сверкая глазами и поднимая легкую пыль перламутровыми копытами, унесся назад».

Вопросы любви, отвлеченно намеченные Завадовским во «Вражде» и широко поставленные в «Полове», составляют основное содержание творчества и другого крестьянского писателя, А. Перегудова.

Литературно Перегудов старше Завадовского — еще в 1923 г. издательством

«Круг» была выпущена его книга «Лесные рассказы»,—но он не так конкретен и целен, как Завадовский. Талантливость же его не подлежит сомнению.

Рассказ «Человечья весна» не случайно дал название всей книге: это лучший рассказ Перегудова. Если «Полова»—повесть о столкновениях старого и нового, то в «Человечья весна» можно наблюдать сияющую поросль бытовой новизны. Все люди, обрисованные в рассказе: старый лесник, его дочь Оленка, и Вася, ее жених,—люди, выросшие из бытовой революции, и потому в рассказе так благоуханно чувствуется дыхание весны, талых снегов и первого земного цвета. Сила земли, упругость вырастающих трав и свежесть шумно-развертывающихся листьев облакают творчество Перегудова в тона какой-то первобытно-языческой, зверино-торжествующей «телесности».

Может быть, некоторые любовные сцены у Перегудова и излишни, но они никогда не портят общего впечатления от его рассказов. В этих сценах нет ни тени порнографии: они целомудренны и непосредственны.

Перегудов одинаково тонко чувствует и человека, и природу, и зверя. Его творчество проникнуто утверждением жизни—и все, что идет от смерти и тлена, как-то не нарушает общего светового тона его произведений («Болото»).

Рассказ «Болото» взят писателем из излюбленной бытовой области, лежащей на соединении линий города и деревни: из быта рабочих-торфяников. В обстановке этого быта развертывается действие и рассказа «Туманы». В «Ту-

манах», богатых жанровыми очертаниями, рассказывается об учительнице Ольге, вместе с артелью деревенских девок уходящей на торфоразработки. Драма, пережитая ею во время «опрошенческих» работ, неудачная любовь к рабочему Игнашке, гонит ее обратно.

Облик Ольги очень удался писателю. Здесь, как и в повести Завадовского «Полова», дан все тот же сложившийся женский образ, уродуемый и обезцениваемый реакционными бытовыми условиями. Хулиган Игнашка несколько напоминает Ваську все из той же «Половы».

Такое сходство, конечно, не случайно. Перегудов и Завадовский—писатели одной и той же стихии.

Они во многом еще не самостоятельны, в их творчестве нетрудно было бы установить наличие чужих влияний (между прочим, разнородных), но эти влияния не уменьшают их значения. Оба эти писателя еще далеки от творческой цельности,—отмечаемые нами случайности и промахи в творчестве Завадовского нередко встречаются и у Перегудова. Совершенно случайным и нехарактерным для Перегудова следует считать его рассказ «Кутум», почти копирующий Горького периода «Мальвы» и т. п. Немало погрешностей и в языке Перегудова, построенном, в противоположность Завадовскому, на напевности.

Не преувеличивая талантливости обоих этих писателей, необходимо, в то же время, тщательно отметить их и, отметив, ждать от них новых достижений.

3. ЭКСПРЕССИОНИЗМ И ПОСЛЕ ЭКСПРЕССИОНИЗМА

С. А. Грюнберг

В последний период империалистической войны физически истощенная уже Германия мобилизовала на помощь бронированному кулаку своего милитаризма все интеллектуальные силы страны. Ученые изошрялись в изобретениях новых смертоносных орудий и удюшливых газов, публицисты

выбрасывали в миллионах экземпляров свои произведения на рынок, агитируя за войну «до победного конца» и воспевая преимущества германской культуры. Вся германская интеллигенция, наэлектризованная придаваемым ей «сверху» значением и прельщенная перспективой стать спасите-

лем буржуазной германской культуры, поставила свои умственные ресурсы на карту.

Но изобретение без возможностей реализации, но призыв к нации, а не к классу—все это здание без фундамента рухнуло. Надежды мелкобуржуазной германской интеллигенции не сбылись. Она осталась придатком господствующего класса, культурным «нестораемым шкафом», чувствительным сбережением нации. Потерявшая во время шторма свои компасы, германская интеллигенция металась в поисках нового господина-класса, которому она могла бы предложить свои услуги. И когда то тут, то там поднимал голову германский пролетариат, интеллигенция была тут как тут, готовая принять новорожденную революцию в свои объятия. Она подоспела во-время, чтобы горделиво восхвалять, как плод своего умелого обращения, баварскую советскую республику, пыхтя лезла на трибуны в первые дни Спартакус-бунда. Сброшенная с лестницы наступающей реакцией, она поломала себе ноги и, горько размышляя о причинах своей неудачи, зализывала свои раны, прикладывая к ним компрессы. Эти размышления привели ее к следующим выводам: во-первых, не нужно лезть в драку двух классов, а лучше наблюдать со стороны, защищая «внеклассовые принципы», во-вторых, необходимо выждать окончательный результат борьбы и пока не порочить себя участием перед другой стороной, в-третьих, нельзя надеяться на признательность в мирное время за помощь, оказанную в войне. Обанкротившись как слуга милитаризма, как революционная акушерка и, наконец, как прислужник крупной буржуазии—германская мелкобуржуазная интеллигенция, разочаровавшаяся в войне и в революции, разбитая параличом вследствие своих «культурных навыков», страдающая физически—начала искать спасения в метафизике. Писательская масса, рекрутирующаяся, главным образом, из мелкобуржуазной интеллигенции—причиной всех несчастий, обрушивавшихся на страну, считала «увлечение материей».

Война и истинные причины войны казались германской интеллигенции лишь безумием «человечества», охваченного спекулятивной горячкой, и погоней за материальными благами. Эта идеология старой девы, ищущей спасения своей души в религии, стала в ином разрезе идеологией мелкобуржуазной интеллигенции. Мистический самообман, что идея уже есть реальность, что слово сильнее дела, убаюкали надеждой на будущее величие встревоженную материальным банкротством интеллигенцию. Вся послевоенная германская литература—это перепев ветхого закона: сначала было слово, а затем уже сотворение мира. Как не ликовать писателю-интеллигенту? Ведь в его руки было отдано самое могучее орудие—слово. Слово делает творческое чудо, отвлеченная форма наполняется содержанием. Слово—это меч, могущий разрубить узел частых обид, невероятного унижения и материальных забот. Нужно было только отыскать это древо жизни в глубинах человеческой души. Писатель должен был стать экстастиком. Только в экстазе он сможет найти слово—равное делу!

Послевоенные германские поэты стали похожими на одержимых. Они выкрикивали слова, никому непонятные. Это были факиры, жрецы и шаманы, больные, неврастеники, безумные или просто шарлатаны. Нечленораздельные звуки их поэзии были воем дервишей. Действительность для них не существовала. Искусство, как они его понимали, заслужило действительность. Форма творила содержание.

Нарочито сгущая краски, я хочу выявить не только суть этого психоза, но и одно несомненное достижение германского экспрессионизма. Экспрессионизм отучил от фиксирования фактов, от преобладания материала в натурализме. Он ввел снова элемент воудухотворения в германскую литературу. Суммируя факты, натурализм не находил в них выразительности. Острые наблюдательные способности импрессионистов иссякали в одном мгновении, в котором, правда редко, запечатлевались незабываемые картины, а чаще лишь одни фрагменты. Наоборот,

экспрессионизм искал и в секунде вечности. Бросая какое-нибудь им избретенное слово, он продолжал мысль на целую страницу петитом. Наконец, что было чрезвычайно важным для расхлябанности германской литературы,—экспрессионизм восстановил значение формы без условностей содержания.

Следующий этап германской литературы после экспрессионизма выявил необходимость реализации формальных его зачатков, то-есть восстановления связи между формой и реальным содержанием романа, драмы или пьесы. Германская литература вышла из экспрессионизма, несомненно, обогащенная выразительностью. Делая налеты на псевдо-классицизм и академизм германского довоенного искусства, экспрессионизм мог убедить всех в дряхлости последнего. Германская литература под ураганным огнем экспрессионизма была выгнана из защищаемых традицией окопов.

Сдвиг, происшедший в четвертом году после заключения мира, был отмечен выступлением актера Бассермана, который отказался играть в экспрессионистических драмах, мотивируя это тем, что он не знает, как движутся и чем движутся в них фигуры. «Без психологической мотивировки и без реальных данных относительно возраста, пола и эпохи, в которой живут герои пьесы—я не знаю, как их изображать»,—писал он тогда. Но Бассерман был актером натуралистической школы, учеником Брамса, первого режиссера, поставившего Ибсена, и он вздыхал о порядке и пропорциях.

Полная оторванность от действительности и драпировка в революционные фразы реакционно-идеалистической идеологии — раздражала и восстанавливала прогив экспрессионистов действительно революционных писателей. Экспрессионизм становился на колени перед проституткой, воспевая в ней жрицу любви; экспрессионизм изображал революцию, как восстание сына против отца (Газенклевера «Сын» или «Отец» Броннена). Ходульные революционеры — неврастеники, взвинченные истерички, Христосы и прочие святые,

Чудовища и гиганты, карлики и сомнамбулы, искалеченные войной или извращенные городом, — вот та армия привидений, которая в пьесах и романах экспрессионистов,—у Толлера, Верфеля, Мейринка, Унруа и других—защищала знамена революции. Более достойных борцов за революцию экспрессионизм и не мог выдвинуть.

Мелкобуржуазную сущность этой идеологии вскрыл германский драматург Карл Штернгейм в своих комедиях. Он сорвал драпировку с героев и обнажил их костяк. Любопытна фигура этого писателя. Он издевался над псевдо-граддиозным жестом экспрессионистов, с пренебрежением смотрящих на материальные блага (им ничего другого не оставалось, т. к. их никто печатать не хотел). Будучи еще мало известным, Карл Штернгейм удрал в Голландию и усердно стал распускать слухи о своей смерти, одновременно поручив одному из своих друзей реализировать свое литературное «наследство». Издательство Курт Вольф в Лейпциге, скупив все «наследство» Штернгейма, издало его собранием сочинений «безвременно погибшего талантливого писателя». Тогда Штернгейм появился жив и здоров в Германии, чтобы собрать свой литературный урожай. Когда он в 1920 году получил премию в 500 марок—смешно маленькую сумму при тогдашнем курсе германской валюты—он ее уступил «талантливому, но бедному писателю Францу Кафка» (!).

Другой, близкий к Штернгейму, немецкий драматург Георг Кайзер, удачно высмеивая в первых своих сочинениях сложившийся под влиянием экспрессионистов миф о божественной сущности героев, показал невежество этого воззрения, разоблачив («Иудейская вдова») героиню, как истеричку. Но Георг Кайзер скоро впал в псевдо-революционную фразу, проповедуя толстовские идеи и идеалы Ж. Ж. Руссо. Теория Карлейля о героях, имеющая на германскую литературу исключительное влияние, нашла в ранних экспрессионистах своих пламенных пророков. Поэтому сатира Георга Кайзера имеет преимущественно литературное значение.

Но индивидуализм героев экспрессионистической драмы имеет исторические корни. Экспрессионизм искал в греческой трагедии своего обновления. Тогда, когда человек вел с богами борьбу, его судьба имела *типичное* значение. Потом, с наступлением буржуазной эры, судьба человека заключалась в борьбе с другим человеком и теряла все грандиозные перспективы. Теперь экспрессионизм отошел назад к первому периоду драмы, восстанавливая первоначальное понимание героического, как борьбу человека с своей судьбой. Только эта судьба понималась уже отвлеченно мистически, а не конкретно, как у греков, ибо у них бог был конкретным существом, со всеми людскими грехами и слабостями. Из этого положения вытекает, что экспрессионизм отвергал всякую психологическую мотивировку, предполагающую отношение человека к человеку, а не человека к богу.

Поэтому новые течения после экспрессионизма считали восстановление сценической, психологически, правда, несколько упрощенной, мотивировки — одним из главных своих тезисов. Они боролись против мистического толкования судьбы и утверждали, что она заключается в отношении индивидуальности к обществу и имеет своими предпосылками ту среду и эпоху, в которой живут герои. Столкновения человека со средой, конфликты гениев с эпохой, разработанные в германской литературе впервые Гегбелем, были снова воздвигнуты на престол. Эти мотивы повторяются в романах и рассказах Эдшмидта, Генриха Манна, Франка и др. Здесь уже есть известная доля социального понимания истории, хотя герой реже всего является представителем класса, а чаще — представителем той или иной группы индивидуальностей. Индивидуализм и психологизм, так. обр., остаются в силе.

Типичность экспрессионизма ведет к его условному содержанию. Драмы Верфеля «Человек и зеркало», «Вервольф» и др. играют в мистическом полумраке, неизвестно в какой эпохе и где. Возобновляя традиции реализма, после-экспрессионистический период требует документальной точности и уста-

новления рамок, в которых движется произведение. Из всего этого вытекает с несомненностью, что борьба ведется за выяснение исторического фонда, которым располагает современная литература. Ибо немислима ее полная оторванность от прошлого и отнекивание от настоящего.

Но было бы ошибочным считать, что борьба против экспрессионизма ведет к нео-реализму. От экспрессионизма остались еще неудобоваримый мистицизм и пафос, ведущие скорее к романтизму, чем к реализму. Интересен тот факт, что поздних романтиков, как Мейринк или Эйленберг, экспрессионизм почти что не коснулся, — они остались теми же, что и раньше. Наоборот, экспрессионизм породил целый ряд романтиков (я считаю и Эдшмидта романтиком), продолжающих традиции старых романтиков, главным образом Э. Т. А. Гофмана и Гейне. Можно назвать Франца Кафка. В его романах и рассказах, чрезвычайно простых, тонких и глубоких эскизах он продолжает лучшие традиции романтизма. В нем растет, несомненно, крупный талант, обогащающий своей выразительностью, искренностью и правдивостью литературу.

Но и у него и у других мы напрасно ищем какого-нибудь определенного отношения к современным социальным проблемам. Они знать не знают окружающей их действительности. Экспрессионизм соединил в мелкобуржуазном русле все шатающиеся, деклассированные элементы. Экспрессионизм не имел своей программы, если не считать книжку Эдшмидта «Об экспрессионизме». После ликвидации экспрессионизма оказалось, что никто из правоверных экспрессионистов не считался. Нашлись теоретики, возглавляющие это течение, которые стали утверждать, что экспрессионизм ничего нового собой не представляет, что и раньше и сейчас в искусстве можно отличать элементы экспрессионизма, что он значит лишь «выразительность» и что она же ведь должна быть в каждом хорошем произведении искусства.

Так чем же было это знаменитое течение?

Подводя итоги, нужно сказать, что экспрессионизм является выразителем в искусстве идеологии мелкобуржуазной писательской массы. Выразителем в двух смыслах. Во-первых, экспрессионизм выражает настроение разоренной войной и разочарованной в своих надеждах на новый духовный ренессанс мелкобуржуазной интеллигентской прослойки; во-вторых, он является до известной степени новым течением в искусстве, единственным оружием этой массы, ищущей крайней выразительности для своих целей и стремлений. Но формы, т.-е. выразительность форм, которые сперва были подчинены основной идее, постепенно приобрели преобладающее значение. Так, из экспрессионизма—мировоззрения мелкой буржуазии—выросла эмансипировавшаяся от нее теория «чистого» искусства. Буржуазия, встретившая сначала экспрессионизм, как протест мелкобуржуазной массы, враждебно, вскоре же, т.-е. после того, как он переключал

в сферу «чистого искусства», стала протезировать ему и, наконец, провозгласила экспрессионизм, как свое «присяжное» искусство. Считая своим врагом скорее реализм, поскольку он противопоставляет буржуазную культуру новой, нарожденной революцией, культуре трудящихся масс, буржуазия запрягла экспрессионизм в колесницу своей прихоти, украшая свои дома, бары и мюзик-холлы в экспрессионистическом стиле.

Так, мелкая буржуазия нашла, наконец, своего хозяина—крупный торгово-промышленный капитал и служит сейчас швейцаром в его ресторанах, театрах и увеселительных местах. От прежнего содержания у экспрессионизма осталась лишь пошлость, успешно конкурирующая с американской «сенсационностью».

На смену ему идет новое искусство, обогащенное выразительностью экспрессионизма—реализм Гросса и Бэхера.

4. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

П. Марков

«Цемент» в театре МГСПС.—Новые пьесы Ал. Толстого и Файко.—«Любовь под вязами» в МКТ.—Классика на современной сцене.

Инсценировка гладковского «Цемент»—явное свидетельство тяги театра к большой литературе. Репертуарные затруднения заставляют обращаться к беллетристике. Скучная и поспешная драматургия не в силах удовлетворить всего спроса на современный репертуар, поддерживаемого критикой и прессой. Спрос превышает предложение. Беллетристика в лице крупнейших представителей захватывает глубоко и быт и образы. Театры вступают на путь сотрудничества с литературой первоначально путем инсценировок. «Виринея» Сейфуллиной открыла их серию, «Цемент» закономерно вошел в их ряд, «Барсуки» Леонова его продолжают. Автором инсценировки «Цемент» явился не сам Гладков, а некий Рустем Галият, храбро взявшийся обработать длинный роман в подобие пьесы. К со-

жалению, инсценировка Галията не служит на пользу ни современной драматургии, ни театру, ни—тем менее—Гладкову. Она блестяще иллюстрирует, как большую литературу можно обратить в неумелую пьесу. Сложная нить построения «Цемент» не уловлена инсценировщиком. Пьеса сделана как будто на-спех и возбуждает в зрителе скорее недоумение, нежели волнение и интерес. Не зная романа, невозможно понять пьесу. У знающего роман—она вызывает досаду на претенциозную неумелость автора.

Напрасно возобновлять старый и надоедливый вопрос о правомерности инсценировок и с схоластической мудростью доказывать то несомненное положение, что роман не есть пьеса, и пьеса не есть роман. Напрасно предполагать в пути большинства театров

разрыв с «театральностью» — это есть поиски материала, достойного нашей современности, есть путь подчинения беллетристики театру. Напрасно переносить вину инсценировщика на самый замысел. Сейчас не обойтись без вовлечения в театр глубокого и разнообразного материала, который помог бы художественно и сценически оформить нашу современность. Применительно к инсценировке Галиата не приходится даже говорить о несценичности романа, который не поддается инсценировке, и пр. Вопрос инсценировки сводится к вопросу о переводе эпического материала романа в сценический план. Инсценировка неизбежно предполагает умелый монтаж текста и строгое самоограничение в выборе единой внутренней линии пьесы. Желание вместить невместимое и перенести на сцену полное содержание романа приводят к драматургической катастрофе. Так случилось с Галиатом, который не принял во внимание законов инсценировки.

Не имея смелости добровольного самоограничения, в погоне за мнимой полнотой содержания, Галиат обратил эпос Гладкова в нестройное и многокартинное обозрение. Перед ним лежал выбор между темой восстановления завода и другой, не менее существенной, темой о новом браке — о личной истории Даши и Глеба. Галиат, качаясь и неуверенно, блуждал между двух тем, желая вместить их в пьесу, но в конечном итоге не вместил ни той и ни другой. Пьеса не выдержала чрезмерной сюжетной нагрузки, и автор, вырывая отдельные несвязные картинки романа, уничтожил внутреннюю линию каждого из затронутых им образов. Обрывками и намеками проходят они перед зрителем. Галиат услужливо представил две сцены «полового» характера (сцены Даши с Глебом и Бадьным), но, вырванные из общего хода романа, они кажутся ненужным и раздражающим эпизодом, рассчитанным на малопохвальные ощущения зрителя. Они не помогают раскрытию образов, а, между тем, именно в значительности образов, в глубине затронутого быта, в яркости слова — соблазн беллетристического материала для театра. Глеб,

Даша, Бадьин стали бледными тенями, тема восстановления завода разбилась на мелкие кусочки, и роман оказался ненужным театру. Гладков сейчас сам инсценирует свой роман. Может быть, ему удастся в большей степени переключить роман в сценический план и найти приемы, которые донесли бы до зрителя и живые образы, в которых так нуждается театр, и бытового материала, показанный в нем, без той удручающей однотонности, которую еще не покинула современная драматургия.

Постановка не принесла победы и театру МГСПС. Этот театр, рассчитанный на профсоюзные массы, выполняет большое культурное задание. Тем строже должно быть отношение к нему. За последние сезоны ему было выдано чрезмерное количество доброжелательных авансов. Но, более чем в каком-либо другом театре, в нем господствует явное смешение стилей и отсутствие законченной системы игры. Актерский его состав включает ряд крупных провинциальных актеров и начинающую молодежь. Этот состав силен и дает порою ряд убедительных образов в манере бытового реализма. Режиссура, стремясь отойти от реалистических приемов и обучаясь революционизации формы, идет в большинстве случаев путями слепой подражательности, не учитывая манеры игры и особенностей драматургического материала. Особенно явно сказались эти свойства на спектакле «Цемент». Актеры добросовестно играли приемами бытового реализма. «Реалистическая конструкция» представляла смешение условных и натуралистических приемов, — бедная и сухая — она не только не рисовала строящийся завод, но не отличалась и особой технической изобретательностью. Режиссер располагал актеров по сцене согласно привычным шаблонам театра 900-х годов. Блистательный апофеоз пьесы с комсомольцами, физкультурой и прочими необходимыми атрибутами недалеко отошел от идеального прообраза римских пьес с бенгальскими огнями и девушками в туниках. «Шумы» должны были изобразить музыкальную симфонию гудков и завода, но среди них жирно и

бытово говорили актеры. Ими предводительствовал режиссер, который тщательно преодолевал трудный материал революционного театра: под его пышными нарядами он скрывал скучный провинциализм своей техники. Нужно сказать прямо—«Цемент» ни по разработке внутренней темы, ни по сценическому оформлению, не может быть отнесен ни к революционным спектаклям, ни к спектаклям пафоса и героики. Театр МГСПС стоит на распутьи. «Шторм» в свое время указал ему пути. Они лежали в простоте и ясности реалистически-бытовых приемов. «Цемент» уводит его в сторону мнимой и плохо усвоенной «левизны», неловкой подражательности и худо спрятанного провинциализма в постановке и исполнении. Сценическая небрежность неизбежно снижает тему спектакля. Произошло обеднение сложного социального построения романа. Так была снижена тема «Цемент».

В театре намечается переход от эпохи первоначального накопления бытового материала («первоначального жанризма») к периоду его художественного преодоления, к неотчетливым попыткам освещения изнутри. Театр хочет рассекать жизнь и бросить зрителю увиденные им картины жизни, найдя их внутреннюю психологическую нить. Перед ним встают во всей остроте отдельные жизненные проблемы. Так сценическое оформление современного быта продолжает соблазнять театры. МХАТ 2 поставил «Евграфа, искателя приключений» А. Файко, у Корша идут «Чудеса в решетке» Алексея Толстого, и даже еврейский театр Грановского, освободившись от старых еврейских пьес, неожиданно обратился к жанровому рисунку. Каждый из театров подошел к выбранным пьесам различно: наиболее незатейливо перенес центр тяжести на уверенную актерскую игру театр Корша. Он шел, видимо, от легкой сценической формы, в которую облек свой современный водевиль Алексей Толстой. В противоположность своим последним историческим разысканиям на тему о последних Романовых

или о великом провокаторе, Толстой вернулся на этот раз к изблюбленным им «комедиям о любви». Он продолжил линию «Нечистой силы» и «Касатки». Его комедия снова наполнена нелепыми чудачками и посвящена тому изменчивому счастью, которое неожиданно дарит героев Толстого верою в жизнь, богатством и любовью. Девушка из Рязани попадает в Ленинград. На ее выигрышный билет случайно падает главный выигрыш. Она счастливо освобождается от мнимых поклонников, гонящихся за выигрышем. В финале пьесы, после ряда лирических недоразумений и любовных ссор, находит счастье с суровым комсомольцем, и в прославление выигрышного займа жертвует выигрышные деньги на государственные нужды. Пьеса написана исключительно небрежно и исключительно талантливо. Она не претендует на идеологичность, а в финале обнаруживает свою явную бесцельность. Толстой умеет рядом коротких набросков создать облик живого лица, он знает тайну сценической речи, и тем более досадно, что он так бесплодно тратит свой огромный талант, ненужно раскидываясь по мелочам. Театр подчеркнул недостатки пьесы, не выделив ее достоинств. В ней живут лирические струи, они могли бы сделать пьесу, вопреки ее явным недостаткам, трогательной и милой. Сцена в трактире, где прорывается у провинциалки чувство потерянности и затравленности, мягкая человечность в обрисовке центрального образа—дают прекрасный актерский материал. Только Попова почувствовала манеру лирического водевиля, с которой Толстой сплетает и расплетает порою неоправданные столкновения и приключения своихчудаковатых героев. Она играла волнующе и тепло. Но и она, подобно другим исполнителям, не в силах оправдать финал пьесы, который ничего не распутывает, ничего не объясняет, а просто кончает пьесу, так как наступил четвертый акт, и время сценического представления истекло. Оказалось, что «лирика» взята в пьесе беспредметно. Теплота пьесы куплена за счет глубины—пьеса, немного взволновав зрителя, оставляет его неудовлетворенным.

Лирическую тему ставит и Алексей Файко в «Евграфе». Его замыслы более существенны, чем беспретенциозный водевиль Толстого. Он ставит вопрос о лирическом и лишнем человеке, который, узнав жизнь в годы войн мировой и гражданской, не может вместиться в сухие рамки нэпа и новой буржуазии. Файко проводит своего героя в ряде многочисленных эпизодов через столкновения с современной артистической богемой, с преступными шайками воров—каждая встреча приносит новую рану лирическому парикмахеру, и, не найдя сочувствия и поддержки, со сломанною романтическою верою в жизнь, Евграф—через нелепое и случайное убийство—идет к смерти. Пьеса написана короткими эпизодами. Напрасно видеть в Евграфе идеализацию угасающего романтизма. Файко прибегает к любопытному методу: резко отрицательные и ядовитые краски, которыми он рисует нэпманское общество Москвы, оттеняют привлекательные черты Евграфа, и тогда в этом неудачнике вскрывается воля к жизни, которая могла бы сделать его живым и нужным в нашей современности и которая не была переведена из области беспредметных стремлений в область твердого знания. Тема об Евграфе—большая тема о лирике в наши дни. Тема о людях, которые душевно не могут вынести железного шага нашей нелирической эпохи, как писал о ней Троцкий. В полной мере овладеть темой Файко не удалось. Слишком жирно положены отрицательные краски и слишком неотчетливо обрисован мир живых и крепких людей, которые проскользнули на сцену в случайной фигуре наивного комсомольца. Слишком путано ведется линия Евграфа между лирическим человеком и мелким человеком. Тогда его трагедия повисает в воздухе и кажется чрезмерной и преувеличенной. Второй МХАТ играет пьесу Файко в стиле некоторого статического плакатного реализма, который постепенно становится присущ театру. В этом стиле ярче и замечательнее всего играет Бирман, Чебан и Дурасова. Ключарев (Евграф) дает среди остальных масок простую и трогательную фигуру.

Попытка же театра Грановского подойти к современному быту оказалась неудачной из-за исключительно неблагоприятного литературного материала. Местечковый анекдот о современном Хлестакове отличается от условных разработок темы только тем, что написан на еврейском языке и происходит в еврейском местечке. Останавливаясь на привычной схеме долго не приходится. Она возвращает к этапу русской драматургии, который—надо надеяться—уже на исходе. Как полагается, самозванный товарищ из центра охвачен пафосом всемогущества, провинциалы легкомысленно восхищены его действиями, но в конце комедии карающая рука правосудия приводит героя на скамью подсудимых. Условные сценические положения, конечно, не могут восприниматься, как действительные изображения быта. Театр хитро сопроводил комедию музыкой, придал ей иронический характер оперетты и воспользовался привычными постановочными приемами ГОСЕТ'а—строгую ритмичность исполнения и модернизацией еврейских жестов. Современность спектакля вполне проблематична, и в истории ГОСЕТ'а он остается не отправным пунктом, а случайным эпизодом.

Наиболее современной постановкой пока неожиданно оказалось, и по способу обработки текста и по его сценическому истолкованию, представление пьесы О'Нейля «Любовь под вязами» в Московском Камерном театре. Между тем, действие пьесы относится к середине прошлого столетия, и никакими чертами, фотографически совпадающими с нашими днями, пьеса не отмечена. Режиссура также отказалась от какого-либо внешнего осовременения пьесы. Но ее тема волнует зрителя. Дело, следовательно, не столько в современной сюжетности, не столько в бытовой анекдотичности сюжета, а в тематике. Не в фотографическом изображении быта, а в родственности художественного мироощущения, которое непосредственно заражает зрителя. В «Евграфе» черты первоначального жан-

ризма преодолены темой о лишнем человеке, и бытовые зарисовки пронизаны лирикой. «Любовь под вязами» по праву можно назвать материалистическим произведением.

В лице О'Нейля Камерный театр нашел удобного для себя драматурга. Если остальные театры блуждают еще в поисках подходящего драматургического материала, то пример прошлогодней «Косматой обезьяны» и только что поставленной «Любви под вязами» подтверждает, что Камерный театр счастливо натолкнулся на материал, ему созвучный. Театр заинтересован в О'Нейле не скрытыми анархическими устремлениями американского писателя и не мелодраматической раздражительностью его сюжетов. Он легко очищает налет анархизма и умно затушевывает чрезмерность положений, — тогда обнаруживается строгий костяк современной психологической драмы. О'Нейль берет жизнь изнутри в сгущенных и ясных очертаниях. Этим он идет по пути преодоления жанризма, который намечается и в современной русской драматургии. Не случайно переносит Файко центр тяжести в психологическую катастрофу своего героя. Не случайно пронизывает Алексей Толстой свой неправдоподобный водевиль лирической обрисовкой главенствующих персонажей. Сквозь переживания, взлеты и падения отдельных людей начинает сквозить и выступать явно ощущаемым фоном эпоха. Таков один из методов построения современной драмы. Он идет от ясно и четко обозначенных и доведенных до степени острой выразительности фактов к выводам. О'Нейль не проповедует и не ставит обнаженных тезисов — *непосредственно* борьбы с «собственничеством» в пьесе увидеть нельзя. Но осуждение собственности *закономерно, как непреложное следствие*, возникает из построения драмы. Пьеса заставляет мыслить — она толкает на размышление, и зритель, взволнованный развернувшимися в спектакле событиями, подготовлен к единственному и непреложному выводу. Личная и глубоко вскрытая судьба трех тесно между собой связанных людей (старика фер-

мера, его молодой жены и сына), мучительная история любви мачехи к сыну и их яростное соперничество из-за будущего наследства неотвратимо влекут к роковому концу. Ферма, овладения которой они добиваются, висит над ними мрачной и заманчивой тяжестью. Она давит их, их страсть приобретает дикие и уродливые очертания. Личная судьба становится знаком целостного строя. Действие строго обусловлено тесной зависимостью от изображенного тяжкого быта. В пьесе не произнесено ни одного слова в осуждение собственности, но зритель не может не примкнуть к скрытой тенденции автора. Автор и театр подводят к выводу постепенно и непреложно — вывод делает сам зритель, пройдя через «чувства сострадания и очищения», возбужденные спектаклем.

Камерный театр и его режиссер Таиров умно рассмотрели и разгадали сценическую природу драмы О'Нейля. Таиров отказался от этнографических рисунков, на которые легко толкала изображенная в пьесе Америка 60-х годов. Не приурочивая пьесу к определенному моменту, он перевел действие в атмосферу обобщенного реализма. Освободив спектакль от мелких деталей, он построил его на скупости внешнего оформления и на умной передаче внутреннего ритма пьесы. Только в одном месте режиссерское толкование внезапно разорвано густою волною эротики, которая противоречит замыслу спектакля и его общему ходу.

По скупости языка и по строгости речи пьеса напоминает Ибсена и Стриндберга. Так же сосредоточенно и просто построены образы пьесы. Камерный театр в соответствии со своей манерой утончил образы и оторвал их от густоты быта, которая заключена в пьесе О'Нейля. Исполнение переведено в более изящный план, нежели это требуется материалом образов, при всей простоте и сосредоточенности сохраняющих кряжистость и фермерскую грубость. Однако исполнение освободилось от эстетических изысканностей и красоты старого Камерного театра — оно идет по пути овладения внутренним образом, а не эстетического

раскрашивания эффектных сценических положений. Наиболее волнующее и сильное впечатление оставляет Коопен, которая играет с подлинным мастерством и умело сочетает непривычную для нее характерность с моментами трагического под'ема. Церетелли проделал хорошую большую работу и совсем интересно, со злой характерностью, наметил образ сына. Этой постановкой Камерный театр значительно продвинулся на пути искания обобщенного реализма, который он написал в последние годы на своем знамени. Одновременно он ясно демонстрировал возможность дать современный спектакль приемами раскрытия внутреннего зерна пьесы, при котором основным является тематика пьесы и мироощущение художника. Вопрос идет о приемах художественной работы, передающих современному зрителю идеологию произведения,—и не искажающих тему так, как ее часто искажает фотографический и обнаженный натурализм.

Театр ищет способов сценической передачи классической драматургии. Если «Тартюф» в театре 4-й студии не знаменовал особой изобретательности в этом отношении, то «Доходное место» Островского и «Похождения Бальзамина» в Малом театре и его студии были отмечены именно такого рода стремлением. Режиссер «Тартюфа» передал Мольера медлительно, спокойно и бесстрастно. Академическая простота и холод французского классицизма куплены в спектакле ценой снижения его сатирической остроты. Спектакль оторвался от изображения эпохи, но еще не перешел в область преувеличенных сценических масок, оставаясь отвлеченным и холодным. Образы Тартюфа и остальных действующих лиц гораздо более закованы в красивую внешнюю форму, чем разоблачают борьбу страстей, которыми в своей убийственной глубине насыщена сатира Мольера. Скупая конструкция пользуется не новым сочетанием белого и черного цветов. Два крыла лестницы спускаются на просцениум и образуют

небольшую площадку, на которой спокойно, не волнуя и не тревожа зрителя, течет действие комедии. Режиссерская работа хорошего вкуса и благородства оставляет в зрителе ощущение мертвой красоты, среди которой образы, сыгранные актерами, не дозрели до монументальности, которой требует трудная комедия Мольера.

Режиссеры «Доходного места» и «Бальзамина», наоборот, стремились прочесть текст комедий Островского по-новому. Они стремились—каждый по-своему—внести в старые тексты ритм современности. Волконский, ставя «Доходное место», начал с ожесточенной борьбы против привычных способов постановки Островского на Малой сцене. Он категорически отменил привычные половички, вышитые наволочки и удобные креслица и бесповоротно отказался от линялых павильонов. Волконскому предносились картины большого масштаба и крупных полотнищ. Пересматривая зерно пьесы, Волконский увидел в «Доходном месте» не мешанскую драму, а предлог для монументального и важного спектакля—мрачное зеркало эпохи шестидесятых годов. В Островском он раскрывал начала, связывающие его с Сухово-Кобылиным. Волконский желал быть громадным в пьесе, которая не допускает ни монументальности, ни обобщающей символизации. Здесь лежало основное и губительное противоречие спектакля. Волконский расширял «Доходное место» до пределов обобщающей картины Николаевской Руси—текст пьесы этого не выдержал, обнаружил свой декламационный характер и архаичность своей моралистической проповеди. Оторвавшись от текста, Волконский неизбежно придал условный характер пьесе и из действующих лиц сделал условные маски театрального порядка.

В погоне за раскрытием замысла, читая между строк, он доводил каждую картину до предела—гиперболизм режиссерской фантазии характеризует спектакль. Каждая картина, расширяясь до пределов монументальных, теряла связь с картиной предшествующей. Скромные комнаты Кукушкиной

превратились в аляповатые залы с кричащей обстановкой и эротическими картинами. Квартира Вышневого— в пышный дворец с колоннами и статуями, трактир—в роскошный ресторан с золотыми украшениями. В своем смелом замысле Волконский шел до конца, но в финале спектакля оказалось, что подороже режиссер потерял Островского.

Его сценический замысел требовал актера большой техники и умения лепить преувеличенный сценический рисунок. Молодежь, бывшая в его распоряжении, технически неопытна для трудных заданий режиссера. И только Массалитинова и Кузнецов—актеры замечательного опыта и резкой сценической выразительности—играли в ярких и преувеличенных тонах, характеризующих кричащий быт, о сценическом воплощении которого мечтал Волконский. Прделанный опыт подчеркнул справедливость пересмотра традиций Островского на Малой сцене. Но с еще большей силой подтвердил, что пересмотр может пойти только из раскрытия внутреннего зерна пьесы, которым Волконский пренебрег, ведя спектакль по противоположному пути: гиперболизм приема не отвечал замкнутому строю пьесы Островского.

Каверин, в студии Малого театра, вместил трилогию о Бальзамине в целостный спектакль под названием «Похождения Бальзамина», определив таким образом в качестве сюжетного развития пьесы авантурную линию. Новизна спектакля заключалась в неожиданном освещении, под которым режиссер студии показал героя походов. Вряд ли можно оспаривать репертуарный выбор студии. Блистательная комедия Островского—пародия на мещанство и тонкая над ним насмешка. В годы, когда «пафос мещанства» становится снова предметом сатирического разоблачения, представляется своевременным возвращение к несознанному прообразу Гулякина ко-

медий Эрдмана и парикмахера из недавней комедии Файко. Бальзамино трилогии—чувствительно романтичный мечтатель о голубом плаще на бархатной подкладке, в своих упоительных надеждах на безрассудно богатую жизнь доходящий до лирического и патетического иступления: лихий семейный уют пышной купчихи Белотеловой приносит ему счастье и утешительно заканчивает ироническую комедию Островского. Но режиссер, основываясь на немногих намеках текста,—согласно последним законам театра—развертывая отдельные сценки в большие картины, обратил безумшего от счастья Бальзамина в подлинного безумца, а его восторженные мечты в бред сумасшедшего. Сцены, в которых Бальзамино по Каверину сходит с ума всерьез и надолго, разрушают иронический блеск, которым насыщена чрезвычайно своевременная комедия о мещанстве. Островский одинаково смеется и над млеющим в тоске по женихе купчихами, и над чиновниками, энергично отыскивающими невест, и над благодушным чудачком Мишей Бальзаминовым. Режиссер извратил перспективу и на веселую комедию Островского неожиданно легла болезненно извращенная тень Гоголевского Поприщина.

Основной же метод постановки не отличался особой новизной. Каверин увидел пьесу Островского в пестроте костюмов, в затейливости красок, в легкой механизации образов—лубок служил отправным пунктом для внешнего оформления пьесы. Порою в спектакле, в особенности в его первой части, вырастала легкая, скользкая линия насмешки. Нельзя было искать углубленный психологизм там, где его нет в самом тексте. Углубление пьесы лежит в ином—в раскрытии пафоса мещанства, которое больно заденет иных из современных зрителей и которое заставит поверить в неумирающую сущность Бальзаминовых.

5. МЕРТВЫЙ ГОРОД ХАРА-ХОТО

П. Козлов

Мертвый город Хара-хото, столица тангутского царства Си-ся, был открыт мною в 1908 году, и вновь посещен нашей последней Монголо-Тибетской экспедицией Русского Географического Общества 1923—26 г.г., которая произвела в нем археологические раскопки и сняла детальные планы всех его развалин.

Хара-хото расположен в центре Гобийской пустыни, в 12 км. от ближайшего восточного рукава реки Эцзин-гол.

Пышная растительность могучих вековых тополей и кустарниковых зарослей долины Эцзин-гола резко обрывается у последней к востоку водной артерии, сменяясь безжизненной щебнево-галечной пустыней, прорезанной сухими руслами и загроможденной местами песчаными буграми, поросшими тамариском.

Кругом все тихо и безжизненно. Вдоль сухих обмелевших канав разбросаны гранитные жернова, молотилки; валяются обломки керамики, а из-под песка видны неясные очертания уцелевших построек.

В прежние, давно минувшие времена Хара-хото был цветущим оазисом, раскинувшимся среди рукавов усыхающей ныне реки на сотни верст. Здесь расстились богатые пашни, по которым были проведены каналы с проточной водой, и со всех сторон, кроме юго-западной, пестрели фанзы местного населения.

Самый город, его центральная часть обнесена глинобитной стеною в 9—10 метров высотой и занимает площадь 385 × 325 м.

Стены украшены многочисленными башнями, вздымающимися как по углам, так и вдоль стен. В город ведут двое ворот—западные и восточные. Каждые ворота защищены особой коленчатой стеною, с массивной башней, в верхней площадке которой устроена целая система амбразур, приспособленных для более удобного метания снарядов в осаждающих врагов. Остат-

ки этих снарядов—камни, кирпичи, жернова и крупная галька, насыпаны на всех стенах беспорядочными грудями, или правильной тонкой струей то непрерывной, то с большими или меньшими промежутками.

Местами со стен ведут на землю, внутрь города, широкие лестницы; а на южной стене они заканчиваются около двух келий, выдолбленных в стене, и носящих явные следы муровки. Можно думать, что это были кельи отшельников.

На северо-западной угловой башне вздымается огромный субурган, около 12 метров в высоту, вокруг него устроено подобие балкона с барьером, приспособленным для стрелков.

В северной стене, недалеко от лестницы, зияет брешь, шириною около двух метров. По преданию, именно через эту брешь осажденные жители Хара-хото сделали вылазку, в которой и погибли.

Вся внутренняя площадь города покрыта невысокими буграми с мягкими очертаниями, с первого взгляда песчаными и галечными, с массой осколков глиняной и фарфоровой посуды. Но при раскопках, под тонким слоем мелкой гальки и песку всегда обнаруживается тростник, которым, повидимому, покрывались крыши построек, обломки кирпичей, глина и обугленные куски бревен. Это—остатки глинобитных фанз, которые и служили большинству населения жилищами. Кое-где из таких бугров выдвигаются на незначительную высоту остатки глиняных или кирпичных стен. Обычно подобные остатки, соединясь в группы, занимают довольно значительную площадь. Это—развалины домов более состоятельных горожан.

В тринадцати местах города возвышаются, иногда на большую высоту над землю, развалины зданий, сохранившихся лучше других, благодаря тщательности, массивности и богатству постройки. Это—кумирни китайской и тангутской стройки, с полами,

вымощенными голубыми кирпичами, еубургапы, какое-то управление—в центре города, большой дом по «Главной» улице, повидимому, принадлежавший крупному землевладельцу, очень большая кладовая для зерна и двор, где жили магометане.

Торговые помещения в восточной части города носят такой же характер постройки, что и современные китайские лавки. Непосредственно на улице выходит собственно лавка, повидимому, не отделенная от улицы стеной, а за лавкой находится крошечная комната с капом, занимающим большую часть ее. Сзади всей этой постройки всегда бывает маленький дворик, окруженный незначительными строениями.

Узкие улицы прорезают кучи мусора и обломков, в виде неглубоких желобов, и идут в широтном или меридиальном направлении, не делая никаких изгибов.

Можно отметить «Главную» улицу, протянувшуюся от западных ворот города к восточным, «Торговую», соединяющую управление или «ямынь» с восточными воротами, и третью большую улицу, пролегающую в меридиане буддийской кумирни.

Северо-западная часть города, повидимому, считалась наилучшей, так как здесь располагались две группы рядных кумирен китайского типа, дом богатого землевладельца, и, наконец, дворец самого Хара-цзянь-цзюна, с двумя кумирнями. Этот дворец занимает почти всю северо-западную четверть крепости и представляет из себя большую площадь, перегородженную сложной системой полуразрушенных стен, дворов и переходов.

Угол, образованный северной и западной стенами города, занят в настоящее время большой ямой, с большим узким выходом на юго-восток и с отвалами по сторонам. Это раскопки, произведенные в 1914 году английским археологом, профессором А. Штейном.

Непосредственно к восточной степе города примыкают развалины предместья. Все постройки его принадлежат к типу глинобитных фанз. От ворот города к востоку проходит большая улица, пересекаемая несколькими, теперь уже мало заметными, переулками.

У юго-западного угла крепостных стен, за пределами города, возвышается большая и хорошо сохранившаяся мечеть, а на расстоянии $\frac{1}{4}$ версты от западной стены находятся остатки «знаменитого» грандиозного субургана, подарившего мне в свое время столь богатые археологические сокровища.

Основное население Хара-хото состояло из представителей ныне вымершего тангутского племени Си-ся, исповедывавшего буддийскую религию, и из мусульман.

Последний вожьд Си-ся — Хара-цзянь-цзюнь, опираясь на свое непобедимое войско, намеревался отнять китайский престол у императора, вследствие чего китайское правительство выслало против него военный отряд.

Целый ряд битв между императорскими войсками и войсками батыря Хара-цзянь-цзюня произошел к востоку от Хара-хото, около современных северных алашаньских границ, в горах Шарцза, и был неудачным для последнего.

Имея перевес, императорские войска заставили противника отступить и, наконец, укрыться в последнем его убежище—городе Хара-хото, который и обложили кругом. Долго ли продолжалась осада крепости—неизвестно, но, во всяком случае, крепость была взята не сразу.

Императорские войска, не имея возможности взять Хара-хото приступом, решили лишить осажденный город воды, для чего реку Эцзин-гол, которая в то время протекала по сторонам города, отвели влево, на запад, запрудив прежнее русло мешками, наполненными песком. Эта запруда сохранилась и поныне, в виде вала, в котором торгоуты еще недавно находили остатки мешков.

Лишенные речной воды, осажденные решили рыть колодезь в северо-западном углу крепости, но, пройдя в глубину около восьмидесяти чжан (чжан равен нашим пяти аршинам)—воды все-таки не отыскали.

Тогда батырь Хара-цзянь-цзюнь решил дать противнику последнее генеральное сражение, но на случай неудачи он уже заранее использовал выкопанный колодезь, скрыв в нем свои богатства, которых, по преданию, было не менее восьмидесяти телег, по 20—

30 пудов груза в каждой; затем он умертвил двух своих жен, а также сына и дочь, дабы неприятель не надругался над ними.

Сделав означенные приготовления, батырь приказал пробить брешь в Северной стене, о которой я уже говорил в описании развалин. Этой брешью он во главе войск устремился на неприятеля, и вскоре погиб в бою, потеряв все, считавшееся до того времени непобедимым, войско.

Императорские войска, по своему обыкновению, разорили взятый город до тла, но скрытых богатств не нашли. Говорят, что сокровища лежат там до сих пор, несмотря на то, что китайцы соседних городов и местные монголы не раз пытались овладеть ими. Неудачи свои в этом предприятии они всецело приписывают заговору, устроенному самим Хара-цзянь-цзюнем, туземцы особенно верят в действительность этого заговора после того, как в последний раз искатели клада, вместо богатств, открыли двух больших змей, ярко блестящих красной и зеленой чешуями.

В 1908—1909 г.г. и мною в Харохото, в «Знаменитом» субургане была найдена целая библиотека в 2.500 томов книг, множество рукописей и свитков, на языках: монгольском, китайском, тибетском, уйгурском, тюркском, персидском, тангутском и, наконец, на неведомом языке Си-ся. До трехсот образцов буддийской иконописи, исполненной на холсте, тонкой шелковой ткани и на бумаге, также украсили нашу коллекцию.

Среди книг и живописи в субургане попадались металлические и деревянные статуи, клише, модели и мн. др. Особенно великолепен гобелен, как образчик превосходного ткацкого искусства.

В субургане, вероятно, было похоронено духовное лицо, костяк которого покоился в сидячем положении, несколько выше пьедестала, у северной стены надгробия. Череп хорошей сохранности принадлежал женщине, в возрасте свыше пятидесяти лет.

Среди многих статуй, в субургане выделялась одна: с двумя головами Будды.

Пантеон хара-хотского собрания вообще велик: из Будд мы имеем «Ал-

мазнопрестольного», «Владыку врачевания», Будду, вращающего колесо закона, Будду «учащего», Будду «созерцающего», стоящего Будду и мн. др. Композиция образов та же, что и в современной тибетской живописи.

Среди монгольских документов, найденных в Хара-хото, имеется около десятка небольших фрагментов, обнаружена также книжка в 34 листа, остальные документы в 10—12 строк. При незначительности по объему этой коллекции, она разнообразна по содержанию. Книжка для гаданий, особенно при определении счастливых и несчастных дней, составлена по китайским образцам. Владелец книжки обладал знанием китайского языка, и в ней повсюду встречаются китайские слова, переданные китайскими иероглифами или монгольскими буквами, а в конце даже помещены целые рецепты, на китайском языке, для приготовления лекарств от болезней, которыми страдают лошади. Для монгола-скотовода эти рецепты представляли особый интерес, и потому были записаны в гадательную книжку, находившуюся в постоянном употреблении, так как она изношена.

Один фрагмент в 14 строк носит дидактический характер, и, насколько можно заключить по разобранной части, представляет собой отрывок из поучений Чингис-хана.

Большая часть документов—деловая переписка: письма с поднесением подарков, жалоба по случаю похищения лошади, два долговых акта о получении займы пшеницы, с именами, печатями или «знаменами» должников, поручителя и свидетелей. Оба последних документа написаны по одной трафаретной форме, которая принята в уйгурских долговых расписках, найденных в Восточном Туркестане, и, очевидно, была заимствована монголами, вместе с письмом, у уйгуров.

Среди находок 1908—1909 г. видное место занимает отрывок персидского текста знаменитой книги «Семи мудрецов»—Китаби Синдбад. Книга эта, известная на Востоке и на Западе, ведет свое начало из Индии, и была чрезвычайно популярна у арабов и у персов. Сочинение это распространилось

в турецком и монгольском мире, но до сих пор не имелось прямых указаний на пути распространения «Семи мудрецов». Теперь же становится ясным, что среди тангутов жили персы, которые занесли сюда персидскую версию этой книги.

Среди книг библиотеки нами было обнаружено слово, заключавший в себе между прочим и язык Си-ся. Это обстоятельство дает специалистам возможность читать книги на неведомом языке.

В большинстве книг, письмен, иконописи, а также и в предметах обихода Хара-хото отразилась полностью культура XI—XII в. нашей эры. При раскопках домов внутри города, в развалинах лавок, между прочим, были найдены и образцы бумажных денег Юаньской династии, на которых есть надпись: «поддельвателям будут отрублены головы».

В последнюю экспедицию 1923 — 1926 г.г. мои сотрудники прожили в мертвом городе около двух месяцев. Через сохранившийся пьедестал «Знаменитого» субургана было прорыто два хода, в поисках научных ценностей под сторонами надгробия. Раскопки дали многочисленные обрывки письмен, лепные, глиняные украшения, отдельные кости человеческого скелета и обломки плиты, с надписью и рисунком. Внутри города мои спутники раскопали несколько фанз, из которых извлекли монеты, медные украшения, бусы, земледельческие орудия (сохи), топоры и пр.

Для детального описания и чертежей, мы освободили от песка части построек-кумирен, и обнаружили при этом тончайшие прекраснейшие фрески на глине, которыми были украшены все стены. В красках преобладают зеленовато-голубые тона, а рисунок по большей части изображает фантастических птиц, как, например, двухголового попугая, павлина и т. п.

В одной из ниш северной стены нам повезло найти целую серию глиняных головок, с необыкновенно сильно и ярко выраженной экспрессией лиц. Это, по видимому, обломки статуэток учеников Будды.

Очень ценной находкой я считаю также большую глиняную статую Будды,

и отдельную голову Будды, открытые случайно под небольшим слоем песка. Богатая керамика послужила прекрасным и разнообразным украшением нашей коллекции. В настоящее время удалось уже реставрировать большой и несложный по работе сосуд для хранения воды, средней величины вазу с орнаментом, и некоторые другие предметы из обожженной глины. Обломки тонкого фарфора также были обнаружены во многих местах города в изобилии.

Неподалеку от западной стены Хара-хото оказался погребенным в песке полный человеческий скелет отличной сохранности, что, в связи с находением в прошлую экспедицию человеческого черепа, дает возможность сделать антропологическую оценку жившего здесь народа.

Обрывки письмен на бумаге, а также лоскутки шелковых тканей с цветными рисунками найдены в различных местах города в большом количестве.

Изучив самым детальным образом остатки построек мертвого города в течение минувшего года 1926 года, я могу констатировать факт, что Хара-хото продолжает довольно быстро разрушаться.

Почти ежедневные летние и весенние бури, резкая смена температур, редкие, но необычайно сильные ливни из года в год изменяют облик развалин.

В 1903 году, в северо-западной части городской стены, я наблюдал лестницу, которую в 1914 году археолог проф. Штейн еще сфотографировал и показал, что на ней ясно видны ступени и парапет. В настоящее время лестницы уже не существует; вместо нее на стену ведет узкий, круто поднимающийся желоб. Медленное изменение общей картины мертвого оазиса происходит также благодаря передвижению участков песка. Через несколько лет, а может быть и десятков лет, песчаные барханы надвинутся на одни развалины и обнаружат другие, никем еще неисследованные.

В самом городе песков с каждым годом скапливается все большее количество, и можно думать, что со временем вся крепость будет погребена под ними.

6. С КРЫЛЬЦА СЕЛЬСОВЕТА

(Бытовая зарисовка)

А. Бибик

Сижу на крыльце сельсовета, жду прибытия почты. От большого города до ближайшего почтового отделения 30 верст, от отделения сюда—столько же. Тощая лошаденка пробегает через село 2—3 раза в неделю. Но письмо из города сюда доходит через 10 и 12 дней. А денег я жду 2 недели; повестка давно на руках, ее завез ящик, но самого почтаря с деньгами все еще нет... быть может, сегодня придет. Часы прибытия неизвестны, и я начинаю ждать с 6 утра. Сейчас уже 11.

В раскрытые настеек ворота видны сарай, кладовушки, навесы, давно не имеющие присмотра и один за другим валяющиеся на бок. Посреди двора стоит в упряжи дежурная пара лошадей—на случай пожара. Под уцелевшим еще навесом—насос и две бочки, но работает ли насос, цела ли кишка,—никто не знает: давно не пробована.

Раньше тут жил поп. Ничего жил, просторно. Теперь проживает в старенькой халупке, потерял важность, словно вылинял, и с горюшка пьет: мало кто ходит в церковку. Вот как сегодня же: день праздничный, мужиков по селу околачивается немало, а молиться не идут. И на покос не идут: праздник. Человек двенадцать толкуются в сельсовете.

Пестрый разговор: о сенокосах, о волках, о граде, о налогах... и словечку рады, погогатывают. К вину будто не тянет, все-таки проскочили. С сенцом! Заглянет молодайка.

- Мой-от иде?
- Какой твой?
- А у меня один буде.
- Один? Пошто мало-то?
- Не по-советскому, баба,—гы-гы-гы...
- Нынче хоть с десяток заваливай.
- Чай с одной-то не справиться такому-то.
- Ай, Катеринушка! Сре-зала!—Гы-гы-гы... Хо-хо!
- А и где же он, правда?

Молодайка заглядывает в прокуренную комнату секретаря.

— Вон иде. Чо молчишь, не отзовешься?

— А на что я тебе исдался-то?

— Шанежки поспели, ступай давай.

— Може еще чо?—ехидно поддускает толстоносый бородач.

— Кому буде, а кто и так побуде,—режет молодайка, и уже сердито говорит мужу:—ну, айдате, а то простынут.

— Ступай, Михайла,—подмигивает лукавый бородач,—иди давай, пока горячее.

Ржут. Молодайка, резко повернувшись, уходит. Но Михайла, не торопясь, докуривает цыгарку, гасит окурок о подметку сапога и только после этого поднимается и уходит домой.

— Почитал бы что,—говорит старик лет шестидесяти, загорелый и прокуренный так, что настоящей-то старости к нему и не добратсья.—На-чо-сь газетину.

— Ста-ра.

— Ну, другу возьми.

— У избача газеты. А он—в отпуску сидит.

Бросает дед старый номер, сопит и сердится:

— В отпуску! 30 целковых, хватера казенна... гляди чужу приспособил. Уморился, бади.

Смеются мужики,—больше над дедом же. А он бунчит и бунчит:

— Сколько его работы-то? Зима одна. А пришла весна, так нашему брату не то што книжку, дыхнуть некогда. Разве што по праздникам.

— А праздник придет—надо чертогонту хватить,—уязвил молодой и хитроватый мужик, метящий в партию.

— Это особ статья, — возражает дед.—По нашей жисти дак и от этого не зарекайся. Да. А он—в отпуску. Енерал какой...

И неожиданным срывом горечи:

— А я вот семой десяток доживаю, в отпуску не бывал еще. Да-а...

На худющей, отчаянно-хромающей коняге под'ехал мужик из дальнего хутора. Встретил приятеля.

— Что это она у тебя спортилась?

— Да не знай чо с ею сталось. Лопатка усохлась.

— Лечить надо.

— Да все некогда. Откошусь вот, сбегая к фершалу, чо ли.

— Нно, нашел куда! Ты сведи ее к деду кругловскому,—в вашей же стороне.

— Пожалуй, седни на обратном пути.

— Не выйдет: ежели лопатка, надо под пятницу. На зорьке, пока никого нету, он скажет тако слово и снимет болесь. А у меня тоже вот случай: кобыла заболела.

— Нно-о?

— Да, понимаешь, попала на болотину, да возьми и провались; да на гочерыгу.

— В брюхо, поди?

— Не, промежду ногами. Промыть бы вот надо—нечем. Всю деревню обегал, хоть бы борной, али чего.

— А ты б ее к деду же.

— Это, брат, нужно к другому с этой болесью,—вон аж куда, за 30 верст. А куды ее поведешь, коли она и стоять-то не может.

— Экое горе-то наше...

Мне пришла мысль. Избач—грамотей. Избач располагает досугом. Почему бы ему не прослушать кратковременный курс о лечении животных? Почему не научиться распознавать болезни хотя бы с яркими признаками? Почему бы при сельсовете, в избе-читальне не иметь шкафчика с самыми простыми лекарствами?

Приятели сидят рядом на ступеньках крыльчка, и я спрашиваю их:

— Скажите... согласились бы мужики собрать по рублю на лекарство? Вот чтобы у вас была маленькая аптечка?

— Да как же не дать, боже мой,—почти в один голос откликнулись оба.—Ведь сколько теряем без этого. Люди, скотина ли...

— Тогда б и дедов, поди, по боку?

— А на кой они?

— Вот те и раз! А сам же советовал приятелю.

— Да, ведь, чо будешь делать-то! Есть у нас, скажем, пункт, да ведь до

его не дотянешься. А тут—дак и в глаза сроду не выдывали, какой он есть веретинар.

И вдруг слышу продолжение моей мысли:

— Избачу нашему—чего бы уж лучше-то. Ведь вот в Березовском, Шавров, Степан Данилович, из мужиков же. А смотри, приспособился! Лечит за милую душу, не уступит тебе и дохтуру. А ведь сам дошел, по книжке.

Другой вздохнул и покачал головою.

— Этто бы—да. Только не про нашего избача то.

Через открытое окно, из общего путанного говора ко мне доносится:

— А кто это? Скедова?

— Вроде как бы шпеена.

— Шпее-ен?

— Про все, вишь, выпытывает.

Молчание, затем зов:

— Федор, а Федор! Подь-ка сюда. И ты, Гришуха.

Мои собеседники встали и пошли в избу.

Итак, я попал в шпионы? Хочется рассмеяться и крикнуть в окно:—«Эх, вы-ы, дурашки эдакие».—И в то же время обидно и неловко. А уйти сейчас—только подтвердить их догадку.

Наискосок—лавочка кооператива, перед ней стоят две плетенки. Хозяева—в лавочке. Подходят к повозкам Пегаш и его постоянная спутница. Она скромно вытягивает губами свежее сено, а он роется в нем мордой. Напупав мешечек, вытаскивает зубами на вблю и направляется вдоль улицы. С клочком сена во рту за ним следует спутница.

В это время из лавки выходит мужик. Он тоже видит, как Пегаш идет с добычей, но—какое ему дело! Суется в плетенку... шарит, шарит... и вдруг соображает все. Бежит в погоню и кричит:

— Постой! Постой! Леший! Куды понес, прохвост едакой?

Пегаш не убегает. Дает отнять мешечек, получает по загривку, и, повернувшись, смотрит во след удаляющегося мужика и мотает головой.

Схожу с крыльца и среди улицы разражаюсь хохотом.

— Нну и хулиганище!

...На пороге моей комнаты меня встречают пять девушек, у каждой тарелка земляники. Только у самой маленькой, лет десяти, нацербленное блюдечко и сама она больна глазами.

— Принимай, Алексеич, ради праздничка,—смеется хозяйка.—Дай девкам-то на сарафаны.

— Да куда же мне столько?

— Возьми, дяденька, выручи.

Хозяйка пересыпает ягоды в свою посуду, а я смотрю на больные глаза.

— Что же у тебя, невеста, с глазами-то?

— Болят.

— Вижу, что болят. Почему не лечишь их?

— Не, мамка лечит их.

— Чем же лечит-то?

Девочка стоит потупившись. Старшие чему-то смеются в рукава. Уходят.

— Так чем же она лечит все-таки?

Девочка молчит, затем начинает пятаваться к двери.

— А мочей лечат ее,—отвечает за нее хозяйка.

— Мочей? То-есть... как же это?

— А очень просто: сделает сначала на руку, а потом и плеснет энтим в глаза.

Не вмещается это в мое сознание:

— Мочей? Промывают глаза?

Но хозяйке недосуг, на-ходу она бросает:

— Как придется, так и лечимся.

— Погоди, а озеро?

— Ну, это будет поближе,—отзывается она уже со двора.

Смотрю в открытую дверь и говорю поросенку в пустом корыте:

— Этто, брат, да-а...

Сегодня я еще не видал «березку»,—как я называю учительницу. Иду в рощу. Прохожу всю до начала полей.

— Ау-у!—зову ее.

Слабо откликается бор, в стороне озера слышатся вскрики чайки... И я иду дальше, дальше. Поля—точно зеленое море, и точно островки в нем берзовые рощицы—«Колки».

В рощице ясно звенят молодые голоса. Вот они. На небольшой полянке идет косовица: впереди мальчик лет

двенадцати, за ним, догоняя, девушка лет шестнадцати, похоже—сестра.

— Убегай, Ленька, уноси живо ноги-то,—грозится сестра.

— Ладно тебе с хорошей-то косой!—отзывается брат, напрягая силенки.

Двое малышей выбирают в скошенной траве клубнику.

— Здорово, косари!

— Здравствуй,—ответил косарь.

Девушка взглянула только броском.

— Как же вы в праздник-то косите?

— Будешь косить, коли кос нету,—с хмурью большого ответил парнишка.

— Вот тебе раз! Мужики, а косы не имеете.

Парнишка домахал ряд и рукавом смахнул со лба, да кстати и под носом.

— Сироты мы.

— Та-ак. Ну, а кто из вас больше умаялся?

Сестра засмеялась, а брат сердито посмотрел на нее и ответил:

— Мы равно идем.

— А ну, давай! А ну, давай!—задриала сестра.

Беру его косу. Коротка, давно отбивана. Посадка такая, что мне нужно пригибаться к земле, до роста парнишки. Плюю на руки.

— Ну-ко, красавица, айда, догонять тебя буду.

Девушка смотрит на мою работу. Ясная улыбка, темные глаза и ярко-белые зубы делают ее и в самом деле красавицей. Но мне сейчас не до этого: целых три года не держал в руках косу, и первые взмахи неуверенны и неловки. И притом—эти проклятые пни. Смейся, смейся, Маруся, или как тебя там.—Смеется—последний.

Рука разошлась. Коса ходит равномерно, как маятник: но и она подтянулась, и кажется мне, что уходит, кончив свой ряд, начинает новый, за мною. Лежа на скошенной траве, братишка следит за нами и покрикивает мне:

— Нну, теперь она тебя нагреет. Будешь без пят.

— Ладно, ладно,—отзываюсь ему с похвальцей, а сам нет-нет, да и обернусь. Нагоняет, ведь! Нагоняет.

Коса—никудышная. Мое спасенье—в выдержке: погоню—упарюсь. Да, ведь,

не может же быть, чтобы она одержала верх!

Уже не смеюсь и не оглядываюсь. Ухо ясно слышит шорох ее косы... И вот, наконец, улавливает замедление темпа.

Новый ряд,—теперь я за ней и теперь уже ясно мне, что она начинает сдавать. И братишка примолк,—тоже признак. В конце четвертого ряда она вдруг останавливается и выдыхает:

— Ух... не могу больше.

— То-то и есть,—заключает братишка.

Перевожу дух и беру ее косу,—настоящая литовка.

— Давай, ребята, так: я буду косить, а вы собирайте ягоды; сколько накошу—ваше, и сколько насобираете—мое.

— Ладно,—соглашается девушка.— Только те, которые в рот к нам пойдут,—будут наши.

— Вот жулики-то!

Качается, хрюкает литовка по сочной траве. Спешить незачем, так можно пустить спокойно, зато—во весь мах. А в траве по бугорочку—красное с желтым перекачивается: брат и сестра собирают ягоды.

— Смотри, какая баская!—показывает девушка крупную, зрелую ягоду. Кладет себе в рот и звенит-заливается.

— Ладно, ладно. Вот заболят животы, будете знать.

— Не за-бо-ля-ат, небось.

Прохожу ряд за рядом... Нарастает усталость. Мне жарко и неохота отбиваться от комаров.

— Ну, хватит с меня. Давай сюда ягоды.

К моему удивлению, их оказалось полное лукошко. Куда их столько! Отсыпаю с пригоршню в картуз, прощаюсь с славными ребятами и по путаным межам выбираюсь на дорогу к селу.

В роще мелькает черная повязка,—наконец-то!

— А мы с Водей уже хотели домой возвращаться,—говорит она с едва заметным упреком.

Но я ловлю этот упрек и, как дорогую находку, прячу в своей груди. Мы смотрим в глаза друг друга,—в первый раз смотрим открыто и ласково и так глубоко.

— Правда, вы не уедете отсюда так скоро?—спрашивает.—Ведь солнечные дни еще будут,—не правда ли?

Беру узкую, прохладную руку в свои обе, как птичку, и говорю твердо:

— Да, моя славная березка. Солнечные дни должны быть.

Беру с ее рук мальшпа и сажая к себе на плечо. Плутыга хлещет по лицу, по глазам вицей и требовательно кричит:

— Нё! Ннё-о!

Бегу во весь дух.

— А знаете,—замечает она потом,—ваши глаза стали такие же синие, как озеро.—И внезапно краснеет.

Я высоко подбрасываю Водю-Бодю-Талалай и мчусь, и мчусь по роще с ним, как сумасшедший....

— Тише! Уроните!—беспомощно кричит нам во след мать.

Всадник отвечает неистовым смехом, а конь—диким ржаньем.

Неожиданно мы налетаем на «дядю Хо»: так мы прозвали назойливого гостя.

Он делает попытку улыбнуться, но от этого лицо его делается еще неприятнее. Мы не протягиваем рук и вообще не здороваемся.

— Гуляете?—спрашивает щелью широкого рта. И так как я не отвечаю, добавляет, подчеркивая:—А мы думали, что вы уже уехали.

— А почему же я должен уехать?—спрашиваю в свою очередь и пристально смотрю в медвежьи глазки. Он шмыгает ими на куст и небрежно отвечает:

— Отпуск, ведь, кончился.

— Отпуск? А вы откуда знаете?

Глазки опять шмыгают, губы явно карежит злорада.

— Мы все знаем,—произносит многозначительно и по-медвежьи переламывает ветку.

Молчим. Водя-Талалаю скучно.

— Нё, дядя!—кричит он мне.

И я несусь между берез. Несусь вихрем, и Талалай визжит от восторга и страха. Но вдруг останавливаюсь и ору на весь бор:

— Долой са-мо-дер-жа-вие!

— Лоло-ой!—вторит Водя.

Но, чу! Голос «березки»:

— Во-дя!.. Во-дя!..—И в голосе—тревога.

Возвращаемся, и еще издали вижу, что «Хо» загородил ей дорогу. Заслыша приближение, он выпускает ее руку, но продолжает стоять к нам спиною.

— Ну, зачем вы так далеко забежали?—упрекает она. И в этом упреке, и робком и требовательном, я опять чувствую радость.

С минуту мы все тяжело молчим.

— Слушайте, товарищ,—говорю, наконец, «Хо».—Вот Лидия Павловна хотела бы при школе иметь детскую библиотечку... Огородить школу и развести при ней показательный сад,—ведь это же возмутительно, что вокруг—ни одного фруктового деревца нет! А огороды? Разве эти заросли, джунгли,—можно назвать огородами? И при такой чудесной почве?... А уборная? Неужели так трудно пристроить для малышей теплую уборную?

«Дядя Хо» долго жует мундштук папиросы; грызнув, бросает, плюет ему вслед через зубы и хмуро отвечает:

— А чего ей беспокоиться-то! Вот скоро переведем в другую школу.

«Березка» вскидывает на него полные изумленья и страха глаза и мгновенно бледнеет.

— То-есть, как же так?... — говорит совсем растерянно.—Я уже здесь ознакомилась, ко мне привыкли....

— Ну и там привыкнут,—замечает «Хо» насмешливо.

— И я перевожусь туда же,—добавляет затем, и хрипло смеется желтыми зубами.

Жаркий румянец бьет ей в лицо, в глаза; из них готовы брызнуть слезы. Она до боли закусывает задрожавшую губу и с неожиданной горячностью восклицает:

— Да что я—вещь какая-нибудь? Почему же никто не спросит: хочу я или нет?

«Хо» пренебрежительно вытягивает бритые губы и с едва прикрытым злобством отвечает ей:

— Некогда вас спрашивать.

Ломает вторую ветку; надломленная, она еще держится; со злобой, напрягши тяжелое тело, срывает ее и, не простившись, уходит прочь.

Плачет ребенок. Но она не замечает его. Поправляет повязку, замечает в

траве ягоду; и, наклонившись за ней, раздражается плачем. Плачет с нею ребенок... и оба выглядят такими одинокими, заброшенными, что и мою грудь прожигают слезы.

— Не уезжайте. Милый, не уезжайте!—кричит страстно, с мольбою, сквозь слезы отчаяния...

В необыкновенном возбуждении, полный разноречивых чувств, шагаю, шагаю по зеленому ковру...

— Вам нужно в город.

Она вслушивается в оттенок моих слов... ждет других... и качает головой.

— Куда мне с ребенком? 40 рублей стоит комната. А служба...

Полный гнева и тоски, шагаю, шагаю, шагаю...

— Хоть месяц еще... недельку еще... побудьте,—шепчет страстно березка...—Ведь я еще не видела человека...

Я гашу огонь страсти и сурово кричу себе:

«Так не будь же хоть ты! подлецом!»

В бору

В одну из прогулок я нашел наколечник стрелы, высеченный из кремня 5, 10, быть может, 20 столетий назад. И эта стрела отравила меня любопытством. Это был признак, что здесь где-то было становище древнего человека. А, может быть, становища не было, а стрелу обронил случайный охотник. Я обошел вокруг озера, исследовал борозды от чистки сабана по давнишнему дну озера, но ничего не находил, кроме странно рассеянных кучек железняка.

— Что потерял?—окликает однажды Гаврилыч.—Айда с нами! Дерево будем рубить.

— Айда, помогать будешь,—зовут мужики. Всего их четверо, на четырех же ходах. Рябой Павел—коммунист.

Усаживаются верхом на развилку, и лошади бегут дальше.

— И все-то ты ищешь, все ковыряешься,—говорит дорогою Гаврилыч,—а чо корысти в старине-то?

— Много, Гаврилыч; зная хорошо старину, легче будет и новину наплавить.

— Как же, направишь!—ухмыляется в бороду Гаврилыч.—Жизня,—это тебе не кобыла, что куды захотел, туды и направил. Жизнью—ты ее хочешь едак повернуть, а она, гляди, вон на какой бок тебя уже своротила.

— Ну, то было когда-то. Когда люди строились в одиночку. А теперь 9 миллионов рабочих принялись за перестройку, да партия,—так это уже другой разговор будет.

— Друго-ой. Да чем же он друго-ой?

— А вот хотя бы... слушай...

— Постой, постой, — перебивает Гаврилыч.—Заведешь теперь машинку. А ты-ко вот чо послушай. Да-а... На прошлой неделе, в коммуницкой, стало быть, праздник.... ну и мы не работали, потому — дождь сыпал. Так вот, приезжают в Демьяновку шехи. Собрали сход и давай, стало быть, разны слова да речи, речи да слова. Ну и между прочим—о трактуре.

— Ага, это любопытно.

— Да уж чего любопытственней! Но только слушай, в каком деле роде. Стоит этта парнишка на антамабиле и ораторствует, ну, тебе сказать, ровно бы не под носом стояли мужики у него, а верстов за 10. Нос-то крючком, глаза черны, тряхнется едак волосьями, да как выкнет, зыкнет... «Товарищ-мужики. Октябрьская революция, самодержавия, коммуницка партия»... ну и прочее, которо полагающе. «Пошто, кричит, спите? Пошто не идете в одну ногу? Вся Рассея уже обзавелась тракторами, а вы еще сабанами папете».

— Что правда, то правда,—замечаю в спину Гаврилычу.

— Слов нет,—соглашается он.—Но только, скажу я тебе, куца твоя правда-то.

— Куца? А это—что?

У самой дороги десяти 15 давно уже вырубленного леса. И как вырубил, так и бросил. Торчат, ровно гнилые зубы, высокие пнища, догнивает меж ними хворост, в руку толциною,—на целый год всю деревню хватило бы отапливать!—и не годится даже под пастбища. А земли мало, сенокосов и вовсе нехватает, приходится брать у башкир.

Гаврилыч смотрит на мертвое место; потом трогает кнутовищем латанный картуз и отвечает:

— А вот постоит еще годочков десять, тогда и разделаемся! Тогда стукни его хорошенько, он тебе и выскочит к лешему.

— Погоди,—да ведь стоит уже лет 10. Да еще 10. Значит, потеряно 300 десятин.

— Да откуда же 300?

— А вот оттуда же. Считать еще не умеете.

— Как учили, так и считаем,—с досадой отзывается Гаврилыч.

— А скверно учили, так нужно переучиваться,—не унимаюсь.—Хлеборобы коричневые. Одну полосу по 10 лет под паром держите, а другую без передышки 10 же лет пшеницей засевае. Пока на 20 нудов не с'едете.

— Ужо с'ехали.

— То-то и оно! Какое, скажи, у вас полеводство: трехполье? Четырехполье? Пяти-, шестиполье?

— А лешак его знат!—сердито сознается Гаврилыч.

— Вот. А ты говоришь—куца. Ну, что же дальше-то?

Гаврилыч подхлестывает кобылу.

— Да чо дальше... с вашим братом разве сговорись? Тебе из рукава, а ты из мешка сыпешь...

За разговором я почти не заметил, как под'ехали к основному бору. Вырос он вдруг, могучей колоннадой, темной внизу и горящей сверху под ярким солнцем. После беспорядка березовых рощ, густых зарослей и сыроватого, прелого воздуха, здесь поражала своеобразная строгость и особенная, храмовая благоуханность. Дол закрывала узорная, полупрозрачная кружевная ткань папоротника. В запахе хвои—запах грибов.

На месте, по уговору, уже должен был находиться лесничий; но его не было.

— Ладно,—сказал Павел,—застучим топорами—прибежит.

Наметили деревья, отвели лошадей в сторону и почти одновременно ударили два топора. Казалось, что бор сразу наполнился тревожным шелестом.

Дерево, которое рубил Павел, было вершков тринадцати. Ствол был изумительно прямой и чистый почти до самой кроны. Лет полтора было этой сосне.

— Товарищ Павел! Зачем вам такое дерево?

— А... ворота менять буду.—Ответил Павел, продолжая рубить. Свежая щепа отлетала под ударами, точно куски живого тела. Она и похожа была на него.

Гаврилыч посмотрел на дерево со своего места, где он рубил в паре с другим мужиком.

— Чо ты рубишь-то, шишка елова! Оно, ведь, у тебя вон куда падать должно, а ты едак зачал.

Павел перестал рубить и задрал голову.

— Да ты с тое стороны глянь-кося! Э-эх, коммунист елдовой. Ты-то, Егор, куды смотришь?

Егор тоже задрал голову. Потом положил пилу на землю, молча взял у Павла топор и принялся делать подрубку с боку прежней.

— Вот и положиися на таких вот строителей,—язвительно заметил Гаврилыч, явно для меня.

За топором пошла пила. Обе, особенно у Павла, были тупы и почти без развода, пыльщики облились потом, по работа подвигалась медленно.

— Так, та-ак его!—побрасывал Гаврилыч в Павлову сторону.—Не балуй, Егорка, партийных. Пушай чувствует, какое оно дерево-то. Небось, стоеросово!

Собираю землянику. Ягоды крупны и необыкновенно ароматны. Выхожу на вырубленную делянку и останавливаюсь: весь верх остался на земле. А вокруг сел обнажилась земля и на дрова отводятся целые рощи, из которых отбирается только ствол.

Над мрачным кладбищем одиноко возвышаются с десяток сосен для обсеменения...

Раздумье обрывается треском и шумом упавшего дерева. Гаврилыч кричит насмешливо Павлу:

— Это тебе не языком, видно, робить. Помочь, али што?

— Ла-адно... управимся,—еле отзывается задыхнувшийся Павел. Но

вот падает и у него. Все собираются к одному месту, садятся на могучий ствол и закручивают папиросы домашней самосадки.

— Дда-а...—начинает Гаврилыч.—Пошто, говорит, не заводите трахтура?

— Кто это?—спросил Павел.

— А шех такой в Демьяновку приезжал давече. Да-а. В Америке, мол, у каждого земледельца имеется трахтур. Мелеёны трахтуров. А у нас, будто, на всю Рассею не более как 15 тысяч наскребется.

— Ме-ле-ё-ны?—недоверчиво переспросил Егор.

— Сам так сказал. Да-а. А ему один мужик, вроде бы нашего Шаврова, возьми да и загни загадку:—А почему, товарищ, в Америке мелеёны машин да работают, а у нас, мол, на сотню стоят семьдесят пять? Неужто, говорит, об климатах разошлись? Ну, как он это ляпнул про климаты, так все мы и полегли. Будь ты неладен, окаянный!

— Откуда же он знает?—заинтересовался Павел.

— Вот и шех то же само спрашивал. А тот: из газеты, грит, вычитал.—Из какой?—А вот из какой.—Поглядел шех на газету, показал другим шехам; смотрят, талалакают... Ну, а только што видно—не читали допрежь. А чего и читать-то. Вон в двух коммуниях трахтуры,—стоят. Чистовски мужики купили на последнее, бились-бились, да так и плюнули.

— Дда-а,—согласились двое. Павел промолчал.

— Вот те и по-новому,—еще в мой огород бросает Гаврилыч.

— Значит, ты против машины?—спрашиваю в упор.

— Вот те и раз!—Гаврилыч разводит руками.—Да рази же я сказал чего против?

— Да выходит, что так.

— Ну, дак... вольно же тебе не в ту дырку заглядывать,—отрезал Гаврилыч.

Двое засмеялись, а Павел спросил:

— Ну, а как же по-твоему?

Гаврилыч ответил не сразу. Попробовал выковырнуть что-то из уха пальцем; палец оказался толстым; взял под ногами пруток и повертел им.

— А так вот по-моему. Чем гонять антанабили до орательствовать, привез бы лучше трахтур. А можешь два, хочь и десять, работы всем хватит. Привез, да без разговоров бы в поле. На, мол, смотри, мужики, как работает. Хорошо ли? А цена—с десятины 5 рублей. Ну не 5, пускай 7. Это раз. Второе дело—ко времени. Можешь обеспечить?—Могу. Ну, а третьье, чтоб до остального прочего никаких мужику ни забот, ни касательства. Поломался трахтур—не моя вина в том, не моя и кручина. Хошь в назем его выбрось! А взялся разделать мою землю—лопни, а к сроку давай. Вот тогда и словесов твоих не нужно. Не маленькие, чай, не дурачки.

— Погоди, — сообразил Павел, — а как же тогда артели-то?

— Какие артели?

— Да вот машинные? Товарищества-то!

Гаврилыч пожал плечами.

— Ты мне подыми только землю, а там я уже и сам как-нибудь доделаю. Козу, кошку припрягу до кобылы, а доделаю.

— Это, да-а, — согласились мужики.

— А как же с узкополосьем?—спросил я.—Ведь если машина будет переезжать с полосы на полосу, так десятина обойдется не в 5, а в 25!

— Ну, с этим-то можно бы справиться, — отозвался Павел. Подумал еще и спросил: — А кто же машину будет покупать?

— А это тоже не моя забота, — ответил Гаврилыч и встал.—Одначе дело к вечеру, кончать надо, — сказал и поднял пилу.—Ну-ко, кум, отмеряй шесть аршин, да еще шесть.

Со стороны вырубленной делянки давно уже слышался лай невзрачной, пестрой собачонки.

— Должно птицу учуяла, — заметил Егор.

Иду на ее голос. Только вышел к делянке—вырвались почти из-под ног двое глухарят. Розка залаяла на них еще отчаяннее. Потом стремительно бросилась в траву. Раздался тоненький писк и сейчас же оборвался. Подойдя ближе, увидел задущенного глухаренка.

Пока разрезали деревья, грузились и запрягали лошадей, близился вечер. Косые, предзакатные лучи бросали на вершины деревьев багряные жаркие отсветы, но внизу чуть затуманилось и стало наливаться мглою.

— Вот так штука!—воскликнул Гаврилыч.—Так и не пришел, ведь, лесничий!

— А на кой он издался?—сказал Егор.—Приедем, коли, еще раз.

— Ну, нет,—возразил Павел.—На это я несогласен.

— А тебе чо? Не на продажу везем.

— Непорядок, ребята.

— Нашел чо!—вмешался Федор, неразговорчивый, косматый мужик.—Садись да езжай.

— Оказия, — произнес Гаврилыч дипломатично.

Он явно был на стороне Федора, но его стесняло мое присутствие. А я сделал вид, что ничего не знаю.

— Да ладно, — буркнул Павел и махнул рукою.

— Айда, поехали! — обрадованно крикнул Егор и погнал лошадь.

Уже выехали из бора. Дорога пошла то березняком, то давно уже вырубленными, но так и не обновившимися делянками. Здесь дорога была в свету и по обе ее стороны было много крупной «лубянки». Все, кроме Павла, то и дело прыгивали с бревен и собирали ягоды, отбивая бешеные атаки комариных полчищ.

Неожиданно Павел соскочил на-земь, спросил у меня карандаш и крупно зашпалгал обратно.

— Павлуха, куды? А, Павлуха?—окликнул Гаврилыч.

Павел махнул рукою и на ходу крикнул:

— Езжайте, я сдогоню!

Егор задержал, было, коня.

— Забыл чего, или чо ли?—спросил Егор Гаврилыч.

Егор осмотрелся.

— Да нет, ровно бы... Ждать, или чо ли?

— Айда давай!—буркнул угрюмый Федор.—Не махонький, чай, не запутатца.

Лошади тронули.

Ехали уже около часу. Березняк все мельчал и все больше закутывался туманом испарений и сумерек. Ягод сверху почти уже не видно. Комары донимают отчаянно. Пала густая роса, дымятся мочежины. Вот и березняк кончился. Глухая, мало езженная дорога выводит к накатанному проселку, густо чернеющему среди полей, кони делают кругой заворот, и Гаврилыч кричит мне:

— Мотри-ко, пожар!

Смотрю в сторону бора, и сердце мое обрывается: точно, он весь в огне. Вершина его пылает, клубы огня взметнулись высоко, багрянят облака дыма, которые тянутся еще выше, к самому небу, и застилают его зловещею, рыжевато-синею тучею.

Иллюзия так сильна, что длинную минуту смотрю на грандиозную картину, холодея от сострадания и, в то же время, замирая в восторге. И только потом соображаю, что это вовсе не пожар, а прощальная шутка био-механика-солнца.

— Хо-ро-шо!—думаю вслух.

Гаврилыч критически смотрит на зловещую тучу и чмокает губами.

— Хорошо, да не шибко. Похоже, брат, что молодому месяцу омыться охота.

Опушку леса, позади нас, заволокло уже так густо, что даже стволы крайних берез перестали просвечивать. Невдалеке от дороги, на выкошенном поле большая семья довершала высоченный островерхий стог. И люди, и стог, и телега, и пасшиеся вблизи лошади казались полуреальными. Дальше где-то, к опушке, потонувши в слабо-багряной мгле, торопливо трещала сенокосилка. Звук поражал ясностью.

А Павла все еще не было.

— Надо подождать мужика,—реши-тельно заявил Гаврилыч и задержал коня. Стали и другие.

— И где ему быть-то?.. вот оказия...

Устало отбиваясь от комаров, стали завертывать папирсы. Вдруг Егор, всмотревшись левее стога, спросил громко:

— Павлуха, ты чо ли?

— Айдайте!—ясно и будто совсем близко отозвался голос Павла. Но сколько я ни всматривался во мглу, никого не видел...

— Да где же он?

— А вот он, шагает верстовиками,—мотнул Егор головою, прикуривая папирску. И опять я никого не увидел. Но минуты через две и как-то совсем неожиданно, шагах в тридцати, вышла из мглы широко шагающая знакомая фигура.

— Игде ты, лешак, пропадал?—спросил Гаврилыч.

Павел взобрался на свое бревно и тогда только шумно вздохнул и, сняв картуз, вытер лоб рукавом.

— Да игде же ты был?—допытывался Егор.

— А туда же, к порубке ходил,—ответил, наконец, Павел.—Отметины сделал.

— Какие отметины?

— Свою фамилию дал, на пнищах.

Федор плюнул и стал было воротить лошадь на сторону. Но Егоров мерин уже поволок дальше.

Гаврилыч, легонько толкнул меня локтем и довольно подмигнул.

— Вот тебе и Павлуха. Видал штуку?

— Правильно, ведь!

— Чего правильнее! Да...

В село приехали поздно, было совсем темно.

Книжное обозрение

1. А. ДЕМИДОВ. Вихрь. Ник. Смирнова.—2. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. Женщина в море. Н. Замошкина.—3. „СЕГОДНЯ“. Б. Анибала.—4. Д. КРУТИКОВ. Старый хмель. В. Дынник.—5. Н. БЕРЕНДГОФ. Стихи о городе. М. Зенкевича.—6. К. ЧУКОВСКИЙ. Некрасов. Арк. Глаголева.—7. Н. ЧУЖАК. Правда о Пугачеве. И. Макарова.

Алексей Демидов.—«Вихрь» (1917), роман. ГИЗ, Москва—Ленинград. 1926. Стр. 446.

Когда в 1923 году вышла деревенская хроника А. Демидова «Жизнь Ивана», критика справедливо отметила ее, как незаурядную вещь. Множество ценных бытовых наблюдений, непреднамеренность, безыскусственность и простота вынесли книгу на поверхность литературного потока, который в те дни бурлил с особенной, и, как оказалось впоследствии, обманчивой силой.

Отрывки из «Вихря», печатавшиеся в альманахе «Прибой» (№ 1, 1925 г.), вводили читателя в заблуждение: они, как будто, напоминали о предыдущей книге писателя, о ее простоте, о скромном, без всяких «романтических заглавий», воспроизведении действительности.

Роман, разросшийся до подозрительной полноты («водянка»), окончательно и безвозвратно разочаровывает читателя. Нелегко преодолеть этот тяжелый и нестерпимо-утомительный том в 446 страниц.

Роман, снабженный обязывающе-широким подзаголовком «1917 год»,—попытка художественного отражения второй русской революции.

«Вихрь» и по содержанию и по построению напоминает «9 ноября» Келлермана, только герои Демидова, по сравнению с героями немецкого писателя, значительно понижены в чинах: генерал—до полковника, родовитый аристократ в голубом мундире—до рядового военного чиновника, а «Гора

Четырех Ветров» превращена в бедную деревушку.

Мы, конечно, ни на минуту не сравниваем Келлермана и Демидова: за огромно-кровавым веером «Четырех Ветров» никак не услышишь русского вихря.

Из «Вихря» совершенно ничего не получилось,—ни романа, ни бытовой записи: он чрезмерно растянут и протоколен, вроде казенной палки с надписью «Дело» и, в то же время, беспомощен и наивен.

В романе, дабы не отставать от «большой литературы», намечено несколько сюжетов. В нем, прежде всего, рассказывается о трех разновидностях любви—платонической, добродетельно-семейной и развратной.

Обезличение женщины, все растущее в молодой советской литературе, оставило свои (и очень сильные) следы и в романе Демидова.

Многие из наших писателей, едва дело дойдет до женщины, невольно заставляют вспоминать о старинных мещанских олеографиях, изображающих кокетливую купальщицу и улыбочиво оглядывающего ее из-за куста мужчину.

С изображением любви во всех ее видах и родах дело обстоит у писателя весьма печально.

Столь же печален результат революционных картин Демидова. Читатель, не воспринимаящий всерьез его офицеров звер-р-рей,—они слишком примитивны и глупы,—ни на минуту не поверит и его р-революционному герою

Воронину, увенчанному подвижническим венцом на подобие семицветной радуги. Но если его революционеры лишены всякой жизненности, то внешние зарисовки революции, восстания и уличных боев в некоторых местах удачны: заметна и наблюдательная острота глаза, и динамичность действия.

Демидову не нужно было писать романа. Ограничив себя пределами быто-наблюдателя, хроникера-художника, он мог бы дать интересный документ эпохи (при условии верности дат и событий, чего также не наблюдается в романе).

В данном своем виде книга Демидова находится вне художественной литературы, выпадая в то же время и из области публицистики и мемуаров. Об этом приходится пожалеть.

Ник. Смирнов.

А. Новиков-Прибой. Собр. соч. Кн. 4. «Женщина в море». Изд. «Пролетарий». Харьков. 1926. Стр. 292. Ц. 1 р. 50 к.

В новой своей книге (рассказы «Женщина в море» и «Ералашный рейс») А. Новиков-Прибой попржнему живой и увлекательный рассказчик. Пишет он несколько наивным, но увлекательным, немудрящим языком. Он умеет также захватить читателя, держа его в напряжении. Обыкновенно писатели героями моря делали исключительно мужчин, которые владели морем безраздельно. А. Новиков-Прибой первый, может быть, сделал героиней «морского» рассказа — женщину. По этому «женщина в море» — вполне свежий и новый сюжет.

На торговый пароход нанялась буфетчицей молодая девушка Таня. Появление свежей, бодрой, трудолюбивой и вежливой девушки как-то облагорожено подействовало на всю команду. Грубость постепенно стала исчезать. Сердца и пасмурные лица матросов смягчились. Под ее лучистым взглядом все переродилось. «При встрече с нею каждый матрос радостно улыбался, точно неожиданно получил повышение на службе». Разгорается соперничество из-за нее между радистом и матросом Бородкиным, которое гро-

зит окончиться поножовщиной. Но стихия предупреждает этот исход. Буря и встреча с горящим пароходом в море, борьба за спасение гибнущих людей, — убивают в людях все личное. Бородкин смиряется и уступает Таню радисту. Постепенно непосредственные, жестокие люди моря становятся понятными Тане, она их не осуждает за грубость, ибо «они были грубы, как буря, они были веселы и расточительны в ласках, как море в солнечный день, были анархичны, как морская стихия». Удалась писателю Василиса — соперница Тани, — стареющая женщина, прожившая жизнь в портовых трущобах. Очень метки и введены кстати полуанекдотические рассказы матросов о морской жизни, разнообразящие фабулу. Самое же сильное в рассказе — жизнь сюжета, легкое, причинное сцепление в нем множества событий. Богатством сюжета же отличается рассказ и от известного раннего рассказа Максима Горького «Двадцать шесть и одна», написанного на тот же мотив о нравственном влиянии чистой девушки на очерствевших в труде людей. Для этого мотива А. Новиков-Прибой нашел, кроме того, свои — житейские, так сказать, — краски. Романтическое сияние горьковской Тани не соблазнило Новикова-Прибоя — его Таня проще, она остается всего-на-всего девушкой «в платочке земляничного цвета».

В «Ералашном рейсе» тоже отведено место «женщине в море». Но тут капризная, взбалмошная жена капитана не героиня, а трусиха, променявшая к тому же во время бури своего мужа на смельчака-скипера. Редчайший случай взят в основу фабулы: самолюбивый, дерзкий, но смелый и честный машинист Самохин во время шторма, когда подводные рифы грозили крушением, остается один на пароходике, а вся команда, во главе с капитаном, переходит на баржу и перерезывает канат. Самохину приходится быть одновременно капитаном, машинистом, кочегаром и рулевым в борьбе — один на один — со стихией. Он выходит победителем и приплывает к берегу. Беглецы на барже тоже после всяческих препятствий (мина, скалистый берег, буря)

достигают берега. Исключительное событие придает, по необходимости, рассказу приключенческий характер. «Ералашный рейс» с особенным интересом прочтется юношеством.

Отличительной писательской чертой А. Новикова-Прибоя является его как-то простодушная честность и простота в изображении самых смелых и страшных событий. Иногда это простодушие незаметно переходит в юмор, о котором, м. б., сам автор и не помышляет. Особо необходимым считаем мы отметить умелое пользование писателем морским жаргоном. В диалогах он очень искусно, соблюдая нужную экономию, «разные слова в морские узлы заворачивает». Матросский жаргон в его рассказах ценен и сам по себе (сочность, меткость, грубоватость сравнений и словечек) и, кроме того, целесообразен и органичен в своем содержании и происхождении (реально-производственная природа словосочетаний). Несколько примеров: «А ну-ка, Боря, дерни того-этого, чтобы на дне морском вся живая тварь зашевелилась» (обращение матроса к гармонисту-кокегару). «Одна наружность чего стоила—усами можно семафорить» (портрет капитана) и, наконец, реплика матроса на собрании—«Правильно, норд-ост вам в спину»... Такой язык интересен не только при непосредственном восприятии его, но и представляет любопытнейший материал для изучения.

Н. Замошкин.

«Сегодня». Альманах художественной литературы, критики и искусства. Книга 1-ая. Кооперат. Изд. писателей «Сегодня». М. 1926 г. Стр. 138. Ц. 1 р. 50 коп.

В альманахе об'единились писатели трех поколений: маститые — Гиляровский и Белоусов, «взрослые» — Вера Инбер и Ефим Зозуля и совсем молодые—Ф. Каманин, В. Аверьянов и С. Вашенцев.

Но, несмотря на соединенные силы трех поколений, альманах вышел скучным и серым. Начинается он отрывком из романа Ф. Каманина «Пожар на

мельнице»,—рассказывается в нем об одном философе и эстете, сжегшем, ради нелепого желания понравившейся ему женщины, деревенскую мельницу. Надо сказать, что у автора нет еще своего стиля и умения писать выразительно.

Мало убедителен в рассказе В. Аверьянова опустившийся деревенский коммунист Лакиза, жена которого, покушаясь на его убийство, утюгом убивает ни в чем неповинного рыжего кота. Вся трагедия завершается одним анекдотом, после которого Лакиза подает заявление о своем выходе из рядов ВКП (б). Мотивы выхода не совсем ясны. Встречаются в рассказе такие стилистические перлы: «Лакиза!—крикнула в зад (?) Катерина»...

С. Вашенцев повествует об одном из обломков старого строя—о чистойлюе Федоре Лукиче, не признававшем ничего советского, любившем цветы и в конце-концов заразившемся сифилисом.

Пространное изложение не блещет никакими достоинствами, но обладает одним недостатком—напрасно отнимает время у читателя.

Общее для всех трех авторов—отсутствие своей писательской манеры и неумение владеть материалом. Персонажи их неживые и двигаются только на бумаге.

Ефим Зозуля в «Знакомых мертвецах» развертывает свой «список знакомых необычных мертвецов—разнообразных жертв историй», смятых войной и революцией, при чем каждому из них он посвящает своеобразный некролог.

Вера Инбер обращается к воспоминаниям о выпускных экзаменах, весенних южных ночах и о краденых вишнях.

Все это написано с присущим автору писательским жеманством и кокетничаньем и в общем очень мило, но очень мелко, как те провинциальные речушки, которые курицы переходят в брод.

Шесть стихотворений, напечатанных в альманахе — В. Александровского, Е. Еркина, И. Грузинова, А. Наврозова и Б. Рождественского — забываются сейчас же, как только перевернешь страницу.

За стихотворениями идет довольно пространный историко-литературный

отдел, начинающийся серией отрывков Ивана Грузинова, объединенных под заглавием: «Есенин разговаривает о литературе и искусстве».

В них встречаются отдельные интересные места, любопытные замечания, неплохо подмеченные черты, но разговаривает в них не только Есенин, но и сам Грузинов...

Взаимно дополняют друг друга заметки В. Гиляровского о трех периодических изданиях 80-х годов: «Московском Телеграфе», «Русском Курьере» и «Зрителе» и воспоминания И. Белоусова, в которых он, главным образом, касается лиц и быта литературной Москвы того же времени.

Не лишены интереса, заметки и воспоминания слишком кратки и скопаны; так, Белоусов на двадцати шести страницах успевает «вспомнить» Чехова, его семью, Гиляровского, Пастухова, Коринфского, Фофанова, Круглова, Любич-Кошурова, Медведева и еще поговорить о самом себе, а Гиляровский на семи страницах пробует дать портреты двух газет и одного журнала.

Написаны заметки и воспоминания небрежно, с тем неряшливым отношением к стилю, которое так характерно для 80-х годов, определяющих литературный облик обоих авторов.

Гиляровский, наприм., под заглавием «Три забытых журналов» говорит о двух газетах и только об одном журнале. А вот образцы их стиля:

«... он делал два-три штриха и *появлялся* или портрет известного деятеля или такая поза у какого-нибудь начальствующего лица, что оно *появлялось* в смешном виде (Гиляровский, стр. 100),

или:

«... он печатал свои рассказы в журналах, которые вышли отдельной книжкой» (Белоусов, стр. 111).

Несколько наивно высказано, в некоторой своей части совершенно правильное, утверждение Белоусова:

«Если рассматривать со стороны полезности «Московский Листок», а в частности роман Пастухова («Разбойник Чуркин»), *отбросив идеологическую сторону*, то можно сказать, что

Пастухов своим изданием приохотил простой народ, никогда не читавший газет, к чтению, проникая в самые *низы—к пролетариату*» (стр. 114).

Заключает альманах заметка Я. Тепина о художнике П. Кончаловском, иллюстрированная плохими репродукциями с его рисунков.

Несмотря на то, что альманах, судя по его заглавию, предназначен отражать наше «сегодня», современность в нем отражена (слабо и бледно) лишь в рассказах молодых авторов, в большей же своей части он обращен к прошлому, или, в лучшем случае, к «позавчера».

Борис Анибал.

Д. Крутяков.—«Старый хмель». Рассказы. Литературно-художественная библиотека «Недра». М. 1926.

Если справедлив афоризм: «когда говорят пушки—молчат музы», то, во всяком случае, справедливо и то дополнение, которое подсказывается литературой последних лет: «молчат, потому что прислушиваются». Так прислушивалась к гражданской войне муза Бабеля, и с легкой ее руки вошел в наш литературный обиход и прочно там укрепился особый жанр военного рассказа, характерный как своею особой тематикой, так и стилистическим своим оформлением. В тематике господствует одна центральная тема: героический пафос войны за свободу, отображенный дробными осколками военного и партизанского быта. В связи с тематикой—и самый стиль: почти до гротеска противоречивые действующие лица, так сказать (если уж воспользоваться термином формалистической поэтики)—«сниженные» герои, с громадной амплитудой колебания между добром и злом; своеобразный многосоставный язык, вобравший в себя и размеренную торжественность, и революционную риторику митинга, и обиходную речь полуграммотного красноармейца (отсюда и предпочтение сказовой формы, так как удобнее всего вложить такой языковой конгломерат в уста иллюзорного рассказчика).

К этому жанру относятся и все, за исключением первого, рассказы книж-

ки Д. Крутикова. Но и первый, повествующий о том, как бывший шахтер Канафеич уходит от своих хуторян, от своего крестьянского хозяйства—опять на рудник, на призывное гудение шахты Козихи, потому что не могут забыть крестьяне про его голодную «ошибку», про покражу нескольких снопов с чужого поля,—и первый рассказ отчасти связан с остальными сказовой манерой письма. В остальных говорится о сражениях красных «конников» с белыми и с махновцами, о погоне за врагом, ушедшим «заполдень», о недолгой стоянке в крестьянской избе под суровым и недоверчивым взглядом красавицы-хозяйки, о «салонных» разговорах комсостава с поповнами, о смешном и о жестоком, о мелком и значительном.

Книжка не только издана, но и написана опрятно, автор обнаруживает большое внимание к языку, к обрисовке действующих лиц (хотя по последнему пункту можно бы возразить против «Старого хмеля», где Канафеич явно недоработан). Память Д. Крутикова (или записная книжка?) сохранила немало количество характерных красноармейских и «советских» выражений, вроде: «только наблюдал я за Лексей Ивановым, а с ним видоизменение», или «и вправду обмозговал, на все сто процентов», или «хуторочку тому не помню вывеска какая» и т. п.

Удалось ему схватить на-лету и ряд психологически верных и социально-знаменательных черт в героях своих, красноармейцах. В качестве примера может служить хотя бы вот этот отрывок:

«Бились мы и под Касторной станцией, и под городом Осколом только, глядь-поглядь, знакомые места. Ну, тут я прямо скажу, с цепи сорвался. Суюсь куда зря. Один на кучу кидаюсь. Даже товарищ Кочетков, командир сотенный, сердчать стал:

— Брось ты,—говорит,—Потатуев,—и приказываю тебе голову беречь, как есть ты первый конник и даже представил я тебя к ордену.

А я ему отвечаю:

— Как же мне, дорогой товарищ командир, бросить, когда вот оно за лесочком Чуриково село, и в селе моя

хата, а в хате баба с возможным наследником.

— А,—говорит,—если так, валяй.

И начал я валять».

Д. Крутиков внимателен и к материалу, и к стилю. Даже наиболее очевидные его оплошности говорят лишь о том, что он перестарался: так, героя своего, шагающего по дороге, почему-то заставляет он сплунуть сквозь зубы... «кусочек тоски».

Но, увы, внимательность к материалу, своего рода литературная аккуратность, пожалуй, единственное проявленное Д. Крутиковым достоинство; увы, вышеприведенный отрывок из его рассказа, должно быть, убедил читателя не только в наблюдательности автора, но и в его художественной несамостоятельности: слишком уж вспоминается при его чтении Бабель. Если Д. Крутиков и овладел своим пером, то овладел им скорей как старательный ученик, чем как самостоятельный последователь. Верны отдельные его наблюдения, но ни на минуту не ощущает за ними читатель единой писательской личности. Период чисто-описательной, чисто бытовой литературы приходит уже к концу; художественное наше слово настолько окрепло, что читатель вправе требовать от художника не только более или менее похожие срисованных картинок быта, но и цельной, синтезирующей картины современности. Это замечание относится не к материалу писателя, а к его художественному методу: необязательны большие, тщательно выписанные литературные полотна, но и в малом наброске, но и в малом обрывке жизни иной писатель дает почувствовать стихию, но и в разрезе анекдотического случая можно уловить протекающий жизненно-многозначительный процесс.

Валентина Дымник.

Николай Берендгоф.—«Стихи о городе». Изд. «Всероссийского Союза поэтов». 1927 г. Москва. Ц. 50 коп.

Тощая, в 32 странички (как обычно теперь со сборниками стихов), книжечка с претенциозной, в духе былых имажинистских изданий, обложкой—фо-

тография авторской физиономии на фоне окна, из-за стекла которого виднеется панорама городской улицы. Города в этих стихах о городе не очень много и выглядит он довольно тускло и бледно. Берендгоф глядит на город (и в этом отношении обложка права), действительно, как бы из окна, сквозь стекло, как холодный, несколько по-сторонний наблюдатель. Кое-где в строчках его стихов промелькнут знакомые виденья московских улиц—моссельпромщик на углу, автобус, беспризорный в котле, строящийся дом, но эти реальные образы тотчас же тонут в расплывчатой и туманной лирике («месяц, как заступ, туп», «тоска луною плавает», «ширится страх от луны», «скука глядит, отгремев» и т. д.). Революционные стихи («9 января», «Сон осужденного», «21 января 1924») мало темпераментны и шаблонны. Лучше удаются Берендгофу лирические строфы («Сухое дребезжание тапил», «Соната»). Наиболее удачное и крепкое стихотворение во всем сборнике, действительно заслуживающее название городского, — «Автобус № 8»:

На мягких лапах гиппопотам
 Ползет автобус...
 Остановился у фонаря,
 Рыгнув безвином...
 Автобус натится во сне
 Туда, где желтый пленник
 Кровавым пальцем на стене
 Выводит крупно: Ленин...

«Стихи о городе» уже вторая книжечка Берендгофа. Тем не менее и после нее поэтический облик Берендгофа остается расплывчив и нежен, — в его стихах много еще наносного, подражательного, свое же, что он хочет сказать, пока еще не сказано им достаточно определенно и выразительно.

М. Зенкевич.

К. Чуковский. — «Некрасов». Статьи и материалы. Изд-во «Кубуч». Л. 1926. Стр. 395. Ц. 3 р. 25 к.

В книге собраны отдельные статьи о Некрасове и все, найденные в свое время Чуковским, тексты поэта. Несмотря на большое пристрастие критика к внешнему биографизму, книга дает все же немало очень интересного и ценного.

Статьи Чуковского дают в общем достаточно материала для уразумения социального облика Некрасова, для уяснения его классового самосознания. Так, например, в статье «Поэт и палач» автор правильно отмечает, что облик Некрасова не исчерпывается чертами социально-психологического типа, известного под именем разночинца. Стремление к комфорту, к богатой жизни, барская охота, английский клуб и т. п., — все это — по Чуковскому — надо об'яснять дворянским происхождением поэта.

Некрасов — социальный двойник, отсюда все его двуличие в личной жизни. Это, несомненно, весьма справедливое определение личности поэта. Однако, этого определения было бы еще недостаточно для социологического понимания творчества поэта, для определения об'ективного смысла его поэзии. Статьи Чуковского затрагивают и эту последнюю проблему. При своей личной, суб'ективной социальной двойственности, Некрасов, как писатель, социально очень монолитен и определен. Некрасов-поэт является идеологом молодой, поднимающейся буржуазии. Статья Чуковского «Гарбагатай» прекрасно уясняет нам буржуазность Некрасова. Может быть, даже и в личной жизни барственность Некрасова была уже не помещичьего, а видоизмененного буржуазного характера. Недаром, как подчеркивает и Чуковский, к Н — ву иногда так враждебно относились дворянские и помещичьи писатели. Чуковский приводит ряд интересных цитат, показывающих какое огромное внимание уделяется в стихах Н — ва деньгам. Сравнения, эпитеты поэта иногда как-то совершенно органически связаны с своеобразным культом денег. Его роман «Три страны света» — откровенно буржуазный роман. Наконец, и все народолюбие, крестьянофильство Некрасова не шло далее идеала крепкого зажиточного мужика-собственника. В этом отношении — добавим мы, — наприм., чрезвычайно характерно стихотворение «Дедушка». Тяготение к материальным буржуазным благам жизни отчетливо заметно в Некрасовской поэзии. Буржуазность

Некрасова статьями Чуковского является очень ярко. Не надо, конечно, при этом забывать, если Некрасов и является певцом буржуазии, то буржуазии восходящей, объективно еще далеко не совсем утратившей прогрессивную роль (50, 60, 70 г.г. прошл. ст.), идеологические представители которой еще могли подвергать беспощадной критике царскую, бюрократическую Россию.

Необходимо подчеркнуть, что выводы Чуковского ныне не одиноки. Они разделяются и марксистами, укажем, например, на Г. Е. Горбачева («Русск. литература и капитализм»).

Книга о Некрасове К. Чуковского прочтется с большим интересом и самым широким читателем.

Арк. Глаголев.

Н. Чужак.— «Правда о Пугачеве». Опыт литературно-исторического анализа. Изд. Всесоюзного Общества Политических Каторжан и Ссылочно-поселенцев. Москва. 1926 г. Стр. 80. Ц. 80 коп.

В последние годы пугачевское восстание послужило темой целого ряда научных и литературных публикаций. Рецензируемая книга является последней из них по времени, но не последней по решительности и безапелляционности, с которой автор пытается разоблачить и опровергнуть все основные черты трактовок образа Пугачева, известные не только в консервативно-дворянской, но и в современной нам, вплоть до марксистской, литературе. Критические удары Н. Чужака, главным образом, направляются по линии личной характеристики человека, давшего всему движению свое имя. По его мнению, марксистская историография, правильно оценив социальный смысл пугачевского движения, умалила значение его центральной фигуры—самого Е. Пугачева. Он вовсе не «бродяга» и не «удачливый разбойничий атаман»: это—человек с исключительной мужицкой прозорливостью и крепкой хваткой, «превосходный организатор», «не плохой стратег» (стр. 9), недурной политик, не только «вызвавший к жизни

дремавший в массах дух восстания», но и сумевший зажать его «в крепкие организационные тиски» (стр. 21). Следует решительно сказать, что характеристика эта совершенно произвольна и явно оторвана от исторической действительности. Те особенности движения, которые целиком об'ясняются конкретными условиями его зарождения и обстановки, в которой оно далее развивалось, автор считает плодом предприимчивой инициативы его вождя. И мысль о беженстве и переселении, и использование воинствующего раскольниковства, и антипомещичий террор, и приемы вольного разбойничества—все это было дано реальными условиями жизни казаков на Янке и помещичьего крестьянства в приволжских губерниях. Весь строй пугачевской «команды», методы набора постороннего люда в казаки, организация снабжения вовсе не возникли по мысли изобретательного вождя, а явились плодом приспособления хорошо известных казакам методов охраны государственных границ противогосударственным целям восстания. Роль самого Пугачева во всех операциях не была решающей. Его окружала значительная группа сподвижников, из которых некоторые, несомненно, были крупнее его. На стр. 54 сам автор сочувственно цитирует (совершенно правильное) замечание А. С. Пушкина, что «лицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями Пугачева, что он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле». Здесь автор сам противоречит своей общей концепции (ср. стр. 35 со стр. 54).

Несколько раз подчеркнув, что самозванство лишь тактически было воспринято Пугачевым с целью использовать монархические предрассудки социальных низов, автор все же не дооценивает об'ективное значение этой маскировки для формирования социальной опоры пугачевщины.

Наибольший интерес в книге представляют критические замечания автора по поводу «Истории пугачевского бунта» А. С. Пушкина. Там же, где Н. Чужак, покидая почву личной характе-

ристики Пугачева, пытается дать общеполитическую оценку движению, он спускается до самой поверхностной и антиисторичной публицистики. Сопоставляя пугачевское восстание с революциями 1905 г. и 1917 г., он решительно замечает: «вожди движения в 1773 г. видели кое-какие программные наши дали». До какой степени забвения конкретных исторических условий нужно прийти, чтобы казацко-крестьянские идеалы XVIII века включать в одну цепь с освободительной борьбой рабочего класса нашего времени. У

автора есть, впрочем, одно извинение: историком он стал, по собственному признанию, по случаю. Для составления критического обзора новейшей беллетристики, посвященной Пугачеву, ему «нужно было наскоро подчитать». После чтения оказалось, что даже марксистская историография о Пугачеве «лжет глаголет». Автор и написал свою «правду». В ней самоуверенность выводов прямо пропорциональна их беспочвенности и крайнему субъективизму.

И. Макаров.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В майской книге «Нового Мира» появилась моя «Повесть непогашенной луны», а в июньской книге было напечатано письмо т. Воронского, где он считает повесть «злостной клеветой на нашу партию ВКП(б)». В препроводительном к письму т. Воронского примечании редакции редакция «считает помещению в «Новом Мире» повести Пильняка явной и грубой ошибкой».

Сейчас, вернувшись из-за границы, где я был оторван от СССР, восстановив обстановку, при которой писалась повесть, я нахожу необходимым заявить: не учтя внешних обстоятельств, я никак не ожидал, что эта повесть сыграет в руку контрреволюционного обывателя и будет гнуснейше им использована во вред партии; ни единым помыслом не полагал я, что пишу злостную клевету. Сейчас мне видно, что мною допущены крупнейшие ошибки, неосознанные мною при написании; теперь я знаю, что многое, написанное мною в повести, есть клеветнические вымыслы.

Поэтому присоединяю мое мнение к мнению редакции и считаю большой ошибкой как написание, так и напечатание «Повести непогашенной луны».

Москва,
25 ноября 1926.

Бор. Пильняк.